

Михаил Анищенко

Собрание сочинений в двух томах

Том I

Поэзия

Самара
2020

ББК 84 (2 Рос=Рус) 6
А 67

Проект «Издание двухтомника поэзии и прозы Михаила Анищенко» реализован при поддержке Губернатора Самарской области

Анищенко М.В.

А 67 Собрание сочинений в двух томах: Том I. Поэзия. — Самара: Русское эхо, 2020. — 640 с.

ISBN 978-5-6043008-0-0
ISBN 978-5-6043008-7-9 (I том)

Первый том Собрания сочинений одного из лучших русских писателей рубежа XX-XXI века Михаила Всеволодовича Анищенко составили его поэтические произведения, а также литературно-критическая статья о понимании русской поэзии.

ISBN 978-5-6043008-0-0
ISBN 978-5-6043008-7-9 (I том)

© Русское эхо, 2020.

Евгений Евтушенко

Веничка Ерофеев из Самары

Почему столькие читатели, совершенно разные по образованию, по профессии, по возрасту и даже по политическим симпатиям, обычно ссорящим людей, полюбили Венедикта Ерофеева за его прозу, похожую на поэзию, и поэма «Москва — Петушки» стала воистину народной книгой? Её герой отмечен грустной интеллигентинкой пригородного Василия Тёркина, однако не лихим юморком победителя, а незлобивой, но мрачноватой ухмылочкой потерпевшего поражение человека, услащающего себе жизнь саркастическим коктейлем «Слеза комсомолки». Такими стали не нашедшие своего места в жизни бывшие фронтовики и многие шестидесятники — социальные романтики, оттёртые от руля страны циниками, въехавшими на чужой романтике в личные благоустроенные капитализмы среди всеобщего средневекового феодализма, но с мобильниками, прокладками и бразильцами в футбольных командах. И симпатичный, хотя и несколько опустившийся Веничка, душевный и талантливый в своей откровенности, усмешливый, но сдерживающийся, чтобы не позволить себе несправедливо жестокую ярость, стал для читателей никаким не лирическим героем, а воплощением самого автора. Такие отношения складываются у читателей только с большими поэтами: для всех нас и Пушкин, и Лермонтов, и Есенин, и Анна Ахматова, и Пастернак, и Маяковский — это живые, близкие люди, хотя нам известно и про их слабости и недостатки, которые мы им прощаем, как своей родне.

Прозаики же очень редко воссоздают себя полностью. Мы порой запутываемся в их характерах, а вот у больших поэтов всё как на детской открытой ладошке. Знаете, почему у нас после стольких постшестидесятнических поколений никак не могут появиться «красивые, двадцатидвухлетние»? Да потому что они играют в

прятки с читателями, вместо того чтобы открыть свою душу, свою жизнь, свою любовь, таятся, ускользают, избегают исповедальности — и интимной, и гражданской, — и как же можно почувствовать их родными людьми, то есть русскими национальными поэтами?

И вот появился поэт, далеко не 22-летний, но красивый своей мудрой детской исповедальностью, поэт не случайный в компании таких бесстрашно бескожих людей, с ханжеской точки зрения, непутёвых, зато умевших быть нежными к родине, женщинам и природе, как Сергей Есенин, Николай Рубцов, да и Веничка Ерофеев. Есть у Михаила Анищенко черты и других сильных поэтов — Юрия Кузнецова и Сергея Клычкова, но всё это не вычитанное, а вчитанное.

Когда я прочёл три его стихотворения, напечатанные Олегом Хлебниковым, то сразу понял, что наконец-то пришёл долгожданный большой русский поэт. Михаил Анищенко — лучший подарок читателям поэзии за последние лет тридцать, если не больше.

Михаил родился в рабочей семье. Родители были литейщиками, да и он сам — поначалу. Но крестьянская кровь предков сказалась в характере, потянула к природе, к народным песням, а потом уже и к собственным стихам. В 1977 году его приняли в Литературный институт. В 1979-м вышла в Самаре первая книга — «Что за горами». ЦК комсомола дал ему премию Николая Островского. Комсомольским боссам требовались поэты, которых можно было бы выставить против шестидесятников. Но Анищенко не давался в руки, как, впрочем, и Рубцов, с которым у меня была самая братская дружба.

Но, как Есенина и Рубцова, московская псевдобогемная воронка закрутила, завертела Мишу. Его трижды исключали из института — за что, объяснять не надо, — и он получил диплом лишь в 1988 году. Каким-то образом во время перестройки стал одним из помощников самарского мэра. Но, увидев, как люди не выдерживают испытания властью и деньгами, проникся идиосинкразией к политике. Уехал в деревню, несколько лет пытался жить одним огородом. Раздражал своей откровенностью и непохожестью тех, кто любит паханствовать. Из зависти и в отместку его начали преследовать, даже избили. Когда я дозвонился до него и спросил, чем он занимается, невесело ответил: «Бомжую…» А потом прислал мне две дискеты со стихами — одно лучше другого.

Такие люди иногда валяются на дорогах.

Но такие поэты на дороге не валяются.

Не прогляди этого поэта, Самара. И ты не прогляди, Россия. Мы же тебя называем Россией-матушкой. Так будь матерью своим поэтам.

Дорога

Я Русь просил:
— Добавь мне силы,
Скажи, что помнить, что любить?..
— Спроси отцовские могилы,
Спроси людей, как надо жить! —
Она ответила.
Я вздрогнул.
Но час сомнений миновал.
И мне открылась вдаль дорога,
Которой жизнь я задолжал.
И я пошёл.
И путь мой долгий
Завлёк,
Околдовал меня
Простором нив,
Величьем Волги,
Хоть всё трудней день ото дня
Идти,

Не зная остановок,
За быстротечным днём спешить —
И повторять, взрослея, снова:
«...И ты поймёшь,
Как надо жить!»

В армию

В тот день под сводами вокзала
Приказ майора резок был.
Что мне любимая сказала,
Не помню я.
Всё позабыл.
Но я запомнил в то прощанье
Одно мгновенье тишины
И материнское дыханье:
— Не дай вам, господи, войны...

И шёл состав легко и просто,
Стоял в вагонах лёгкий гам.
А за окном тянулись вёрсты
Земли,
Доверившейся нам.
Сменялись зори и закаты,
Мелькали рощи и луга...
Нас,
Словно сталь,
Везли сержанты —
Не закалённую пока.

И мы тогда ещё не знали
Цены той самой тишины,
В которой мамы выдыхали:
— Не дай вам, господи, войны...

Первогодки

Там, на плацу, где утро тает,
Их строй сбивается с ноги.
И с перекладины,
Бывает,
К земле их тянут сапоги.
И часто пули мимо цели
У них уходят «в молоко»...
Но в эти первые недели
Ещё никто не жил легко.
И этот груз —
Большой,
Лавинный —
Мальчишкам нужен позарез:
В них просыпаются мужчины —
И сапоги теряют вес.

Ночь на заставе

Песня доносится.
Бьётся в окно.
Бродит в потёмках
По лесу, по крышам...
Уши в подушку бы!
Да всё равно
Каждою клеткой ту песню услышу.
Носится в воздухе.
Спать не даёт.
Русская! Русская!
Сколько в ней муки!
В ночь выбегаю:
Да кто же поёт?
Руки тяну...
Опускаются руки.
Так и стою.
Не прощу ни о чём.
Звёздное небо туманно и тускло.

Не Ярославна ль
В Путивле ночном
Песню поёт на мотив старорусский?
Не Ярославна...
Но кто даст ответ,
Чья это песня летит издалёка?
Тихо встаёт над заставой рассвет,
Тихо шумит над рекою осока.

Старая боль

Эта боль с каждым годом старше.
Только ей не дано стареть.
По ночам поднимаются павшие,
Чтоб на нас,
На живых,
Посмотреть.
И расходятся с площади гулкой,
Когда все уже крепко спят.
И в знакомых стоят переулках,
И на тихие окна глядят.
Они входят в квартиры наши,
Сапогами они не стучат...
Люди, спите...
Позвольте павшим
Посмотреть на своих внучат.
Не спеши подниматься, утро,
Не спеши просыпаться, мир,
Ведь убитым,
Им очень трудно
Уходить из знакомых квартир.
Люди, спите...
Позвольте павшим
На мгновенье приблизиться к вам,
Дайте им прикоснуться к вашим
Тёплым пальцам и волосам.
Люди, спите...
Пожалуйста, спите...
Только чувствуйте павших взгляд
И зовите во сне,
И зовите
Не пришедших с войны солдат.

Тётя Поля

Наша встреча долго длится.
Тетя Поля говорит:
— Ничему уж не забыться...
Видно, память не велит...

И пронзают вновь до боли
Дни израненной страны.
Ты не тётя,
Просто — Поля,
Почтальон большой войны.

Поля. Школьница. Девчонка.
Как могла ты столько дней
В сумку прятать похоронки
И смотреть в глаза людей?

Как, скажи, в свои семнадцать
Ты могла идти селом,
Зная, что тебя боятся,
И что крестятся кругом?

Но вина ли это, Поля,
Что оттягивала ты
Завещанья вечной боли —
Похоронные листы?

К сёлам с почтой доберёшься —
Изведёшься от тоски:
В мелколесье наревёшься,
Наревёшься у реки.

В двадцать лет ты поседела.
Почтальон на три села,
Как ты вынести сумела
Всё, что в сумке той несла?

* * *

Отыскали солдата в траве.
Залечили солдата,
Заштопали...
Правда мучает боль в голове
И велят разговаривать шёпотом.

Военврач на прощанье сострил:
— Что-то часто, солдат, улыбаешься...
Неужели прекрасен так мир,
Если снова на свет появляешься?..

А он тихо смеялся в ответ,
Он не мог ещё вымолвить слова:
Слишком белым был белый свет —
Он не видел ещё такого!

Год 46-й

Ещё земля не зарастила
Своих израненных полей,
Ещё усталая Россия
Не сосчитала всех смертей,
А сыновья уже кричали,
И у роддомов городских
Отцы с шинелями стояли,
Чтоб завернуть теплее их.
Отцы стеснялись грубых пальцев,
Но, мирной радостью полны,
Они учились улыбаться,
Как улыбались до войны.

Старшина

Когда казарма засыпает
И в окнах плавится луна,
Я часто слышу, как шагает
В проходах хмурый старшина.
Гремят последние трамваи,
А он,
Усталый и седой,
Нам одеяла поправляет
И не торопится домой.
В его квартире неуютной
Есть тусклый снимок на стене.
Мы знаем все,
Что это Люда,
Она погибла на войне.
Она погибла и не знает,
Как старшина в тиши ночной
Нам одеяла поправляет
И не торопится домой.

Метели

Метели качали тайгу одичало.
И снова
На энской заставе страны
Сигналила лампа,
Сирена кричала
И рвались,
Как струны,
Короткие сны.
Усталые, злые
Назад возвращались,
Обрыв заграждения молча кляли.
А пальцы замёрзшие
Не разгибались,
И губы двух слов
Отогреть не могли.
Курили по кругу одну сигарету,
Касаясь руками обветренных рук...
И в сны погружались,
Чтоб быть до рассвета
В объятьях далёких,
Как звёзды,
Подруг.

Письмо

Другу такое горькое
Письмо почтальон принёс,
Что дым от моршанской махорки
Весь вечер доводит до слёз.

А рядом мерцанье деревьев,
Усыпанный звёздами пруд...
И тысячи вёрст до деревни,
Где песни на свадьбе поют.

Там лихо скандируют:
— Горько!
Там дым дорогих папирос...
А тут вот простая махорка
Весь вечер доводит до слёз.

После учений

И вот последний километр,
Команда:
— Рота, разойдись!
Табак, сердитый, как ефрейтор,
И жизнь, похожая на жизнь.

И ночь тиха.
И светят звёзды.
Кружит старинный листопад.
И пьём мы колкий лунный воздух,
Как пили в детстве лимонад.

Переговорный пункт

Осенний дождь в окно скребётся.
Зал ожидания затих.
Не угадать, кто рассмеётся,
А кто заплачет через миг.

Но вот легко, как будто тину,
Рвёт сны пронзительный звонок —
Солдат стремглав бежит в кабину,
Светясь при всех, как светлячок.

Раздался чей-то смех несмелый,
Спросил сосед, который час.
...Солдатик вышел белый-белый,
Боясь расплакаться при нас.

Метнулся в темноту, как в яму,
В ночи скрываясь, словно вор...
А через миг опять упрямо
Просил с Москвою разговор.

В глазах его надежда брезжит.
Я про себя твержу: «Держись!
Звони.
Надейся.
Без надежды
Зачем любовь?
И что за жизнь?»

Звезда над заставой

Я теперь вспоминаю
Без всяких прикрас
Комнатёнку в семь метров,
Диван у комода...
Ничего не осталось
От деда у нас,
Лишь будёновку мать
Пронесла через годы.
Я её вспоминаю,
Когда марш-бросок
Забирает в дороге
Последние силы
И когда нам дают
Молчаливый урок
То отцов,
То ровесников наших могилы.
И в походах бессонных
Случалось не раз —
Подступала тоска,
Когда силы кончались,
Когда выли метели,
Меж сопок кружась,
И деревья
Со стоном протяжным качались.
Вот тогда-то и слышал я
Голос родной,
Материнский,
Который о слабости ведал:
— Не сдавайся, сынок!
Ты рождён под звездой,
Что пробита свинцом
На будёновке деда.

Тем они мне и памятны,
Эти года:
Чтобы в буднях солдатских
Душа не сомлела,
Восходила с будёновки деда
Звезда —
И всю ночь надо мной,
Над заставой горела.

Прощание

Подходит машина.
Прощайте, ребята!
Спасибо за то,
Что и мне довелось
Делить на полроты
Кулёк самосада
И редкие письма,
И радость,
И злость.
Спасибо, что здесь
Понимал я всё лучше,
Что Родина —
Это и клён над рекой,
И дождь,
И селенья,
И тёплые лужи,
И грустная девочка
С русой косой.
Спасибо за то,
Что мы жили здесь честно,
Что выросли здесь,
В гарнизоне своём,
До главной любви,
До простреленных песен,
До отчей земли,
На которой живём!

* * *

В первый раз подошёл к Мавзолею.
Был негромкий осенний рассвет.
Тихо спрашивал я:
— Кто последний?
Мне сказали:
— Последнего нет!
Эта очередь — непреходяща!
Через сотни и тысячи лет
— Кто последний? — спроси у стоящих
И услышишь:
— Последнего нет!

Утро

Будет свет через щель просыпаться,
Будет речка качаться и течь.
Будем мы в шалаше просыпаться,
В старой лодке заделывать течь.

Будут заросли, заросли, заросли
И рассветные воды вдали.
Будут тихие приступы зависти
К вечной юности этой земли.

Будут вспыхивать водные искорки
Под опущенным в реку веслом.
Будет берег и пристань, и выселки,
И печные дымки над селом.

И дома будут все в нём незаперты:
Заходи, коль душою ты прост!
И у нас на селе с этим запросто,
И в округе на тысячу вёрст!

* * *

Зима со снегопадом,
Влюблённые с луной...
Как будто бы все рядом,
Но это всё со мной.

Река.
Рожденье света.
Селенья за рекой...
Как будто бы всё где-то,
Но это всё со мной.

Войною дед подкошен,
Пылает дом родной...
Как будто бы всё в прошлом,
Но это всё со мной.

В гостях

Плёс и лес.
И плеск листвы лесной.
На зарю распахнутые ставни.
И дымок над старенькой избой,
Где гостюю я у дяди Вани.

Мы живём меж двух российских рек,
За окном берёза зеленеет.
Дядя Ваня, русский человек,
Ни души,
Ни хлеба не жалеет.

Мы к плетню выходим покурить.
Лес шумит.
Колышется осока.
Дядя Ваня тихо говорит:
— Хорошо, когда не одиноко...

Перевозчик

Подойдёт он, раскроет форточку,
Ключ от лодки сожмёт в руке.
Так и чудится перевозчику,
Что зовут его снова к реке.

Так и чудится, так и мучает
Тишина между ним и рекой.
Хоть бы кто-то забрёл по случаю,
Хоть бы пьяный позвал какой!

Лодка так же, как раньше, пригодна.
Да река уже как не река:
Полноводна она, полноводна,
Да его-то вода утекла.

Зря в ночи открывает он форточку:
Нет, никто его не позовёт.
Никакого житья перевозчику
Новый мост над рекой не даёт!

* * *

Слишком долго подгадывал срок...
Надо было немного пораньше
Возвратиться под гомон сорок,
К тишине перелесков и пашен.

Год назад бы, глядишь, и застал
Незабитыми окна в том доме,
Где я первые строки писал
О вечерней реке, о пароме.

Опоздал...
Пахнет нежилью дом,
Поржавело колечко стальное...
Вижу всё остальное кругом,
Но зачем мне оно —
Остальное?

Та же лодка стоит в камыше,
Так же поле за речкой раздольно.
Отчего же так больно душе,
Отчего же так больно?

* * *

Луна... Скала...
Реки свеченье...
Беззвучный —
В подсознанье —
Крик...
И вдруг —
Самообман?
Прозренье? —
Стремление к преодоленью
Во всём почувствуешь на миг:

Скала пытается качнуться,
Река — немного постоять,
Душа — к чему-то прикоснуться,
А пальцы — что-то увидать.

Через пороги

Поворот просмотрели.
И поздно
Стало злиться и счёты сводить.
Правый берег теперь было можно
Только взглядом прощальным ловить.
Плот тащило по Чёртову Горлу,
Где быки из воды поднялись
И лохматые чёрные горы,
Словно тучи,
Над нами сошлись.
Бесновалось на стрежне теченье
(Сто инструкций твердили: «Правей!»),
Был единственный шанс на спасенье
Против сотен тунгусских камней...
Спутав струи,
Как белые космы,
Разбивалась о камни река.
Поделили единственный шанс мы,
Как последнюю горсть табака.
А когда проскочили по сливу,
Хрипло выдохнул кто-то из нас,
Что нетрудно быть в жизни счастливым,
Если есть в ней
Единственный шанс!

Ненастье

Отсырели курево и спички,
Отсырела старенькая дверь.
Я живу у чёрта на куличках,
От тебя за тридевять земель.
Дождь идёт четвёртую неделю.
Лучший друг удрал на материк.
Мы по кружкам спирт устало делим
И погоду дружно материм.
Тишина в прокуренной прорабской.
Отдыхай, покуда передых,
Сочиняй неведомые сказки
О красивых женщинах. Былых.
Сочиняй, пока не надоело,
Балагурь, покуда от окна
Не раздастся:
— Братцы! Просветлело!
Посмотрите, братцы же, — луна!
Тишина.
Дыханье наше слышно.
Двор блестит студёною водой.
Дождь и дождь...
— Поспал бы лучше, Гриша,
Коль фонарь ты путаешь с луной...
И опять в бараке мы без дела.
Тяжело ненастье, словно стон.
Только Гриша шепчет:
— Просветлело, —
Улыбаясь радостно сквозь сон.

Проводник

Тихо тронется поезд —
И, щёлкнув замком,
Проводник отойдёт
От двери закопчённой,
И окатит заварку
Крутым кипятком,
И пойдёт по вагону,
Помятый и сонный.
На восток, на восток —
По великой стране!
По большим городам,
По большим захолустьям
Он помчится
В обычном своём полусне,
Неподвластный давно
Ни сомненьям, ни грусти.
Будут станции, «зайцы»
И кучи рублей,
Будет веник и форма,
Удобная в носке,
Будет вянуть на столике
Книга Рабле,
Позабытая юношей,
Вышедшим в Омске.
Но однажды
Ударит по окнам весна —
И ударят тревожно
По сердцу колёса...
И пронзит озаренье:
Всё это —
Она,
Та, что села сегодня
В Серебряном Плёсе!..

В рваной сумке своей
Он отыщет билет —
Остановкой ближайшею
Надпись ударит.
Он уткнётся в подушку лицом,
Словно в бред...

Машинист усмехнётся
И скорость прибавит.

Остановка. Перрон...
Ах, какой гололёд!..
Снова тронется поезд,
И он встрепенётся,
И рукою взмахнёт,
Но стоп-кран не сорвёт...
И другою взмахнёт...
И сорвёт —
И сорвётся!
Будет ночи без сна
У окна проводить,
Будет ждать возвращенья
К тому перегону,
Где окончилась вера,
Что можно прожить
Так же просто,
Как чай разнести по вагону.

* * *

Сопки над долиною курили,
Таял над лагуною туман.
И казалось,
Будто бы Курилы
Плыли через Тихий океан.

Человек рассматривал ракушки,
Сам с собой о чём-то говорил
И из книги —
Видно, обманувшей —
Самокрутки длинные крутил.

Подошёл к нему я и остался,
Но, хотя был тоже одинок,
Разговор у нас не завязался
Даже в мало-мальский узелок.

Вместе встали, как по уговору.
Покурили — можно уходить...
— Книгу жаль, —
Сказал я без укора,
Просто чтоб молчанье разрядить.

— Почему? — спросил он
И печально
Усмехнулся, отводя глаза. —
Ведь её вы даже не читали,
Ну а я...
Я, грешный, написал...

* * *

Неважно, что ветер и осень,
Что вымок вокзальный навес,
А важно, что в ноль двадцать восемь
Уйдёт транссибирский экспресс.

И снова в вагоне под вечер,
Когда замелькают огни,
Я буду приписывать встречным
Все лучшие чувства свои.

Я буду грустить, улыбаться,
Смотреть на тайгу за окном,
В случайных попутчиц влюбляться
И мучаться долго потом.

И вновь от Приморья до Бреста
Я буду в предчувствии весь.
И жизнь,
Как чужая невеста,
Покажется лучше, чем есть!

Встреча

Я помню ту встречу,
Слияние рек,
Касание лунного холода
И чистое чувство,
Как утренний снег,
Что выпал нежданно за городом!
И всё это было в каком-то селе,
Где стынь всколыхнули проталины,
Где мы —
Как ладони на мёрзлом стекле! —
Навстречу друг другу протаяли.

* * *

Этот сон
Всё так же горек
И пронзителен, как крик:
Через лес промчалась Сольвейг
И исчезла через миг.

И опять за снег и холод,
За ночные тополя
От меня бежит,
Уходит
Безвозвратная лыжня.

И в душе моей пропащей
Восхищение и грусть.
Я за ней,
За уходящей,
Позабыв про всё, гонюсь.

Но меж нами тот же холод
И туман, и тополя...
И куда она уходит
Год за годом от меня?

* * *

В потёмках
прощально встречались руками,
Ещё ощущали друг друга тепло...
Но старый паром показался на Каме
Кому-то на радость.
Кому-то на зло.

Холодное небо меняло окраску,
И берег,
Твой берег
Прощально светлел.
А я всё не верил в такую развязку
И руку щипал,
И проснуться хотел.

Но вот уже люди взмахнули руками
И всхлипнула тихо у борта вода...
Усталый паром волочился по Каме
От пристани «Счастье»
К причалу «Беда».

И, злясь, я шептал:
— Ничего! Ненадолго!
Я всё позабуду, пущу на распыл!

...Но Кама впадает не в Лету,
а в Волгу.
И я до сих пор ничего не забыл!

Улыбка

Голос доносился через дождь,
Голос доносился через стены:
— Приходи на свадьбу...
Отпоёшь
Душу дорогой своей Елены!
Он смотрел в открытое окно
На листву,
На стынущие лужи...
— Господи, всё кончилось давно,
Для чего тебе ещё я нужен?!.
Только всё же выгладил костюм,
К случаям торжественным пошитый,
И, неловкий, серый,
Как валун,
Подошёл к дверям полузабытым.
Он уселся между пьяных дам,
Выпил,
Не закусывая,
Горькой.
Захотелось крикнуть: «Не отдам!..» —
Только вышло жалобное: «Горько...»
Горько!
На Еленином лице,
Где всю свадьбу было очень тихо,
Вскрикнула улыбка и затихла,
Как подкидыш на чужом крыльце.

Листопад

Стоим в краю берёз охрипших,
Где лето падает с ветвей,
А через просеки неслышно
Текут проливы светлых дней.
И, насыщая воздух болью,
Застыв над краешком земли,
Уже прощальные гастроли
Дают в России журавли.
И в эту пору листопада,
В разливе пристального дня,
В тебе притихли чертенята —
И ты умолкла для меня. Смешная,
С чёлкой под мальчишку,
Как ты сумела всё понять,
Чтобы из детского пальтишка
Вот так,
По-взрослому,
Молчать?

Звонок

Дождь барабанил по окнам.
Тренькнул звонок.
Он встал,
Снял трубку:
— Алло?! —
И вздрогнул,
И крикнул в неё: — Я ждал!
Вы где? На вокзале? Я буду!
Не слыша в ответ ничего,
Кричал он и верил,
Что чудо
Сбывается в жизни его.
Потом он бежал через ливень
Туда, где светился вокзал,
И, мокрый до нитки, счастливый,
Шептал, задыхаясь:
— Я ждал!..

А там, у большого вокзала,
В сырой непролазной ночи,
Она ещё трубку держала
И слышала, как он кричит.
Поодаль мужчина с вещами
Крутил её старенький зонт.
И вновь репродуктор вещал им,
Что поезд сейчас отойдёт.
И ждать было глупо чего-то.
Но было обидно и жаль,
Что тот, кто играл её зонтом,
Ни разу вот так не кричал.

Открытие охоты

Ты помнишь, затишье долины,
И трепет озёрной воды,
И мокрые вспышки рябины —
Всё полнилось чувством беды.

И лишь распогодились дали,
И солнце взошло меж стволов,
Как воздух в клочки разорвали
Десятки ружейных стволов.

И стали озёра и поле,
Где мы повстречались с тобой,
Пятью километрами боли,
Застывшей над самой водой.

Как долго в то утро стреляли,
Как кровоточили те дни!..
И птицы напрасно кричали
О том, что живые они.

* * *

Сени. Сани.
Чернолесье.
У колодцев — синий лёд.
В белых валенках невеста
Тихо по воду идёт.

Кострома ли?
Суздаль это?
Зов ли старого письма?
Только снится среди лета —
Лес...
Околица...
Зима...

Памяти Валерия Грушина

27 августа 1967 года на саянской реке Уде, спасая тонущих детей, погиб студент Куйбышевского авиационного института турист Валерий Грушин. С тех пор в нашей области ежегодно проводятся фестивали самодеятельной туристской песни, которые носят имя Валерия Грушина.

1.

Это было —
Мечтал и смеялся,
Шнуровал свои кеды,
Грустил,
Острова отыскать собирался,
По которым никто не ходил.
Ты был прост,
Как осеннее поле,
Как речушка,
Как снег в декабре...
Потому-то, наверно, без боли
И нельзя говорить о тебе.
И порой,
Задыхаясь от муки,
Вижу я между бардов живых
Уходящие под воду руки
И живого ребёнка на них!

2.

Предсказать бы тебе, любимцу
Этих рощ,
Этих гор над рекой,
Что назавтра с тобою случится,
Что стрясётся,
Валерка, с тобой.
Ты и глазом, поди,
Не моргнул бы,
Засмеялся бы лучший твой друг...
Только та,
Чьи целуешь ты губы,
Среди ночи бы вскрикнула вдруг.

3.

Ветром полнится простор.
Месяц бродит, словно вор.

Спят гитары до утра,
Да и нам уснуть пора.

На сто вёрст земля лежит —
Та, что нас от бед хранит.

За сто первой — та река,
И дика, и глубока.

А за тысячным холмом
Город есть. А в нём есть дом.

Там одно окно горит.
Там одна душа болит.

4.
Светит мутная луна.
Холодком мерцает стенка.

Тихо плачет у окна
Одинокая студентка.

Боль пронзает — хоть кричи —
Неизбывностью потери.
Тихо город спит в ночи
И слезам её не верит.

5.

Вот так — оборвётся дорога,
Как сердце в усталой груди.
И больше ни чёрта, ни бога,
Ни песен, что «жизнь впереди».

Отплачут подруги и ветер,
Откружится листьями лес.
Хорошими вырастут дети,
Когда-то спасённые здесь.

Ни боли, ни беды, ни муки
Не сломят,
Не сбросят их вниз.
Ведь в жизнь подтолкнули их руки
Того,
Кто любил эту жизнь.

6.

Трудные прошли недели.
Тише горечь похорон,
На которых плакал клён
И синицы грустно пели.

Над тобой теперь звезда —
Наша кровная, святая.
А вдали — река шальная,
Памятная нам всегда.

7.

Сколько светлых и радостных дней
Пролетело...
Звезда негасима:
Было пять или десять друзей,
А теперь, посчитай, пол-России!

Барды новые песни поют,
Но считают святым своим долгом
Поминать твой последний маршрут,
Начинавшийся с Волги.

8.

Дождей полоса нарушена.
Светлеет кромка небес.
Песнею памяти Грушина
Полнится утренний лес.
Держат озёра по радуге,
Мирно мерцают кусты.
Скольких ещё порадуют
Травы, листва и цветы.
Дождик ли ласковый брызнет,
Встанет ли солнце вдали,
Многих обрадуют в жизни
Дали российской земли.
Той, где стоят обелиски,
Где каждый кустик родной,
Где нам короче записки
Жизнь выпадает порой.

* * *

И застыть над рекою,
И вслушаться в тишь,
Ощущая не грусть,
А предчувствие грусти.
И плеснётся волна:
«Что за думу таишь?»
И притихнет река
От истока до устья.

И застынет на миг
Облетающий лес.
Только эхо вдали
Журавлём обернётся,
Он крылами взмахнёт,
Из угрюмых небес:
«Что за думу таишь?» —
Его крик донесётся.

«Что за думу таишь?»
Молча взглянет цветок.
Вскрикнут травы в лугах,
Как зелёные строки.
И как будто услышав их,
Утка-нырок
Будет долго смотреть
Мне в глаза из осоки.

Отовсюду послышится
Ропот и стон.
Как побитый щенок,
Заскулит мелколесье...

Станет страшно
За каждый ружейный патрон,
Их конечно же больше,
Чем птиц в поднебесье.

Я уйду.
И вослед мне
Посмотрит камыш.
И река будет долго
Бороться с тревогой.
Только крик журавля:
«Что за думу таишь?» —
Будет вечно лететь
Над моею дорогой.

Что за горами?

Ветер. Зима. Во дворе гололёд.
Жмётся к избе воробьиная стайка.
Девочка входит.
К окошку встаёт
Девочка — хрупкая, как балалайка!

А за окошком дорога до гор.
Девочке в доме быть очень обидно.
— Что за горами? — и смотрит в упор
Я отвечаю:
— Отсюда не видно.

Входит хозяйка, зовёт её спать.
Девочка словно не слышит —
И снова:
— Что за горами?
А мне что сказать?
Да и найдётся ли верное слово?

Лампу гашу.
Слышу — дышит мороз,
Тонкие ветви скребутся по раме.
И не уходит от сердца вопрос:
— Что за горами?

* * *

Я жил тогда в селе, над Соком
над невеличкою-рекой,
что билась, как зверёк под током,
в тисках конторы «Волгострой».

Пылили трубы и дороги,
шумели оползни камней,
и пни, как будто осьминоги,
тянули щупальца ко мне.

Тянуло гнилостью от брёвен,
был полон страха мир осин.
Не ровен час...
Но час не ровен
в любое время на Руси.

И было б всё прощально серо
среди загубленных лесов...
Но бились, бились с чувством веры
сердца последних родников.

Возвращение

1. Утро

Меж речушкой Кутурушей
И речушкою Чагрой,
Словно кнут прошёл пастуший,
Расхлестался путь родной.

Выйду к лесу чистым полем,
Где река, блеснув светло,
Как буханку на две доли,
Перерезала село.

Рассчитался я с обманом,
Расквитался с колдовством:
Надоело быть Иваном,
Позабывшим про родство.

Веселей шуми, ракита!
Я вернулся без гроша.
Но душа моя открыта,
Как крестьянская душа.

Из тумана да из лиха
Аржаная выйдет Русь.
— Хлеб да соль, —
Промолвит тихо.
Я лишь в пояс поклонюсь.

2. День

Минуты бессилья —
Крупицы просыпанной соли.
Открыта, как рана,
Последняя в жизни тетрадь.

Старинная память,
Которая пуще неволи,
Ни ночью, ни днём
Послабленья не хочет давать.

Ну, что же ещё?
Половодье моё отшумело.
И даже речушки
Под землю ушли, как кроты.
И матушка тихо
Прощальную песню запела,
И в землю ушла,
Не раздвинув её темноты.

Да что же я знаю
О жизни лишений и риска,
О жизни,
Которая
Может лишь прочерком стать?
Случилось Ивану —
Родиться в деревне российской.
Случилось Ивану —
Себя вдалеке потерять.

И вот собираю
По горсткам,
По жалким крупицам
Наследство своё,
Отводя от лица слепоту.
И смотрят из тьмы,
Из дешёвеньких рамочек
Лица —
На то, как я жалко
Сегодня живу на свету.
Не судьи они!
Потому что я злее и строже
Пытаюсь ответить
На каждый их взгляд и вопрос.
Натоплена печь.
Но мороз пробирает по коже.
«Зачем вы ушли,
Не забрав темноту и мороз?»

Да что же теперь?
На колени упасть?
Повиниться?
На вечные веки
Покинуть родное крыльцо?
Но смотрят со стен
Незнакомые
Жёлтые лица...
И я, как чужое,
Своё закрываю лицо.

3. Вечер

Кто же под этой звездой похоронен?
Тропки не сыщешь
Среди лебеды.
Кто же
Здесь память свою проворонил —
Так, что и краска сошла со звезды?

Клён на сырую могилку просыпал
Листья последние
Горсткой монет.
День, как птенец,
Что из гнёздышка выпал,
Рад бы кричать...
Только голоса нет.

Как же понять
В суете,
Круговерти,
Что мы живём и под этой звездой,
Что ни один человек
После смерти
Не превращается в дождик
Слепой?

Тихо смеркается.
Грустно и больно.
Сколько забытой здесь
Всеми родни...

Может, земля наша
Зябнет сегодня
Лишь потому,
Что озябли они?

* * *

В простой кособокой избушке
над маленькой русскою речкой
вчера угасала старушка —
негромко и быстро, как свечка.

Внучата над ней не клонились,
в глаза не смотрели больные.
Но губы старушки кривились:
— Жалейте друг друга, родные...

За гробом прошли по деревне
одни старики и старушки,
которые, словно деревья,
вросли в эту тишь у речушки.

Поставили крест. Помолчали.
Берёзы качались сырые.
Молчали, но будто кричали:
«Жалейте друг друга, родные...»

* * *

Замечу, что мать поседела,
что в речке упала вода,
что солнце закатное село
быстрей, чем садилось всегда.

И здесь, у речной переправы,
под свист деревенской шпаны
пройдёт искушение славы,
останется чувство вины:

за то, что река обмелела,
что дом покосился родной,
что мать без меня поседела
и не молодеет со мной.

Качнутся плакучие ивы,
плеснётся вода в камыше...
Мать взглянет мне вслед сиротливо,
как будто я умер уже.

И тут — посреди увяданья
родимых людей и лесов —
я вряд ли найду оправданье
у тоненькой книжки стихов.

* * *

А ведь надо же,
Эти деревья
Тоже слышали голос его
И недолго,
Но всё-таки верно
Сохраняли земное родство.

Вот и я покидаю жилище
И не знаю,
Как скоро вернусь.
Так бывает,
Что истину ищешь,
А находишь сомненья и грусть.

Вот и мне на прощальном причале,
С головой уходя в непокой,
Разбираться в истоках печали,
Непосильной печали,
Мужской.

Душу мучают трапы и травы,
Над деревнею
Выцветший флаг...
Но я верю,
Мы всё-таки правы,
Что без боли не можем никак.

Распутье

Опять распутье.
Шум берёзы
И скрип колёс из темноты...
Как будто
Старые обозы
Везут нам
Новые мечты.

И снова думы, думы, думы,
Железный отблеск бытия...
А за спиною Путь угрюмый
Дрожит — как мальчик для битья.

Бурлило, стыло и копилось...
И вот я дома,
Словно гость.
Как быстро всё переменилось,
На свист ветров отозвалось.

Былые годы — словно воды:
Упали,
Сгинули,
Сошли...
Летят по небу пешеходы,
В трамваях едут журавли.

А в темноте нахлынут слёзы,
Ведь только внуки разберут:
Вперёд ли
Движутся обозы
Или в прошедшее ползут?

Прощальная песня

Я прощусь с женой.
Я скажу ей так:
— По земле родной
Ходит враг и мрак.
Я пойду, жена,
На войну войной.
Не моя вина,
Свет ты ясный мой!
В леденящей мгле,
Где коней галоп,
Поднимусь в седле —
Шашку наголо!
Если даст судьба
Вновь увидеть свет —
Вытру пот со лба,
Развяжу кисет.
Не грусти, дружок,
Упасут от бед
Над избой дымок
И в окошке свет.
Ну а коли смерть
Приберёт, жена,
Это, друг мой, ведь
Не моя вина.
Прощевай, жена,
Если даже так...
За селом — война.
Над судьбою — мрак
Подниму клинок,
Чтоб спасти от бед
Над избой дымок
И в окошке свет.

Афганские письма

1. Перед отправкой

Шлагбаум возле перелеска,
Легла роса на автомат...
А ночь тревожна,
Как повестка,
Что выдаёт военкомат.

Весь мир границами расколот,
Пыль завивается винтом!
И знаю я,
Что здесь не холод,
Что холод встретит нас
Потом.

Майор,
Почти что мой ровесник...
Но что-то страшное в лице,
Когда на мокрый перелесок
Глядит он,
Как через прицел.

Откуда эта боль сквозная
И глаз железный окоём?
Мы это всё
Потом
Узнаем.
Увидим, примем и поймём.

Потом,
Когда сумеем выжить,
Переродиться,
Затвердеть,

Когда огнём сумеем
Выжечь
Прекраснодушье из сердец.

Потом,
Потом
Придётся вспомнить:
Шлагбаум чёрный, как плетень,
И взгляд того майора...
Он ведь
Погибнет первым.
Через день.

2. Начало

На тихую юность, залитую светом,
Спускается сумрак — тяжёлый, литой...
Так группа десанта, сносимая ветром,
Спускается молча на сельский покой.

Ещё не обветрены руки и лица,
Солдатский паёк не всегда по нутру.
Ещё не щедра на медали столица,
А значит — каптёр ещё скуп на махру.

Ещё при гремучем полуночном свете
Никто из ребят осознать не готов,
Что разом прибавят нам первые смерти:
Сначала — махорки, потом — орденов.

3. Тревога

И вот пришёл приказ. Он отдан.
В клочки порвав ночной туман,
Солдаты строятся поротно
В горах, похожих на капкан.

Опять свинцовая тревога.
Разобран весь боезапас.
И старшина дотошно, строго
Не зря осматривает нас.

Ещё не слышен лязг затворов,
Но кто-то шепчет: «Будет бой...»
Стоит живой майор Егоров,
И батальон стоит живой.

И в этот миг не до иллюзий,
А до того лишь, чем ты жив.
Так воля, стягиваясь в узел,
Не поддаётся на разрыв.

Я стану каменным на веки,
Я всех друзей смогу сберечь.
Но больно, что леса и реки
Не понимают нашу речь.

Что месяц здесь глядит с оскалом,
В лицо дожди, как пули, бьют,
Что, зубы сжав, здесь даже скалы
Нам троп своих не выдают.

А между тем опять тревога.
Разобран весь боезапас.
И старшина дотошно, строго
Опять осматривает нас.

4. Перед боем

За тридевять земель
Свети, звезда, свети!
В краю песков и змей
С ума бы не сойти...

Свети, звезда, чтоб жить,
Чтоб не гореть в огне.
А мучаться и стыть
Потом придётся мне.

Потом меня сожгут
Огни былых потерь.
Потом мне будет суд,
Но только не теперь.

Мне надо всё снести,
Но выполнить приказ
Свети, звезда, свети!
Теперь и после нас.

5.

У белой рощи, у излуки
Поверить всё-таки хочу,
Что у меня замёрзнут руки
И я от боли закричу,
Что через миг увижу сени,
Где запах трав лесных живёт,
Где мама встретит и разденет,
И снегом руки ототрёт.
Мы тихо едем вдоль излуки.
Вознице жалко гнать коня.
А у меня не мёрзнут руки,
Как будто нет их у меня.
Долина... Рощица... В просеку
Уныло розвальни ползут...
По снегу русскому, по снегу
Меня, убитого, везут.
Дымит махоркою возница.
А я лежу без сигарет.
А надо мной летит синица,
Которой тоже больше нет.
И все мы движемся к развязке
Меж двух больших замёрзших рек...
И на густой загар афганский
Ложится чистый русский снег.

6. Годовщина

Что ты видишь,
Мой друг,
Во мгле?
Отчего тебе
Стало страшно?
Вы прошли
По чужой земле,

Как дожди
По горящей пашне.

Ты склонился.
И голову сжал.
На шаги мои
Не оглянулся.
То ли свежую рану
Зажал,
То ли тоже
Домой не вернулся?..

* * *

Поседевший историк
Устал от нагрузки.
Кто сочтёт —
Сколько он загубил детворы?
Сын читает учебник
Истории русской,
Будто с ветром на саночках
Едет с горы.

Не заходит над ним
Лучезарное солнце,
Не смолкают оркестры
И крики «даёшь»...
Даже страшная кровь
Там не хлещет,
А льётся
На поля и луга,
Как живительный дождь.

Ах, историк, историк,
Наверное, хватит
От простуды прошедшего
Прятать детей!
Если наша история —
Белая скатерть,
То откуда же
Белые пятна на ней?

Открываю я сыну глаза как умею.
Шита белыми нитками —
Книга трещит...
Ты кричишь мне:
«Не смей!»
Но я всё-таки смею,
Потому что мне сын
Этой лжи не простит.

Писарь

Лопоухий, худой,
Он был очень похож на ребёнка.
Деревенский учитель,
Теперь — писаришка штабной,

Он два года писал
На погибших солдат похоронки,
И любая из них
Обдавала его сединой.

День за днём проходил.
С каждым днём прибавлялось убитых.
Оставаясь один,
Он посмертные списки листал.
И ложились листы
Тяжело,
Как могильные плиты,
И себя самого
Он посредником смерти считал.

Он боялся солдат,
Понимая, что все они смертны,
Он за каждым лицом
Видел строчку в журнале своём,
Ту, которую он,
Может быть, вслед за боем рассветным
Зачеркнёт навсегда
Затупившимся «вечным» пером.

Он смотрел, как идут
В пропылённой шеренге сельчане,
Земляки —
Михаил, Афанасий, Макар и Федот...
Как он плакал потом,
Как молился за них он ночами,

Как боялся узнать,
Что из боя не выйдет их взвод.

И короткие сны
Становились поистине бредом.
Снилось только одно:
Как в ночи окружают их взвод...
Вот упал лейтенант,
Не успев даже вскрикнуть,
А следом
Земляки —
Михаил, Афанасий, Макар и Федот.

Он кричал по ночам.
И солдаты во сне матерились.
Он вставал и смотрел
За три тыщи столбов верстовых
На село Вешняки,
Где потерянно окна светились,
Где его земляков
Ожидали увидеть живых.

И однажды,
Когда
Над Россией дожди моросили,
А над Спасскою башней
Всё ярче светила звезда,
Мозг его захандрил,
Напряженья войны не осилил,
Что-то вспыхнуло в нем
И погасло потом навсегда.

И тотчас же в глазах
Появился туман жутковатый,
Словно пыль на дорогах,
Которыми враг наступал...
Он в каптёрку зашел,
Опустился на лавку, как ватный,
Будто что-то припомнил,
И стопку бумаги достал.

Рядом спали бойцы.
Им детишки и женщины снились.

Оставалось недолго
Идти по войне напролом...
И не знали они,
Что за строки в каптёрке ложились
На казённой бумаге
Под старым казённым пером.

Он писал и писал.
И рука, что недавно дрожала,
Обрела над бумагой
Какой-то свободный полёт...
Под рукою его
Молча рота в ночи погибала
И они —
Михаил, Афанасий, Макар и Федот.

Леденящая ночь
На работу безмолвно смотрела,
И взлетали ракеты,
Окошко каптёрки рябя...
И к рассвету уже,
Завершая безумное дело,
Он спокойно заполнил
Такой же листок на себя.

С этой ночи уже
Сорок лет пролетело почти что.
Вновь в селе Вешняки
Возле клуба гармошка поёт.
И растут, как грибы,
Не видавшие смерти мальчишки...
А в одном из домов
Поседевший безумец живёт.

Он заходит в сельмаг,
Покупает бумагу устало,
Покупает чернила...
И целую ночь напролёт
Похоронки строчит,
Слыша скрежет огня и металла...
И заходит к нему —
Уцелевший на фронте —
Федот.

Блокнот

Под подушкою — «Граф Монте-Кристо»,
На столе — запылённый конспект...
В старом доме,
Похожем на пристань,
Так и жил бедолага-студент.

Уставая ума набираться,
Меж землёю и небом висеть,
Он любил
На чердак забираться
И сквозь щели
На землю смотреть.

Видел он, как туманится Кама,
Как ужом извивается плот...
Но однажды
Средь пыльного хлама
Он нашёл
Довоенный блокнот.

И нагнулся,
И взял его в руки,
И, с трудом разлепляя листки,
Вдруг услышал печальные звуки,
Непонятные звуки тоски.

От проклятий,
Рыданий и стонов
Он бежал...
Но не мог убежать.
И каких-то былых телефонов
Над судьбою
Почувствовал
Власть.

Называя всё бредом и вздором,
Он зашёл в телефон-автомат
И, набрав
Полустёршийся номер,
Пальцем в небо попал —
Наугад.

Трубка полнилась
Звуками гимна.
А потом,
Словно скрипнула дверь:
— Арестован отец...
Я погибну,
Если ты не приедешь теперь...

Женский голос метался,
Как аист
Над воронкой пустого гнезда.
Но неведом студенту был
Адрес,
И не знал он, как ехать —
Туда.

Он кричал
В телефонную трубку.
Но опять
Сквозь небесную тишь
Доносилось
Тоскливо и жутко:
— Почему ты так долго молчишь?

На воле

Будто бы искорка — чайка летает.
Крылья мгновенные гаснут во мгле.
Утро рождается, как умирает...
Что происходит на этой земле?

Что происходит со мной на рассвете,
Да и рассвет ли встаёт надо мной?
Как беспризорники, мысли о смерти,
За руки взявшись, стоят за спиной.

Раньше бы я забросал их камнями,
Всех бы окрестных собак натравил,
Раньше бы я их своими руками
Без сожаления здесь удавил.

Но не могу, не могу разозлиться.
Мысли о смерти — у моря, во мгле
Светятся тихо, как детские лица...
Что происходит на этой земле?

* * *

Ветры проскакали
в сумрачной дали,
конскими хвостами
листья размели.

Холодно и сыро,
грустно и темно.
Будто бы закрыли
в горнице окно.

Нынче ехать в город,
только он не мил.
Наберу землицы
от семи могил.

Наберу землицы,
высыплю в саду.
Старое поверье —
отвести беду.

И уеду тихо,
с милой не простясь.
Не отпустит милая
в эдакую грязь.

Послание другу

Замело, что ли, душу снегом
Или мучает совесть во мгле?
Где теперь ты, Серёжа Чевгун,
Что случилось с тобой на земле?

Были годы потёмок кромешных.
Но, духовною жаждой томим,
Ты свистел над Россией, как леший
Над уснувшим болотом своим.

Помню всё:
И грехи, и промашки,
И обиду в дыханье твоём:
— Я родился в счастливой рубашке,
Но куда она делась потом?!

И какая же страшная сила,
Под какою гремучей звездой
Нас с тобой по земле разводила,
Разливала студёной водой?

Сколько раз
Мне мерещилось дома:
Ты, как нищий, стоишь у окна
И рубашку снимаешь знакомо:
— А вот эта тебе не нужна?

Просыпались и плакали дети,
И жене, подбегавшей ко мне,
Говорил я:
— Любимая, ветер...
Это ветер свистит в тишине...

Это ветер во сне и на деле!
Забежал бы,
Сергей,
Сгоряча...
Я скажу,
Что в роддоме надели
Мне рубашку с чужого плеча!

Может быть,
Мы ещё улыбнёмся,
Разопьём золотое вино
И рубашками снова махнёмся,
Как случилось когда-то давно.

Юность

Всхлип весла плеснётся влажно,
гусь взлетит из тростника...
Ночь осенняя протяжна,
как сибирская река.

Над печуркой руки грею,
щедро жгу остатки дров.
Утро жду. Оно мудрее
всех премудрых вечеров.

Дождь сменяется порошей,
приближается зима.
С каждым разом утро дольше
набирается ума.

Не чета ему мой возраст:
с безрассудством молодым
прогорает, словно хворост,
лишь в трубу выходит дым.

Где ж ему ума набраться,
коли кажется пока,
будто жизнь, как и богатство,
не истратишь за века.
Коли кажется страданье
речкой с бродом поперёк,
где при всём своём желанье
не промокнешь выше ног.

Воспоминание о первой книге

Что за беда!
С приближеньем весны
мучают душу нездешние сны.
Перекрестили оконные рамы
тонкую книжечку «Что за горами?».

Трудно смириться в такие лета:
жизнь получается,
только — не та!

К булочной выйду за чаем и тортом,
выведут ноги к вечернему порту.

И загрущу над чужими волнами:
книжечка вышла...
А что за горами?

Муму

Что-то никак не пойму:
мир удивительно ясен!
Но топит Герасим Муму,
добрый такой Герасим!

В воду вошли два весла,
к телу прижалась собака.
Жизнь! Она так весела!
Как тут от смеха не плакать?

Знает: не жить одному,
лучше, чем мы, это знает...
И всё-таки топит Муму,
на стрежень реки выгребает.

Казалось, что время пройдёт
и мир не встревожится куцый:
Герасим с тоски не запьёт,
круги на воде разойдутся.

Тот век! Он в таком далеке!
Но что это? Вижу сквозь слёзы:
застыли круги на реке,
как кольца на срезе берёзы!

* * *

За промахом следовал промах.
И он, убегая от них,
без устали плыл на паромах,
летел в поездах вихревых.
Дорога навстречу бросалась
дождями и ржавой листвой.
Всё злей и упорней казалось,
что всё он окупит с лихвой:
заброшенный дом материнский,
транзитных друзей имена
и холод прощальной записки,
с которой осталась жена.
И снова его вдоль обочин
вёл ветер бездомья, как бес.
Но не было речек молочных,
не падала манна с небес.
Он мчался. Судьба моросила.
Скользили года у виска.
Везде была та же Россия,
любовь её, боль и тоска.
И, думая думу устало,
не мог он никак осознать,
что всё у него отмелькало,
хотя продолжает мелькать.

Кукушка

Над золотыми опушками —
там, где туман и осот,
сделано дело кукушками,
нет у кукушек забот.

Ветром ударит ли вечер,
полдень ли жаром дохнёт,
в маленьком гнёздышке певчем
быстро подкидыш растёт.

Знают лишь змеи да совы,
что оперится птенец,
и от предчувствия злого
хмуриться станет отец.

В свете луны на ребёнка
будет подолгу смотреть,
будет учить кукушонка
по-соловьиному петь.

* * *

И тянется время, и мчится,
то радость подарит, то — страх.
Измучалась птица-синица
в моих непутёвых руках.

Ну, что же, синица, я грешник.
Но ты без меня не робей.
Пускай в наш обжитый скворешник
непьющий войдёт воробей.

Поеду туда, где Курилы
вулканами небо коптят.
Мне скажут: «Куда ты, дурила?»
Скажу: «Куда очи глядят!»

Журавль

Припомню вновь
Тот день перед зимою,
Остывшие в два счёта берега
И журавлей
Над северной рекою,
Что уходила в глубь материка.
Теряла листья
Рощица сырая,
Закисшим чаем
Пахли озерца...
Я слушал,
Непогоду проклиная,
Как бьются
Журавлиные сердца.

Неслось навстречу
Снега мельтешенье.
Один журавль
Вдруг съежился и сник,
Казалось,
Что земное притяженье
Лишь на него влияет
В этот миг.

Он опускался
Медленно и тихо,
Охваченный бессильем,
Как огнём.
Но верил я:
Вернётся журавлиха,
Чтоб разделить
Несчастье с журавлем.

Но шаг зимы
Всё так же был размерен,
И ширь реки
Не делалась теплей...
Он был один.
А я-то был уверен,
Что так бывает только у людей.

Драма в себе

Какая плохая погода,
какая протяжная ночь!
И горькое право ухода
мне вряд ли сумеет помочь.

Уйти бы давно — без укора,
не в ярости, не во хмелю...
Ведь ты во мне любишь другого,
которого я не терплю.

Убого в нём всё и ничтожно,
как в русле осеннего дня.
Но ты его любишь...
Безбожно всем телом прикрыв от меня.

Такая вот боль и морока,
такой вот безжалостный миг!
И ваша любая дорога
меня загоняет в тупик.

Я зло от него отрекался
И пичкал отравой не раз.
Но ты добывала лекарство,
спасая меня каждый раз.

Безвыходность, мука и ярость,
я вновь перед вами в долгу!
Мне лучшая женщина в тягость,
я видеть её не могу!

Война без победы, без меди
идёт, небосвод затеня.
Неужто он вправду бессмертен
и всё же прикончит меня?

Бежать бы куда-то спасаться,
так можно и жизнь проиграть!
Но женщина просит остаться,
остаться и ей не мешать.

Далеко-далеко

Этот дом на разъезде далёком
Снится мне по ночам неспроста.
Там вечерние тени по окнам
За составом проносит состав.

А когда шум вагонов стихает,
Входит грустная женщина в дом
И листает тетрадь со стихами,
Наклоняясь к ней низко лицом.

В той тетрадке корявые строки.
Но с какой они силой звучат,
Если домик
Совсем одинокий,
А куда-то составы летят!

Четверть жизни её пролетело
Рядом с мрачным,
Как омут, отцом...
И она
Подаётся всем телом
На любые шаги за окном.

И в разбитых
Залатанных валенках
Выбегает тревожно во двор,
И подолгу сидит на завалинке,
И глядит в безответный простор.

Безвозвратность

Идём мы по белому свету
Над быстро текущей водой.
И всё-таки больше нас нету,
Нас нет уже больше с тобой.

Быть может, я душу неволю
И свет её даром гублю,
Когда над вечерней Невою,
Как жулик, потёмки люблю.

Приблизишься ты к парапету,
Подтает ледок под рукой...
И всё-таки больше нас нету,
Нас нет уже больше с тобой.

И я ни единым намёком
Надежды в тебя не вселю
И в тень твоих облачных окон
На этой земле не вступлю.

Как страшно: не канули в Лету,
Идём над текущей водой...
И всё-таки больше нас нету,
Нас нет уже больше с тобой.

В поезде

Поиздёргались мы, поизмыкались.
Сяду в поезд.
Качну головой:
— Как аукнулось — так
не откликнулось...
Ничего,
это всё не впервой!

Но окатит позёмкою страха,
ведь наступит рассвет сентября
и поднимется солнце,
как плаха,
над планетой,
где нету тебя!

* * *

В. Евсеичеву

Войду к нему без стука,
услышав из окна:
«Разлука, ты разлука,
чужая сторона...»

В квартире всё раскрыто,
погружено во тьму.
Разбитое корыто
валяется в углу.

Скажу я тихо: «Старче,
что окна пораскрыл?»
Вздохнёт: «Чтоб было жарче...»
Вздохнёт: «Чтоб снег валил...»

Подаст мне стул устало.
«Поздненько ты, родной...
Моя старуха стала
владычицей морской...»

* * *

Как быстро остыли мои ковыли,
Как быстро сгорают рябины!
И вновь на чужбину
Летят журавли
Тоскливо,
Как письма — с чужбины...

Плёс

Я вздрогну,
Увидев, узнав ещё издали
Обрывистый берег,
Измучавший снами,
И избы его,
И беседку у пристани,
Где Волга и небо,
И даль были с нами!

Я вздрогну на сходнях.
Где руки мы отняли,
И вновь опоздаю
На свой теплоход,
Увидев ту речку,
Ту лодку на отмели
И домик,
Где каждый наличник поёт!

Я вздрогну у рощи
Над жёлтою кручею,
Где небо
С церковного льётся креста,
Где летом
Художница юная мучалась,
Боясь, словно проруби,
Зова холста!

Я вздрогну у речки,
Где лунные плавни,
Где рощи, как ливни,
Где лёт паутин...
Я боль не уйму,
Я отчаюсь о давнем,
И с кем бы я ни был —
Я буду один!

Вовка

Он стоял на трамплине,
А спорщики — ниже.
Он был хил,
Как цыплёнок,
И очень сутул.
У него были
Очень неважные лыжи.
Но к нему доносилось:
— Ты что там, уснул!
Говорят,
Перед смертью
Всю жизнь вспоминают.
А он вспомнил обиды,
Так много обид,
Что вдруг понял,
Как сильно внизу
Ожидают,
Что он спустится вниз,
Что он не полетит.
И тогда он рукой
Оттолкнулся неловко
И на стареньких лыжах
Неловко присел...
Отыскали дружки
Под деревьями Вовку...
Кто-то ахнул: «Разбился!»
А Вовка — летел!

Развязка

Манил и звал аэропорт.
Погода лётная,
Как в сказке,
Над ним стояла третий год
И приближала день развязки.

Была разлука — хоть кричи!
И понял он,
Что делать надо.
Достал квартирные ключи
И деньги до Зеленограда.

«Лететь, лететь!
Сквозь гладь и сушь!
Взглянуть хоть раз
В лицо родное!..»

«Но у неё ведь сын и муж,
Кольцо на пальце золотое...»
«А что мне муж!
Ни друг, ни враг,
И говорили — пьёт к тому же...
Я твёрдо знаю: Надо так!
Она давно не любит мужа!»

Так бормотал он до зари,
А на заре услышал город,
Как дверь закрылась изнутри,
А ключ упал в мусоропровод.

Поездка за три года

Крикнула в ночь
Полуночная птица,
Пыльный и потный
Подали состав.
Глупая память —
Моя проводница —
Тычется в окна,
Дорогу узнав.

Еду я снова
В тот город проклятый,
Где все часы
Отстают на года,
Где меня встретят
Вчерашние взгляды
И — убежавшая
В море вода.

Бродят в том городе
Тихие тени,
Ртами безмолвными
Что-то кричат.
Перед одной
Опущусь на колени —
Бледный, растоптанный,
Как снегопад.
Времени бег
В эту полночь нарушу,
В память уйду,
Словно камень до дна.
Буду кричать ей:
— Послушай! Послушай!
Но ничего не услышит она.

Паутина

Луна чуть видится в окне.
Шуршат слова, как будто мыши.
— Ты ей расскажешь обо мне,
ты всё расскажешь... Слышишь?
— Слышу...
Приду домой и расскажу,
ты так и знай, без проволочки
проклятый узел развяжу
и по местам расставлю точки.

Луна ослабит свой накал.
Но голосок блеснёт, как ножик:
— Ты столько раз, любимый,
лгал и ей, и мне — одно и то же.
И тишина.
И сердца стук —
правдивый лишь наполовину.
И всё быстрей плетёт паук
из их молчанья паутину.

* * *

Меж красивыми,
Злыми,
Другими,
Проклиная года суеты,
Я искал
Неизбывное имя,
Словно проблеск
Старинной мечты.

И случилось:
Любимые руки
Заслонили
В ночи круговой
Десять лет
Роковой заварухи
И угрозу тюрьмы долговой.

Я навеки сумел бы
Согреться...
Но однажды,
Под вечер,
Прожгло:
Это бедное
Мамино сердце
В грудь любимой моей
Перешло.

Приласкает она и согреет,
Как давно уж
Не греют живых...
Только мать
Безвозвратно стареет,
Словно вправду
Живёт за двоих.

Потому-то
С тоскою собачьей
Я сегодня
Почувствовать смог
На губах,
Словно уголь,
Горячих
Материнского лба
Холодок.

* * *

Словно собаки цепные,
В чём-то нещадно виня,
Гнали в потёмки земные
Странные чувства меня.

Стыло туманное взморье,
Где я,
Оставшись без сил,
Всё своё смутное горе
В жалком вине утопил.

Но пробудился в тревоге.
И с приближением дня
Понял,
Что где-то в дороге
Прокляли нынче меня.

Пляжи простывшие мокли,
Ёжился сумрак лесов.
«Боже! — подумалось. —
Мог ли
Знать я про сумрачный зов?»

Только теперь и пронзило
В бездне убитого дня:
Та, что ждала и любила,
Больше не верит в меня.

Сразу потёмки земные
Пали,
Пути заслоня...
Что же,
Собаки цепные,
Вы не загрызли меня!

Утро в Ленинграде

В разводах нефти стынет Мойка,
Вдоль стен
Шатаются ветра.
Горяч и горек,
Как настойка,
Дым запрещённого костра.

Литейный мост листвою устлан.
И я смотрю,
Про всё забыв,
На этот слепок,
Снятый с чувства,
На этот каменный порыв!

Смотрю на стынущие воды,
На мостик низкий,
Как поклон,
И на залив,
Где теплоходы
Опять уходят под уклон.

И вновь рассвет
Дома кровавит,
И я боюсь,
Что город твой
Когда-нибудь меня раздавит
Своей великой красотой.

Не потому ль с таким волненьем
Здесь,
Где бездомные ветра,
Я помню
Чудное мгновенье —
Дым запрещённого костра.

* * *

Никогда я не знал такой раны,
Никогда не бывало больней.
В день поминок
Я проклял стаканы,
Разве так поминают людей?
Расходились,
Когда расходились
Так, что дым коромыслом стоял.
И как рыба об лёд
Во мне билась
Мысль,
Что всё я теперь потерял.

Серый ветер выстреливал залпом,
Мусор под ноги гнал от угла.
«Ничего, всё поправится завтра!»
Сумасшедшая мысль обожгла.
Свет луны и дыхание стыни,
Да колючий озноб тишины...
И сошлись, как четыре пустыни,
Надо мною четыре стены.

* * *

Стынут мои выси.
Льдины на реке.
Хочется в Тбилиси,
В старый парк Ваке.

Из тщеты, угара,
На закате дня
Ты одна, Тамара,
Вызволишь меня.

Чтобы впредь до гроба
Слышалось во мгле:
— Милый, гамарджоба!
— Шени чери ме!

Чтобы слушать речи
Ваших стариков —
Мудрые, как свечи
Меж черновиков!

Выйдем на рассвете
К берегу вдвоём.
Между двух столетий
Над Курой замрём.

Справа — стройка лепит
Новые дома.
Слева — Грибоедов,
Горе от ума.

И растает злоба
Тенью на холме.
— Милый, гамарджоба!
— Шени чери ме!

* * *

Бьёт в лицо снегопадом.
На земле гололёд.
Но любимая рядом,
Как спасенье, идёт.

Эти руки и губы
Не остыли во мгле.
Значит, есть однолюбы
И на этой земле.

Тихой музыкой вея,
Открывается даль.
За любовь и доверье
Даже жизни не жаль.

Пусть же в жизни чудесной
Выпадает с утра
Вам такая же бездна
И любви, и добра.

Верить в чудо не глупо
Не в тщете, не во мгле...
Есть ещё однолюбы
И на этой земле!

* * *

Неважно, что ветер и осень,
что вымок вокзальный навес.
А важно,
что в ноль двадцать восемь
уйдёт транссибирский экспресс.

И снова в вагоне под вечер,
когда замелькают огни,
я буду приписывать встречным
все лучшие чувства свои.

Я буду грустить, улыбаться,
смотреть на тайгу за окном,
в печальных попутчиц влюбляться
и мучаться долго потом.

И вновь от Приморья до Бреста
я буду в предчувствии весь...
И жизнь,
как чужая невеста,
покажется лучше, чем есть!

Ключи

И снова вспомнится:
В ночи —
В минуты горечи летучей —
Ты протянула мне ключи:
«Возьми, родной, на всякий случай».

Ты не держала в сердце зла,
Ты всё прощала мне, прощала.
А ночь таинственной была —
Влекла, манила, колдовала.

Я шёл с другими в тишине,
Я рвал в клочки
За летом лето.
И свет горел в твоём окне,
Но мне не надо было света.

А вот теперь
В глухой ночи —
В минуты горечи летучей —
Я отыскал твои ключи,
Не зная — тот ли это случай.

Я шёл сквозь город
Как во сне,
Я никому уже не верил.
Но свет горел в твоём окне.
И ключ покорно отпер двери.

Ты обернулась:
— Столько лет
На грани вымысла и бреда
Я для тебя включаю свет...
А мне уже не надо света.

Первый снег

Полной грудью вздохнули деревья.
И на склоне прощального дня
Первый снег,
Как любовь и доверье,
Просветлил и встревожил меня.

Было столько звенящей свободы,
Были в сердце такие слова,
Что я бросил топор у колоды,
Подчистую забыл про дрова.

И сидела на пенышке матушка,
Наблюдала за мной до зари,
Как холодное зимнее солнышко,
Озарённое светом внутри.

Для неё было всё расставанием...
И, бессильно скрывая печаль,
Замерзала она,
Но дыханием
Согревала холодную даль.

1955 год

Я — уродец. Я хилый и слабый,
Я часами сижу у окна.
Там рождается снежная баба
Из какого-то дивного сна.
В золотой темноте, хотя стрелки
Только-только подходят к пяти,
Строят город, играют в горелки…
Я один на земле — взаперти.
На столе порошки и малина.
Я последний на свете дурак:
Воспаление лёгких, ангина…
Продуваемый ветром барак…
Слышу маму — от вздоха до вздоха.
Вот отец, словно ветер, вошёл…
Оттого, что мне больно и плохо,
Я не знаю, что жить хорошо.
Разорвав одеяла и путы,
Меж растерянных рук и сердец
Я умру на четыре минуты,
Как расскажет соседям отец.
Я умру. И вернусь. И не вспомню
Чёрно-белое злое кино…
Но наутро горячей ладонью
Растоплю ледяное окно.
Растоплю. И присвистну: «Не слабо!
Крепостная сияет стена!»
А за лавочкой снежная баба,
Но как девочка — плачет она.

Пришествие

Повторенья останутся в силе,
Как приливы воды и зари.
Я упал и очнулся в России —
На соломке с иголкой внутри.

Я упал, я разбился, распался,
И теперь, в неизвестном селе,
Я не знаю, откуда я взялся,
Только помню, как плакал во мгле.

За душою туман и позёмка,
На столе самогон и стряпня.
А на кухне хлопочет бабёнка,
Та, что здесь приютила меня.

За окном громыхает телега,
Над телегой летят журавли.
Это — вечная тайна побега,
Это — вечная тайна Земли!

* * *

Я должен вспомнить об отце
И то, как мы чужими были,
И как менялся он в лице,
Когда мы вместе водку пили.
Он знал о русской жизни всё
И понимал уже в то лето,
Что я погибну от неё,
А он умрёт от мысли этой.
Он не хотел мне делать зла
И гнить в растоптанной могиле…
Но жизнь проклятая была,
И мы с ним вместе водку пили.
Прости, отец, и я ничей,
Тоскою ржавою завьюжен,
Я тоже Родине своей,
Как ты, с рождения, не нужен.
Она росла среди могил,
В сердцах разорванных сгорая…
И потому ты водку пил,
Мои надежды пропивая.
Прости, отец, мне тот раздрай,
Обиды все и нестыковки…
Живи хоть так. Не умирай.
А я умру. Но не от водки.

* * *

Девясил, подорожник, чабрец,
Золотая трава богородка,
Вы не знаете, где мой отец,
Вы не видели, где его лодка?

Тростники мои, ветер, вода,
Родники, не узнавшие мути,
Вы меня проведите туда,
Где гуляют пропавшие люди.

Я не праведник, нет, не истец,
Не охотник, идущий по следу.
Я такой же пропащий отец,
Как и он, не пришедший к обеду.

Где же ты, скоморох, соловей?
То ли куришь на мокром крылечке,
То ли ходишь с тальянкой своей
По селу, отражённому в речке?

Подорожник, чабрец, девясил —
Всё, что нашего племени-роду,
Проведите меня по Руси,
По великой и канувшей в воду.

Пусть звенит над рекой росинец,
Пусть плывёт по течению лодка,
Пусть хранят эту тайну чабрец
И степная трава богородка.

Чары Чуровой долины

1.

Чёртова дорога. Чёрная гора.
Что-то стало много худа без добра.

Сон чертополоха крепнет на Руси.
Отчего так плохо, Господи еси?

Грустное наследство. Давняя вина.
Пробирает детство холод из окна.

Игры на соломе. Запах чабреца.
Плохо в нашем доме было без отца.

И никто не знает, и не даст ответ,
Где он пропадает... Есть он или нет?

Чурова долина. Чёрная гора.
Ягода малина... Худо без добра.

Космос леденящий... Люди... караси...
Где же ты, пропащий, Господи еси?

2.

Чары Чуровой долины начались на чердаках,
Где мерцали паутины и орлы на пятаках.

Свечи. Ладанки. Иконы. А случится — час ночной:
Чьи-то вздохи, чьи-то стоны, чьи-то тени за спиной.

Окаянное пространство! Наползает, хоть реви!
Запах беглого дворянства, беглой веры и любви.

Где вы, тётя, в карты дулись? Где куснули ананас?
Почему вы не вернулись — хоть разок взглянуть на нас?

Волга. Родина. Отрава… То ли небыль, то ли быль...
И высок сундук, как слава, а откроешь — только пыль.

Времена, как льдины, тают... Что ты, маленький, не спишь?
Тени снова улетают на Мальорку и в Париж.

Долетели. Не разбились. Облачились в жемчуга.
А вот гуси возвратились. Гуси, гуси! Га-га-га!

* * *

Уйти от позднего веселья,
Не взяв копейки про запас,
Просить прощенья в час похмелья,
Когда не ровен каждый час.
Забыв о славе и свободе,
Беснуясь, мучась и кляня,
Просить прощенья на исходе
Времён, похожих на меня.
Когда не вывезет кривая
И день уходит в никуда,
Просить прощенья, умирая
От слёз, от боли и стыда.
Просить прощенья зло и строго
За тьму учений и словес,
За ложь, за истину, за Бога,
Сто раз упавшего с небес.
За всё, что рухнуло, свалилось,
Застряло в горле, словно ком,
За всё, за всё, что отразилось
Во мне, как в зеркале кривом.
Просить прощенья глуше, глуше,
И всё же чувствовать в тоске,
Что тьма, заполнившая душу,
Всю ночь висит на волоске,
Что, по закону искупленья,
Уже сливаются, звеня,
И жизнь, и смерть — в одно мгновенье,
Где нет и не было меня.

* * *

Александру Громову

Не кричите, мои пароходы,
Не зовите меня в никуда.
Полюбил я в последние годы
Всё, что адом казалось всегда.

Словно хан отпустил из неволи
На хромом и бесхвостом коне...
Но ни злости, ни злобы, ни боли —
Ничего! — не осталось во мне.

И смотрю я на Родину слепо,
Превращаясь в немыслимый взгляд...
Так на землю, наверное, с неба
Нерождённые дети глядят.

Магдалина

Под тоской высокой журавлиной
Наяву, а может быть, во сне
Я была блудницей Магдалиной,
Я любила всех, как на войне.

Это я в холодные метели
Под колючим ветром и дождём
Согревала ночи и постели
Золотым ликующим огнём.

Это я о счастье голосила
И, себя бросая насовсем,
Ирода ласкала и просила
Пощадить кричащий Вифлеем.

Это я ложилась под Каифу,
Забывая ненависть и срам,
Чтоб, подобно огненному грифу,
Не хотел он крови по утрам.

Это я без чар и наговора
Высекала искры из кремня.
Но к стене кромешного позора
Всё равно поставили меня.

Казнь всегда вершили на закате,
В час, когда рождается хаос…
Но вошёл в селение некстати
Золотой, как солнышко, Христос.

Поклонившись каждому раввину,
Он сказал: «Идея неплоха, —
И добавил: — Первым Магдалину
Пусть ударит тот, кто без греха».

Отступила ненависть устало,
Стала злость убога и мелка.
Но седая женщина достала
Камень из простого узелка.

Над Голгофой медленно светало,
Ждал апостол крика петуха…
И смеялась женщина святая,
Женщина, не знавшая греха.

Поморы

1.

Между туч — архангела оконце,
Вместо ливня — рыбья чешуя.
Здесь живут архангелогородцы,
Как листок из книги Бытия.

Испокон веков не выживают
Здесь клопы, тарантулы и тля.
Здесь водою спирт не обижают,
Словно лодки, глотки просмоля.

Здесь брала и славу, и начало
Родина отчаянных сердец.
Здесь столица Севера стояла,
Жаль, растаял этот Леденец.

Здесь любил созвездия и лодки
Мой отец с глазами февраля.
От его окладистой походки
До сих пор качается земля.

У простора — сердце от помора,
У помора в помыслах — простор.
Здесь душа гуляет без надзора
И не пьёт из ложечек кагор.

2.

В ночи, над Белым морем,
Одна звезда не спит.
В избе, объятой горем,
Одно окно горит.
Пьёт водку дурачина,
Смеётся, плачет, тля:

«Гори, моя лучина,
Сгорю с тобой и я!»
Поёт осатанело.
Клянёт весь мир зараз.
И снова режет невод,
Изрезанный сто раз.
На море дверь открыта,
Стаканы на полу.
Разбитое корыто
Качается в углу.
Войду к нему устало,
Он вскинется: «Родной!
Моя старуха стала
Владычицей морской!»
Нальёт мне в кружку водку,
Салфетку изорвёт.
В корыто, словно в лодку,
Залезет и плывёт.
Всю ночь гребёт устало
И мне кричит: «Родной!
Моя старуха стала
Владычицей морской».

3.

Поднимайтесь, вставайте, мои небеса!
Мне пора изучать роковые атласы,
Из отцовского савана шить паруса,
Выводить на волну времена и баркасы.

Наши лодки, как тени летящих гусей,
Как акулий плавник, каждый парус несётся.
Нам с девятого вала — десятый видней,
А с десятого видно вчерашнее солнце.

Выходи, безотцовщина! Прямо руля!
Видишь, волны опешили, окаменели!
Разворачивай парус, каналья и тля!
Полетим над водою быстрее шрапнели!

Если будут перечить — за борт скобарей!
И не думать о них, и не гнуться от горя.
Нас отцы не учили бояться морей,
Потому что ещё не вернулись из моря.

* * *

Какая странная пора,
Какое долгое затишье.
Сегодня так же, как вчера,
Летит листва. Скребутся мыши.

Глядят угрюмо старики,
Ворчат, как тающие льдины.
А золотые пауки
Плетут над ними паутины.

Упал скворечник. Дом забит,
По грудь засыпан листопадом.
Никто теперь не угостит
Сухим, как порох, самосадом.

Никто уже не позовёт,
Как это водится — на помочь...
Здесь время больше не идёт.
Часы показывают полночь.

И веет гибельной тоской
По всем просёлочным дорогам.
Стоит деревня над рекой.
Одна. Под звёздами. Под Богом.

Опять — подножие креста.
Разлад. Смятение. Рутина.
Конец столетья. Пустота.
И паутина... Паутина...

* * *

В доме моём ничего не осталось.
Ночь на исходе. Но время темнит.
В озере ночью вода отстоялась,
Цапля, как облако, в небе стоит.

Льётся с берёз золотая усталость,
Киноварь с охрой летят наиспод.
Вот и осталась мне самая малость
Дней перелётных и вечных хлопот.

Счастье ушло. Но осталась свобода —
Та, что похожа на полный расчёт,
Та, что случается после ухода
Тех, кто уже никогда не придёт.

* * *

Россия, Русь! В тоске величья,
В кругу неверия и лжи,
Меняй одежды и обличья,
Но дух нетронутым держи!

Среди земных и горних множеств,
Объятых тьмою и огнём,
Ты велика, как безнадёжность,
Что в сердце вызрела моём.

Пройдут наркоз и летаргия,
Взойдут из пепла зеленя…
Храни, храни свой дух, Россия,
Хотя бы в сердце у меня!

* * *

Слова забываю. И путаю числа.
Но я понимаю: в них не было смысла.

Сгорай же в печи, заповедная книга!
Ты хуже татаро-монгольского ига!

Я понял вчера на родимом причале,
Зачем эти дали так долго молчали.

Я всё понимаю легко и сурово.
Но больше ни крика. Ни стона. Ни слова.

Прощай же навеки, тетрадь со стихами.
Мой голос заблудший стихает, стихает.

И даже молитва всё глуше и глуше —
За милую душу. За милую душу.

Марианна

Неверный свет зари обмана,
Твоё дыханье, Марианна,
Всё это минуло давно.
Лишь на земле, запечатлевшей
Твой взгляд случайный и безгрешный,
Теперь, как в пропасти, темно.

Мне рано, рано, Марианна,
Искать тебя в стране тумана
И душу призракам крошить.
Пусть разошлась на сердце рана,
Она не больше океана,
Я сам смогу её зашить.

Живи и здравствуй, Марианна,
В тени уснувшего вулкана,
Светись, как небо и вода.
Пусть для моих желаний грешных,
Для вожделений безутешных
Не будет света никогда.

Прощай, Мария, свет мой Анна!
Во мне темно. Мне слишком рано
Стоять с тобою наравне.
Пусть будет чист желаний воздух,
Пусть никогда мечты и звёзды
Не умещаются во мне!

Кольцо

В душе моей смеркается,
Горит твоё кольцо.
Надеюсь — примелькается
Проклятое лицо.

По снегу да по крошеву
Идёт она опять.
Рукой подать до прошлого,
Да руку не поднять.

Звучат слова бессвязные...
Тона, полутона...
Любови были разные,
А мучает одна.

Душа поёт и мечется.
Поёт кордебалет.
Кольцо на пальце светится,
Как будто пальца нет.

А мне всё так же верится
У самого конца,
Что это палец светится
И нет на нём кольца!

* * *

Побудь со мною после слов.
Поверь растаявшему звуку.
Разлука больше, чем любовь.
Давай же выпьем за разлуку.

У окон, около крыльца,
В любом созвездии прохожем
Ей нет начала, нет конца,
А значит, нам с тобою — тоже.

Пусть сплетни ходят по рукам,
Пусть слухи жутко шевелятся.
А нам с тобой, как облакам,
Случилось по небу пошляться.

И это всё! Не прекословь.
И не тяни обратно руку...
Разлука больше, чем любовь.
Уйди. И выпей за разлуку.

Цветок фламбуайна

Помню свет запоздалой зари,
Помню крик из ночного тумана:
— Уходи от меня и умри
Где-нибудь посреди океана!

В заповедный крещенский мороз,
Завершая земные скитанья,
Я тебе из-за моря привёз
Откричавший цветок фламбуайна.

Ты открыла заветную дверь
В непонятном каком-то кутюре.
— Что ты ищешь, мятежный, теперь?
Я ответил: «Покой после бури!»

— Проходи же, — сказала, — в избу.
Я теперь для тебя без обмана
И звезду нарисую во лбу,
И постель застелю из тумана!

До утра завывала метель,
Бесновалась, как старая тайна…
Ты легла в ледяную постель
С откричавшим цветком фламбуайна.

Я подбрасывал в печку дрова,
Поджигал роковые засеки.
Все надежды свои и слова
Забывая на вечные веки.

И, оттаяв, согревшись на треть,
Попивая чаёк из стакана,
Я опять захотел умереть
Где-нибудь посреди океана.

* * *

Стихи летучие, как дым,
В печи сжигаю я устало.
Ко всем живым и неживым
Ты эти строки ревновала.

Ты всюду видела беду,
Над каждой выдумкой рыдала
И билась рыбкою на льду,
И возле проруби стояла.

В седых туманах ноября,
Сойдя с невидимой иконки,
Ты не смогла узнать себя
В чертах прекрасной незнакомки.

Огонь всё дочиста съедал,
Но ты печальная сидела,
Как будто я тебя предал
Во всех немыслимых пределах.

И снова возле лунных ног
Я жил, как тень твоя босая…
Любила ты! И видел Бог,
Что нет тебе конца и края!

Любила ты… И я любил,
Как любит звук далёкий отзвук,
В тебе я волю находил,
В одну тебя входил, как воздух.

Но знали сны и петухи,
Что под небесным перламутром
Родятся новые стихи
И ты опять заплачешь утром.

* * *

Ушёл без нас последний омик,
И на корме фонарь погас.
Мы возвратились в старый домик,
Остывший полностью без нас.

Скрипела дверь. Сквозили щели
Ещё невидимой бедой…
Но журавли не улетели,
Как будто ждали нас с тобой.

В полнеба листья трепетали,
Метались ветви в полумгле,
Как будто нас с тобою ждали —
Одни оставшись на земле.

И над обрывом, над рекою,
Над всей незыблемою тьмой —
Такой повеяло тоскою,
Таким сиротством… Боже мой!

И ты к лицу прижала руки,
Чему-то тайному внемля…
Стояла ночь. И для разлуки
Была открыта вся земля.

Пошлое стихотворение

Это — старинная грустная повесть,
Это — усадьба и сад, и в саду
Дождь разошёлся, как заполночь совесть,
Разговорился, как камень в бреду.

Были открыты все двери и окна,
Чёрные очи метались, дрожа...
— Господи, господи! Как ты промокла!
Как ты озябла, моя госпожа!..

Трепетный шёпот, объятья, услада,
Руки в мурашках и губы во мгле...
— Ах, госпожа! За неделю до ада
Так и бывает с людьми на земле!

Брызгает кровью измятый шиповник,
Льётся на землю восторг и вино!
— Господи! Кто ты? Разбойник Садовник?
— Ах, госпожа! Да не всё ли равно!

Не содрогнётся усадьба и волость,
Судьи не скрепят законом сердца.
Эту старинную грустную повесть
Автор не смог дописать до конца.

В час, когда дождь за окном барабанил,
Быстро смывая следы на траве,
Беглый разбойник повесился в бане,
С веткой шиповника на голове.

Граф распрощался с любимой усадьбой,
Съехал, и след его тут же простыл.
Грустная повесть не кончилась свадьбой,
Ангел-хранитель над нею не взмыл.

Сгинуло всё: и усадьба, и повесть.
Век миновал. Но сегодня в саду
Дождь разошёлся, как заполночь совесть,
Разговорился, как камень в бреду.

И под ветвями вишнёвого сада
Чёрные очи я вижу, дрожа.
— Ах, госпожа! Ты сбежала из ада!
Как ты замёрзла, моя госпожа...

* * *

С похмелья минута длиннее, чем жизнь.
Но женщина ждёт. Выбирайся. Держись.
Но женщина ждёт, словно рыба во льду,
Как ждёт Эвридика спасенья в аду.
Давай, выбирайся, ты можешь, давай,
И в ад опускайся, и душу спасай.

Искупление

Я ночью смотрел, как ты пела у зыбки,
Я плакал в подушку. Я верил и знал:
Глупей и прекраснее этой улыбки
Господь ничего на земле не создал.

Ты пела над зыбкою. Ты улыбалась,
Светилась во мгле, как воскресшая мать.
Я плакал в подушку. Вокруг разливалась
Ещё не знакомая мне благодать.

Я плакал в подушку — в туманы завета,
Я плакал и верил, и знал в феврале,
Что этой улыбки и этого света
Мне хватит для счастья на этой земле.

Не зря ты ко мне через вечность летела…
Пришла и вернула негаснущий свет,
Вернула мне душу и голос, и тело,
И Бога вернула, которого нет!

* * *

Концы с концами не сведу.
Темна последняя тетрадка.
И я, любимая, уйду,
Сгорю, растаю без остатка.

И я, любимая, уйду
Туда, где смерти не боятся.
И ты, как ласточка в аду,
Начнёшь над памятью метаться.

Но там, где муки, тлен и плен,
Ты будешь вечною женою…
«Скажи, мой миленький, зачем
Ты не забрал меня с собою?»

Скажу: «Любимая, живи,
Топчи заветную дорогу!
От нашей веры и любви
Теплее родине и Богу.

Живи в остуде и бреду,
Во сне живи и круговерти,
Живи, как ласточка в аду,
И как зачатье после смерти!»

Но, если…

Но, если я один в пивной
И мой удел во тьму катиться,
Ты разве станешь надо мной
Сидеть и плакать, и молиться?

А если сплетни и враньё
Сплетут венок мне на прощанье,
Ты сможешь в это суровьё
Прийти на первое свиданье?

Поймёшь ли ты, что это — рок,
Что освещает путь Всевышний,
Что скоро аленький цветок
Умрёт над чудищем погибшим?

Седьмая печать

Родная молчит, как седьмая печать,
Молчит и молчит, золотая.
Как смел я долги и обиды считать
И плакать, от злости сгорая?

Как смел я небесную плоть вожделеть,
Касаться небесного тела,
Когда надо было служить и жалеть,
И верить в неё без предела.

Как мог я смеяться, словами играть,
Крушить её грёзы и дали,
Укладывать облако в ту же кровать,
Где листья опавшие спали?

И вот она спит у меня на груди,
И моет полы на закате…
Как будто бы ангел уже вострубил
Над тайной последней печати.

Чёрная трава

Печь затоплю. Просыпаются осы.
Слышится поступь незваных гостей.
И, наконец, оживают вопросы —
Те, что до ручки доводят людей.

Спутался, сбился, опять возвратился
В плюнутый всеми мареевский дом.
И по пути не сгорел, не разбился,
Не околел под гремучим мостом.

Думал — всё прошлое припорошило
Снегом рождественским, палой листвой...
Но оказалось, что приворожила
Марья Моревна чёрной травой.

Помню, как истово стыла деревня,
Как хохотала ночная сова,
Как увядали цветы и деревья —
Всюду, куда долетала молва.

— Марья Моревна! Будь ты неладна! —
Выла родня у святого огня...
Но не сумели ни свечи, ни ладан
Чуровы чары изгнать из меня.

Печь затоплю и дыханье замедлю,
Господу Богу поклон сотворю:
Благодарю за потёмки, за ведьму
И за змеиную травку твою!

Колыбельная

Баю-бай, моя милая, спи,
Слушай песенку старого деда,
Как ямщик, замерзая в степи,
Согревает дыханием небо.

Скоро выплавит радость апрель,
Зарыдает ракитник о рае,
Запоёт за рекою свирель,
На которой никто не играет.

И, печали своей не тая,
Я спою про лесную избушку,
Где прекрасная мама твоя
Превратилась в простую лягушку.

Я спою тебе, Катенька-свет,
О волшебной растаявшей чуди
И о Боге, которого нет,
Но который, наверное, будет.

Я тебе буду петь на ветру
О лесах, заколдованных белью,
И о том, что я скоро умру
Над твоей золотой колыбелью.

* * *

И снег, и дождь… Растерзанный причал
Уводит вдаль потешный ледокольчик…
А в темноте скитается печаль,
Звенит, звенит коровий колокольчик.

Я жду тебя. Я жду тебя и жду
Из всех твоих немыслимых америк.
Лишь ты одна по тоненькому льду
Ходить умела с берега на берег.

Лишь ты одна — летящая душа! —
Бежала мне навстречу и кричала…
А в этот год ты так и не дошла
До нашего последнего причала.

Я жду тебя. Я жду тебя и жду,
Тревожа заживающую рану…
Я сам пойду по тоненькому льду,
Как только ждать и верить перестану.

Ну а пока — растерзанный причал
Уводит вдаль потешный ледокольчик…
А в темноте скитается печаль,
Звенит, звенит коровий колокольчик.

Звезда

Распогодилась полночь ненастная.
И опять, появившись во мгле,
Ты напомнишь о том, как я властвовал,
Как я мучил тебя на земле.

Ощущая, как горе, как бедствие
Сиротливую волю свою,
Я теперь твою злобу приветствую,
Принимаю жестокость твою.

Это лучше, чем мрак отчуждения
И попытка судьбу объяснить
Неудачною датой рождения,
Неспособностью вечно любить.

Не судьба задавила — поденщина!
Вот и надо с лихвою воздать
Мне за то, что любимая женщина
Не смогла на земле просиять!

В поезде

Мне ни чаю, ни водки не надо.
Всё проходит: хмелей не хмелей.
Как поэт, убежавший из ада,
Я печально смотрю на людей.

Они ждут небывалого чуда,
Их волнует ночная езда…
Я не с ними. Я еду оттуда.
А они ещё едут туда.

Пелёнка

Голос далёкого детства,
Привкус железа во рту.
Словно великое бегство,
Бесится вьюга в порту.

В пене державного воска,
В горькой ночной сулеме
Снег, словно белое войско,
Тает и тает во тьме.

Падают листья с берёзы,
Падает в речке вода.
Падают женские слёзы
Медленно, как города.

Запомни

Вот так вся жизнь — круги и петли,
Туман, мерцающий вдали…
Куда спешить тебе? Помедли,
Постой на краешке земли.

Одно мгновение хотя бы
Не забывай в стране чужой:
Стоит вода, стоит сентябрь,
Стоит звезда над головой.

Завтра

Только дни беспросветные тянутся...
Скоро, скоро в Отчизне моей
Сёла вымрут, а церкви останутся,
Словно зубы вставных челюстей.

* * *

Укрощённые стихии,
Побелевшие виски.
Жизнь кончается. Витии
Изнывают от тоски.

Проклинают чьи-то сети,
Завивают пыль винтом
И грустят на этом свете,
Словно весело на том!

* * *

Вернись, вернись, Христос! Куда ты?
Твой Крестный путь опять во мгле.
Теперь везде сидят Пилаты:
И в Ватикане, и в Кремле.

Теперь везде царит потреба,
Антихрист правит, почитай…
Вернись, вернись к себе на небо
И Достоевского читай.

Поезд № 1

1.

Неважно, что поздняя осень,
Что вымок вокзальный навес…
А важно, что в ноль двадцать восемь
Уйдёт транссибирский экспресс.

И снова под вечер, под вечер,
Когда замелькают огни,
Я буду приписывать встречным
Все лучшие чувства свои.

Я буду грустить, улыбаться,
Смотреть на туман за окном
И в грустных попутчиц влюбляться,
И мучаться долго потом.

И вновь от Приморья до Бреста
Я буду в предчувствии весь,
И жизнь, как чужая невеста,
Покажется лучше, чем есть.

2.

Бьёт и бьёт по стыкам поезд,
Рвёт ночные невода.
Пьёт вино ночная совесть,
Память едет не туда.

Чья-то мука и порука,
Чьи-то очи без лица…
А за окнами разлука —
Без начала и конца.

Без билета едет нежность,
Дуракам гадает ложь…
Рельсы — словно неизбежность:
И захочешь — не свернёшь.

В золотом рассвете моясь,
Вплоть до Страшного суда,
Этот страшный чёрный поезд
Не приедет никуда.

Дни и ночи… Буки, веди...
Что ты пялишься в окно?
Никуда никто не едет,
Все приехали давно.

3.

Мне ни чаю, ни водки не надо.
Всё проходит: хмелей не хмелей.
Как поэт, убежавший из ада,
Я печально смотрю на людей.

Они ждут небывалого чуда,
Их волнует ночная езда…
Я не с ними. Я еду оттуда.
А они ещё едут туда.

И жуют, и сопят, и зевают,
Забываясь во сне и в бреду…
И стоп-кран по ночам не срывают,
И не прыгают в ночь на ходу.

4.

Край света — за каждым порогом,
Над каждой судьбою — узда.
Под солнцем, под небом, под Богом
Мы мчимся, не зная куда.

Мелькают за окнами вёрсты,
Огни полустанков не спят.

Но самые яркие звёзды
Лишь делают вид, что горят.

И что же, заветные дали,
И что же, вся эта езда,
Когда нас на каждом вокзале
Встречает всё та же судьба?..

5.

Состав растянулся в ночи, как гармонь,
И сжался, скрываясь в ночи без остатка.
Над чёрной рекой просыпался огонь —
Почти неподвижный ещё, как лампадка.

Я шёл по дороге из ада домой,
Вставали туманы, лишённые веса,
И ветер касался седой бородой
Верхушек почти облетевшего леса.

Я шёл, вспоминая… Погасла звезда,
Звезда навсегда обманувшей свободы…
Так пусть же промчатся мои поезда,
Пускай уплывают мои теплоходы!

Я больше не буду метаться вдали,
Я больше не буду бежать без оглядки
От этого леса, от этой земли,
От этой почти неподвижной лампадки.

6.

Как будто не было дорог
И рока не было, и срока…
В потёмках светится порог,
Как будто радуется Бог
По окончанию урока.
Как будто не было дорог.

Как будто не было дорог,
Где душу требуют в залог…

Вдали, где сиро и убого,
Где нет ни Бога, ни порога…
Как будто не было дорог.

Как будто не было дорог,
Где не проходит дождь и слякоть,
Где ни жена, ни сын, ни Бог
Не научились петь и плакать,
Упав на старенький порог…
Как будто не было дорог.

Как будто не было дорог,
И жизни не было — покуда
Я от сиротства не продрог,
Пока небесная остуда
Не показала мне исток,
Река рождается откуда…
Как будто не было дорог.

Как будто не было дорог,
Не поднималось столько пыли,
Где все заветы позабыли,
Где всё живое оскопили,
Где всё другое — жизнь и Бог…
Как будто не было дорог…

Но видит Бог — дороги были.

7.

…но если у неба и Бога
На всех не хватает любви,
И если во тьму от порога
Уводит чужая дорога,
Уводит: зови не зови…
Но если повсюду неволя
И призрачна русская доля
Среди мировой маеты…
Что значит — свободная воля?
Да знаешь ли, Господи, ты?

* * *

Только слышится ночью осеннею,
Как бывает во сне и в бреду,
Что опять за крыльцом, за деревнею
Кто-то дует и дует в дуду.
Что же там — за дождём, за потёмками,
За мучительным скрипом плетня?
Что за странные люди с котомками
Дожидаются снова меня?
То ли ночь, то ли жизнь на исходе…
Для чего же мне рваться туда?
Я ведь знаю, что тот, кто уходит,
Всё равно не придёт никуда.
Надо жить, как цветы и деревья,
Надо падать в свою борозду…
Так зачем же опять за деревнею
Кто-то дует и дует в дуду?

Любите всех

Проходит день, как смертный грех,
Как хохот до упада.
«Любите всё! Любите всех!» —
Доносится из ада.

Я в никуда толкну окно.
«Молчите! — крикну. — Черти!
И к нам придёт ещё оно —
Прозренье после смерти.

Пройдут века или года,
Отнерестится чудо.
И мы опять пойдём туда,
А вы опять — оттуда.

И снова будет жизнь права
До смертного распада…»
И те же самые слова
Я крикну вам из ада.

Всё повторится вновь и вновь,
Всё так же — без итога.
Так пейте, черти, за любовь,
За ад — в душе у Бога!

* * *

Отрывается звук контрабаса,
Размножаются хохот и вой.
Все театры в руках Карабаса,
Кот Базилио правит Москвой.

Сивку-бурку уездили горки,
Государь говорит на арго,
Папу Карло из старой каморки
Выселяют во имя его.

Пора

Не празднуйте победу,
Как немцы под Москвой.
Я смерть свою объеду,
Как мастер — по кривой.
Я, как и он, небритый
И тоже много пью,
И тоже Маргариту
Не очень-то люблю.
Покоя ли бояться,
Когда я наяву
В палате 117
По-прежнему живу!
В окно побарабаню,
Как в комнату его:
— Ты слышишь, мастер, Ваню,
Соседа своего?
Он скажет: «Слышу, слышу,
Готовы кучера!
Ползи скорей на крышу,
Пора, мой друг, пора!»

Дьякон

Возле церкви, на Полянке,
Где торговля и разбой,
Не с похмелья, не по пьянке
Плачет дьякон с бородой.

Под усмешки и улыбки
Тех, кто выдержан и крут,
Его слёзы, как улитки,
Во все стороны ползут.

Плачет батюшка воочью,
Плачет долго, словно спит.
Что ты плачешь, милый отче?
— Я всё понял… — говорит.

Он стоит худой, безвестный,
Сам с собою не в ладу.
Но сияет крест наперсный,
Словно праведник в аду.

Кто-то злится и зевает,
Уходя отсюда вон…
Ну а тот, кто понимает,
Плачет так же, как и он.

Провидение

Что же делать, Господи еси?
Разве мы об этом голосили?..
Словно слепок с матушки-Руси,
Привиденье бродит по России.

Как же мне тебе не докучать,
Я ли не молился, не постился?..
Дай же мне отпрянуть, закричать:
— Матушка... Родимая... Рассыпься!

Видишь, видишь? Смотрит на меня.
Тянет руки к сыну-тугодуму...
Мало, мало, Господи, огня
Дал ты протопопу Аввакуму!

Вот идёт... К порогу моему...
Тихо вырастает из забвенья...
И гляжу я с ужасом во тьму —
В чёрные глазницы провиденья.

Как крапивник, пячусь от дверей,
По дворам собаки цепенеют,
И все тени датских королей
Перед тенью матушки бледнеют.

* * *

Мы Русь ругаем по привычке,
Повсюду грязь и барыши…
Но ехал Чичиков на бричке
В потёмки собственной души.

Нас опоили зельем горьким,
Слепили пыльное клише.
Но дно, увиденное Горьким,
Он видел в собственной душе.

Веками ларчик замыкался,
Но в нём хранили ерунду.
И Данте в душу опускался,
А говорил, что был в аду.

* * *

Я разговор о Боге не веду,
Но, господа, скажите мне на милость:
От грешников, сгорающих в аду,
Кому из вас теплее становилось?

Я выйду вон, напьюсь и упаду,
Но я не Бог, и я не стану злее.
От грешников, сгорающих в аду,
Мне никогда не делалось теплее.

* * *

Хотя б напоследок — у гроба,
Над вечным посевом костей,
Подняться на цыпочки, чтобы
Стать выше проклятых страстей.

Подняться туда, где и должно
Всю жизнь находиться душе.
Но это уже невозможно,
Почти невозможно уже.

Прощевай

Прощевай, моя опушка,
Прощевай, тропа в бору!
Ухожу... Но, словно Пушкин,
Весь я тоже не умру.

Положил себя, как требу,
Я на камушек лесной...
Журавли летят по небу,
Словно ангелы — за мной.

В час распада и распыла
Грешный мир нам не указ.
Не страшусь... Всё это было
И со мною много раз.

Поклонюсь Борису, Глебу...
И над Родиной святой
Буду гром возить по небу
На телеге золотой!

Курочка Ряба

Наталье Бобровой

Старик и старуха у печки сидят,
И тихо о жизни они говорят.
— Земля погибает от крови и зла...
— А Курочка Ряба яичко снесла...
— Река обмелела и лодка сгнила...
— А Курочка Ряба яичко снесла...
— Твой сын куролесит похлеще козла...
— А Курочка Ряба яичко снесла...
— Обрушится небо и Бог упадёт...
— А Курочка Ряба яичко снесёт...
— Да где же снесёт, коли лопнет земля?
— Найдёт, где снести, поперечная тля!
Снесёт под сиренью и возле крыльца...
— Так что же, старуха, не будет конца?
— Не знаю, не знаю... Но ты помолчи...
И молча сидят у горячей печи.
Сидят и молчат под скорлупкой яйца.
И нет нам начала, и нет нам конца.

Кто я? Что я?

Небу ль ясному внимаю,
Ветры ль буйные бужу,
Что за жизнь? Не понимаю.
Что за путь? Не разгляжу.

Посреди земного вздора
Поздно азбуку учить.
Я и танца от танцора
Не умею отличить.

Ах, вы, ягоды-цветочки,
Непонятный жребий мой…
Умирая в одиночке,
Я заведую тюрьмой.

* * *

Год за годом. Каждый год
Нет тебя. И карта бита.
Это — выход, это — вход,
Суть разбитого корыта.

Днём и ночью, там, где ты,
Нет ни выхода, ни входа.
Надоело рвать цветы,
Ждать нелепого исхода.

Год за годом тот же сон,
Те же отзвуки бессмертья.
Тихо падает с икон
Пыль прохожего столетья.

В чёрной комнате беда,
Худоба одна худоба.
Тихо тянутся года
От подгузников до гроба.

Днём и ночью… Чёрт возьми!
Всюду морок да изъяны…
Перед тем, как стать людьми,
Долго плачут обезьяны.

* * *

Снова чудный сон не сбылся,
Жизнь застыла на краю.
Я, конечно, опустился,
Я порой помногу пью.

Не кори меня, не сетуй,
Не ищи судьбы другой.
Вот порвём мирские сети
И расстанемся с тобой.

Ты не станешь больше злиться
И смеяться невпопад…
И тебе в раю приснится
Человек, попавший в ад.

* * *

Мне нравится лунная сырость,
Что дождик строчит и поёт,
Как будто одежду на вырост
Мне мама на кухонке шьет.

Высокая топится печка,
Беспечен и молод отец,
И тихо стоит на крылечке
Неведомый день-реченец.

А дождик всё тише и тише,
У бабушки слезы текут...
И я уже знаю, что Мишей
Сегодня меня нарекут.

Я плачу: мне некуда деться.
Куда ни посмотришь — родня.
И смерть из отцовского сердца
С восторгом глядит на меня.

Хорошо

Снегири мои, зяблики, вороны,
Туготравье и батюшка-лес,
Хорошо, когда каждому поровну
Достаётся земли и небес!

Хорошо мне от тихого дождика,
Хорошо, что у храмов и слег
Для святого отца и безбожника
Одинаковый сыплется снег.

Хорошо, что березы не бедствуют,
Не злословит речная вода,
Что душа моя с небом соседствует
И сливается с ним навсегда.

Хорошо, что с холодного пенышка
Можно в небо смотреть без помех,
Где моё заповедное солнышко
Поднимается сразу для всех!

* * *

А случится — час ночной:
Чьи-то вздохи, чьи-то стоны,
Чьи-то тени за спиной.
Окаянное пространство!

Наползает, хоть реви!
Запах беглого дворянства,
Беглой веры и любви.
Где вы, тётя, в карты дулись?

Где куснули ананас?
Почему вы не вернулись —
Хоть разок взглянуть на нас?
Волга. Родина. Отрава —

То ли небыль, то ли быль...
И высок сундук, как слава,
А откроешь — только пыль.
Времена, как льдины, тают...

Что ты, маленький, не спишь?
Тени снова улетают
На Мальорку и в Париж.
Долетели. Не разбились.

Облачились в жемчуга.
А вот гуси возвратились.
Гуси, гуси! Га-га-га!

Русь отражённая

Подойду. Глаза закрою.
Зябко. Страшно на Руси.
— Видишь, что там — под водою?
— Вижу, Господи еси!

Вот он — к облаку прижался,
Раздвоился, задрожал
Дом, в котором я рождался
И в котором умирал.

Вижу улицу, крылечко,
Сад, усыпанный листвой...
Мать в потёмках, словно свечка,
Светит небу головой.

Дом живой, не заколочен,
Голос мальчика слыхать:
— То бо вам, родимый отче,
То бо вам, родная мать...

И летит по ветру сено
За овин и коновязь...
И вхожу я по колено
В тину тёплую да грязь.

И кричит на кочке кочет,
И не хочет улетать...
То бо вам, родимый отче,
То бо вам, родная мать.

Скоморох

Во тщете да в простоте,
Но не на потребу, —
Распустился во Христе
Я, как дождь по небу.

Пойте, пойте, петухи,
Заливайтесь, шельмы!
Я люблю свои грехи,
Как святой отшельник.

Под веригами склонюсь,
Цепью поиграю.
На дорогу помолюсь
Да на хату с краю.

Молча выйдут старики,
Хмурые, босые...
Братья, дядьки, свояки,
Милые, родные...

В ваших окнах нет огня,
А тепла — тем паче.
Привяжите вы меня
К конуре собачьей.

Я потешища люблю
И цепную волю...
Всё за вас я отскулю,
Отмолю, отвою.

А коль снова на заре
Будет вам хреново —
Пристрелите в конуре
Кобеля цепного!

Спасение

Сергею Морозову

Первый снег ударил залпом.
Нету худа без добра.
Хорошо, что я не запил
Нынче с самого утра.

Было больно и тревожно,
А теперь, на склоне дня,
И представить невозможно —
Снег, идущий без меня.

Не мечталось о наследстве,
А оно летит с небес.
И пленительно, как в детстве,
Сердцу хочется чудес.

Снег идёт. Летит, как небыль.
Тихо светится во мгле.
Снова люди смотрят в небо...
То-то славно на земле!

Я давно уже не молод,
Но всю ночь стою в саду...
Так встречают снег и холод
Лишь в России да в аду.

Очень печальное стихотворение

На отшибе погоста пустого,
Возле жёлтых размазанных гор
Я с кладбищенским сторожем снова
Беспросветный веду разговор.

Я сказал ему: «Видимо, скоро
Подойдёт неизбежный черёд...»
Но ответил кладбищенский сторож:
— Тот, кто жив, никогда не умрёт.

Я вернулся домой и три ночи
Всё ходил и качал головой:
— Как узнать, кто живой, кто не очень,
А кто вовсе уже не живой?

Под иконою свечка горела.
Я смотрел в ледяное окно.
А жена на меня не смотрела,
Словно я уже умер давно.

В тихом доме мне стало постыло,
Взял я водку и пил из горла.
Ах, любимая, как ты остыла,
Словно в прошлом году умерла!

Я заплакал, и месяц-заморыш
Усмехнулся в ночи смоляной...
Ах ты, сторож, кладбищенский сторож:
Что ты, сторож, наделал со мной?

Корешок

Я сожгу зачитанные книги.
Добрые и злые — всё равно.
Странники, бродяги и расстриги
Пьют со мной зелёное вино.

Чёрные корявые коренья,
Травы, затаённые от глаз,
Сколько раз я падал на колени,
Под луной отыскивая вас.

Пробираясь к соте и жаризне,
Бродит люд за Чуровой горой,
Где длиннее памяти и жизни
Корешки встречаются порой.

Разгребёт он землю, растревожит,
И простой какой-то лопушок
Тянет, тянет — вытянуть не может
И порвать не может корешок.

Упадёт он в травы. Как мессия —
Разведёт руками облака
И прошепчет: «Матушка Россия!
Как же ты, родная, глубока!»

Наберёт брусники да морошки.
И в село вернувшись в полумгле,
Будет думать, сидя на порожке,
О себе, о небе, о земле...

И опять за рощи и овраги,
Где всегда, как в памяти, темно,
Странники, расстриги и бродяги
Будут пить зелёное вино.

Огонь

То-то было на сердце неладно,
То-то выла собака в ночи:
Возвернулись гостёчки обратно,
Развалились, как угли в печи.

Одуванчики, пьяные в стельку,
Голосят с заповедных времён
Безвозвратную песню про Стеньку,
Беспросветную песню про клён.

Оборванцы мои! Забулдыги!
Гаснет пламя. И нечего сжечь.
Все бумаги мои и все книги
Дочитала голландская печь.

Догорел этот мир и распался,
Как воронье гнездо на дубу.
Всё, чем был он, и всё, чем казался,
В полчаса улетело в трубу.

Всё сгорело — слова и цифири,
День Победы и яблочный спас...
Ничего мы не знаем о мире,
Ничего он не знает про нас!

И шумят незнакомо берёзы,
И таинственный берег видать,
И опять можно пьяные слёзы
Гениальною рифмой считать...

Приговор

Русь моя! Туман, поверья,
Пыль таинственных времён!
Как преступник к высшей мере,
Я к тебе приговорён.

К шуму сосен, к скрипу ставен,
К зову птиц издалека
И к твоим тропинкам тайным,
Проходящим сквозь века.

Пусть порою путь без веры
Выпадает мне во мгле...
От всевышней смертной меры
Нет спасенья на земле.

Принимаю шум ненастья,
Свет звезды и крик ворон...
К наивысшей мере счастья
Я судом приговорён.

Мир вам, рощи да излуки,
Шелест, шёпот... Камыши... Навсегда.
До смертной муки.
До бессмертия души!

Гоголь

Ты не стой над ним, не трогай,
Не мешай ему скорбеть...
Третий день боится Гоголь
В дали русские смотреть.

На рассвете, на закате,
Наболевший, как нарыв,
Он лежит в постылой хате,
Очи чёрные закрыв.

Тают сроки и зароки.
Бродят возле головы
Олонецкие пророки
И Онежские волхвы.

Головою Гоголь крутит,
Поднимается — как честь...
Показали — всё, что будет,
Всё, что было. Всё, что есть.

Гой ты, Русь! Кресты и свечи,
Глухари да упыри...
Небо падает на плечи:
— Всё, что видел, говори!

Из оврага ли, из лога ль
Наползает дым и тьма...
Ничего не скажет Гоголь.
Промолчит. Сойдёт с ума.

* * *

Сестре Тамаре

Уйти от позднего веселья,
Не взяв копейки про запас,
Просить прощенья в час похмелья,
Когда не ровен каждый час.
Забыв о славе и свободе,
Беснуясь, мучаясь, кляня,
Просить прощенья на исходе
Времён, похожих на меня.
Когда не вывезет кривая
И день уходит в никуда,
Просить прощенья, умирая
От слёз, от боли и стыда.
Просить прощенья зло и строго
За тьму учений и словес,
За ложь, за истину, за Нога,
Сто раз упавшего с небес.
За всё, что рухнуло, свалилось,
Застряло в горле, словно ком,
За всё, за всё, что отразилось
Во мне, как в зеркале кривом.
Просить прощенья глуше, глуше
И всё же чувствовать в тоске,
Что тьма, заполнившая душу,
Всю ночь висит на волоске,
Что по закону искупленья
Уже сливаются, звеня,
И жизнь, и смерть — в одно мгновенье,
Где нет и не было меня.

Ты помнишь...

Ты помнишь, мы спали на печке,
Мы жили с тобою во мгле.
Зимою... На Чуровой речке.
На сказочной русской земле.

Хватало нам света и снеди,
Сошедшей с небес чистоты...
Казалось — так будет до смерти,
Такой же красивой, как ты.

Во мгле. До скончания света.
В избушке. На самом краю...
А нынче ты в городе где-то
Забыла про печку мою.

Простыли волшебные ночи.
И знает лишь домик рябой,
Что смерть, заглянувшую в очи,
Я радостно спутал с тобой.

Я знаю, тебе не приснится
Тот сумрак вечерний и чад...
Недавно ты ездила в Ниццу.
Ты видела озеро Чад.

Зачем же сегодня при свечке,
Рукой отводя полумрак,
Ты сыну читаешь про печку,
Где умер Емеля-дурак?

А в полуистлевшем конверте
Дымятся мечты и мосты —
До Чуровой речки, до смерти —
Такой же красивой, как ты!

Первый снег

На тёмном крыльце, замерзая,
Теряя ко мне интерес,
Ты что-нибудь знаешь, родная,
Про снег, убежавший с небес?

Здесь ночи из чёрного крепа
И голос прощальный дрожит...
Зачем же он с ясного неба
На тёмную землю бежит?

Прощаясь со мной на пороге,
Скажи, на ладони дыша,
Зачем он лежит на дороге,
Растоптанный, словно душа?

И нет в нём ни злости, ни гнева.
И кто в том, скажи, виноват,
Что снег, убегающий с неба,
Не помнит дороги назад?..

Ну, что же, родная, ну, что же!
Побег — он на то и побег,
Чтоб не было снега дороже,
Чем этот растаявший снег!

Летит по дорогам остуда.
И ты, не оставив следа,
Пришла неизвестно откуда,
Ушла неизвестно куда.

Случилось ни мало, ни много...
Сентябрь... Следы на снегу...
Неужто я тоже от Бога
На тёмную землю сбегу?

* * *

Изба моя... Поленица...
С ума бы не сойти...
Она опять поленится
До поезда дойти.

Театр. Площадь. Улица.
Щербатый гололёд.
Она опять заблудится,
Собьётся, пропадёт.

Поплачется по прошлому,
Начнёт вздыхать и звать,
Чтоб каждому прохожему
С три короба наврать.

А я не пью, не кушаю,
С крыльца тебя зову:
— Овца моя заблудшая!
Ау... Ау... Ау...

И это всё случается
По триста раз в году...
Идёт бычок, качается,
Вздыхает на ходу.

А март кипит и пенится,
Как бражка взаперти.
Гори, моя поленница!
С ума бы не сойти...

Ожидание

Видно — рано... Ещё не пора...
Только хочется, чтобы скорее...
Я помыл семь окошек вчера,
Чтобы небо казалось светлее.

А ещё, чтоб букетик не сник
И на мир не повеял бедою,
Я сходил на далёкий родник
За живой и за мёртвой водою.

Я не знаю, тебя ли люблю
Или эти смешные цветочки...
Но я всё же исправно кормлю
Карасей, обитающих в бочке.

И они до последнего дня
Ловят крошки высокого хлеба.
И с восторгом глядят на меня,
Как на бога, сошедшего с неба.

А я жду всю неделю тебя.
На крыльце замерзаю, как кочка.
И всё чаще ледком октября
Покрывается ржавая бочка.

Светятся окна во траке,
Тает ночная тоска —
Враки, что кашляют раки
И остывает река.

Враки, что кончилось счастье,
Что подступает беда.
Просто в такое ненастье
Мало кто едет сюда.

Чайки проснулись на лодках,
Дышит туманом трава.
Кашляет чудо в колготках,
Чудо из пятого «а».

Что же ты, девочка Прокла,
Снова теряешь цветы?
Чучело тоже промокло,
Но не чихает, как ты.

Чудо замрёт, улыбнётся,
Тихо помашет рукой...
Так вот светло и начнётся
Новый мой день над рекой.

Что же, пойду для собаки
Кашу варить на костре...
Враки, что кашляют раки
Или же раки не те!

Мандала

Метался запах ладана,
О вечном лопоча.
И падала, и падала
Из мандалы свеча.

Над ней, пыля порошею,
В зелёной полумгле
Металось наше прошлое,
Как ведьма на метле.

И беспросветней Фауста,
На гибельной меже
Я знал, что нам из августа
Не выбраться уже.

Ни совести, ни горести.
Потёмки и постель.
Из снега давней повести
Расходится метель.

И снова над опушкою
Заводит кутерьму.
Поди спроси у Пушкина.
Он знает, почему

В постылые объятия
В холодных облаках
Бегут из-под распятия
В хрустальных башмачках.

Элегия

Надрывается ветер заблудший,
Колобродит всю ночь в камыше.
И чем хуже погода, тем лучше
Почему-то теперь на душе.

Ничего, я с дороги не сбился
И совсем не знаком с ворожбой.
Я в счастливой рубахе родился
И снимал её только с тобой.

А теперь возле дома слепого
Я хожу, словно вор, без огня...
Хорошо, что ты любишь другого,
Как когда-то любила меня.

Хорошо, что без боли и страху
Ты мне машешь рукой на ходу,
Что мою голубую рубаху
Носит пугало в вашем саду.

Талан

Ничего он о жизни не знает.
Всё разлад у него и тоска...
То свечой под иконой пылает,
То на церковь глядит свысока.

То летит меж землёю и небом,
То пылит росинцом по Руси...
То становится печкой и хлебом,
То бродягой, ползущим в грязи.

И кричит он сквозь зиму и лето:
— Кто я, Господи? Кто я — теперь?
И рычит, не дождавшись ответа,
И к земле припадает, как зверь.

И уходит в ночные туманы,
И в развалах листвы и хвои
Лижет чьи-то кровавые раны,
Словно давние раны свои.

А когда под зарёю проснётся
Деревенька в родимых лесах,
Он к любимой руке прикоснётся,
Утонув в золотых волосах.

Обернутся секунды веками!
Но отпрянет он, вечность рубя:
— Я не ведаю — чьими руками
Обнимаю, как небо, тебя!

Он лицо загородит руками,
Он на стол упадёт головой:
— Я не ведаю — чьими губами
Говорю в этой жизни с тобой!

— Ничего, — она скажет, — не бойся.
Всё пройдёт и начнётся опять...
Заплету я по-девичьи косу
И пойду за деревню гулять.

Ничего... За туманами века,
За горящей листвой октября
Я найду и убью человека,
Что прожил эту жизнь за тебя!

И ушла золотая, как небо,
Затерялась в потёмках жена...
И один — без воды и без хлеба —
Целый век он стоит у окна.

Преображение

Я подкову прибью над порогом.
И, забросив за плечи суму,
Буду долго шагать по дорогам
К твоему золотому ярму.

Будут тропы метаться по-лисьи.
И не раз обомру я в бору:
То ли это прощальные письма,
То ли листья горят на ветру.

Чуров лес... Чаровница излука...
Боже мой! Колобродя, спеша,
Я не знал, что такое разлука,
Что такое в разлуке — душа.

Я шатался по свету, покуда
Не прошёл этот мир поперёк.
Но теперь я надеюсь на чудо,
Как из клетки сбежавший зверёк.

И мне видится свет над порогом,
Где скажу в предначертанный час:
— Я пришёл к тебе с Господом Богом,
Так встречай как положено нас!

Гром ударит средь тёмного неба,
Тонкий месяц взойдёт из-за гор.
И, как запах горячего хлеба,
Ты из кухни метнёшься во двор.

Оглядишься тревожно и строго,
Сиротливо замрёшь у плетня...
Но в сиянии Господа Бога
Ты уже не увидишь меня.

За всё, за всё…

Ну, что же, время расставаться.
Опять дороги развезло.
И на крылечке оступаться
Ты стала весело и зло.

Уже травой не дышат сени,
И половицы не поют.
И чьи-то призрачные тени
Тебе покоя не дают.

Теперь уже грибы в лукошке
Нас не обрадуют с тобой.
Не вечен свет в моём окошке,
И дым не вечен над трубой.

Ну, вот и всё. Прости, Елена,
За холод рук, за холод глаз.
За то, что глупое полено,
Сгорая, молится за нас...

Нальём же в кружки зверобою,
Поставим свечку на столе...
За всё, за всё, что нам с тобою
Дано почти что на сто лет!

Пусть не убудет, не прибудет,
Пусть ни к чему не приведёт...
За всё, за всё, что есть и будет,
И нас с тобой переживёт.

За всё, за всё... За шелест сена,
Прощальный свет над городьбой…
За то, что глупое полено
Восходит дымом над трубой.

Оберег

Молча лошадь снаряжаю.
— Эй, соседи! Загружай!
— Уезжаешь?
— Уезжаю...
— Что же, с Богом уезжай.

По засекам-лесосекам,
По календуле в долу
Да по мостикам-калекам
В городскую кабалу.

Мимо треснувшего треста,
По оврагу падуну
Поезжай, моя невеста...
Я кобылу подстегну!

Вейся, вейся, путь бедовый,
Между сосен и берёз!
Пусть летят с копыт подковы
Дальше памяти и слёз!

Разорву туман на части
И, смерив безумный бег,
Подарю тебе на счастье
Свой заветный оберег.

И со всей окольной грустью,
По уклону сонных вод
Поплывёт с тобою к устью
Мой последний пароход.

Там, у моря-окияна,
На далёкой стороне,
Вспоминай, моя Татьяна,
Несказанный свет в окне.

Вспоминай мои сусеки,
Береги мой оберег.
Глубоки моря и реки,
Но истоки глубже рек!

Гой ты, Русь! Сверчки да совы,
Конопля да лебеда,
Где счастливые подковы
Улетают в никуда!

Богородка

Будет мало надежды и света.
И в смешной перелётной тоске
Ты меня, не признав за поэта,
По задворкам проводишь к реке.

И, прощаясь у старенькой лодки,
Как упавшую с неба зарю,
Семь соцветий травы богородки
Я на память тебе подарю.

Уходящему дню потакая,
Ты мне скажешь над тёмной рекой:
— Что за травка смешная такая,
Никогда не видала такой!

Засмеёшься и спустишься в лодку,
Уплывёшь в колдовской городок.
И поставишь траву богородку
На окно, что глядит на восток.

Я писать тебе писем не буду,
Я ведь знаю, куда ты гребёшь...
И меня, как простую простуду,
Ты, наверное, переживёшь.

Но однажды — печально и кротко,
В час, когда я умру без тебя,
Расцветёт на окне богородка,
Словно память того сентября,

Где, недолгому дню потакая,
Ты смеялась над чёрной рекой:
— Что за странная травка такая,
Никогда не видала такой!

Звезда Урусвати

Ох некстати звезда Урусвати
Осторожно взошла из-за гор,
И с тобою, родная, некстати
Я заветный завёл разговор.

Ты не слышишь теня. И не надо.
Не досада остуду дарит,
А звезда неземного разлада
Над пропащей землёю горит.

Не летит наше время, не мчится,
Не встаёт над постылой судьбой.
Всё, что с нами когда-то случится,
Мы уже пережили с тобой.

Хватит, хватит! Звезда Урусвати!
Ведь опять, как в бреду, как во сне,
На тебе поднимается платье,
Словно Чёрное море к луне.

И проносится снежная замять,
И опять на земле восстаёт
Тишина, неживая, как память,
Как душа, обращённая в лёд.

Так готовься к высокой расплате,
Принимай предначертанный бой
Под холодной звездой Урусвати,
Не согретой когда-то тобой.

Сон

То ли дождь, то ли капельки боли,
То ли ветер играет листвой...
Мне ещё не случалось дотоле
Наблюдать за своею вдовой.

Там, внизу, где на холмике сочном
Смерть с зеваками накоротке, —
Как прекрасна она в полуночном,
В беспросветном почти что платке!

Как дрожат её тонкие пальцы,
Как мой друг обходителен с ней...
Ох, как хочется им целоваться
Прямо здесь, на могиле моей!

Браво, женщина! Пламя печали
Угасает стремительней дня!
Что ж вы плохо меня закопали,
Закопайте получше меня...

Снова утро. День без дела.
Дом, открытый всем ветрам...
Ты уже не молодела
После кофе по утрам.

Но в закусочной Омара
Ты была светлей огня,
И тобой жила гитара —
Злая, словно западня.

Ты всё истовей стучала
В разнобой ночных сердец:
— Где у нас с тобой начало,
Середина и конец?

Каждый вечер в белом платье,
Подавая руку мне,
Хохотала ты некстати
В первозданной тишине.

Вот и нынче — те же звуки.
Под мостом шумит вода.
И тебе, как мне, до муки
Тоже хочется туда.

Ты головкой покачала.
На тебя взглянул юнец.
Этот взгляд и есть начало,
Середина и конец.

Две жизни

Когда моя свеча, померкнув,
Вдруг воспылала вдругорядь,
Ты, как сквозняк, влетевший в церкву,
Спросила: «Миленький, опять?»

Твои глаза во тьме горели,
А руки веяли теплом,
Как будто только из постели
Ты залетела в Божий дом.

Я был потерян, как ребёнок,
Как жалкий пёс у зимних дач...
Я знал: с тобой живет подонок,
Счастливый, как любой палач.

Но ты опять сказала строго,
Свечу в руке ломая зло:
— Не смей, не смей просить у Бога
Того, что было, да прошло!

И, усмехнувшись, ты исчезла,
Легко, как ведьма на метле.
Ты и со мной бывала резвой,
Да на другой совсем земле!

Ярославна

Мне сказали, сказали, сказали.
Сколько можно ещё говорить!
Что тебя больше нет ни в начале,
Ни в конце, где нас будут судить.

Лишь тебя и любил я в Отчизне!
А теперь, как в высоком бреду,
Ты ушла в направлении жизни —
Той, что я никогда не найду.

Прошлой ночью, в слепом иступленье
Ты всё твёрже шептала во мгле:
— Боже правый! В одном направленье
Триста лет я иду по земле!

И ушла на заре осторожно,
Как уходит вода сквозь песок...
И следов отыскать невозможно,
И на гроб не положишь венок.

Нет ни чести, ни правды, ни славы.
Но летит через вечность душа
На незыблемый плач Ярославны —
Той, что утром из дома ушла.

Бегство

От квартир унылых и от буден
Выбросили верные ключи.
Жить теперь по-новому мы будем?
Будем! Откликался я в ночи.

Тополя шумели у причала,
Теплоход спасительный кричал.
Мы с тобою всё начнём сначала?
Да, начнём! Тебе я отвечал.

А потом мы долго говорили
И в ночи надеялись всерьёз,
Что навеки вечные уплыли
От нескладиц, недругов и слёз.

Выпили. Поплакали. Попели.
Много слов несказанных нашли...
А наутро разом отрезвели
И на первой пристани сошли.

Долго ожидали теплохода.
Сиротели. Делались собой.
И ночная глупая свобода
Утекала с утренней водой.

* * *

И в этот год нам нет прощенья,
Опять дороги спутал бес.
Всё Рождество и всё Крещенье
Солёный дождик льёт с небес.

И в ночь кромешную не спится,
И днём не справиться с тоской.
Чужие вывески и лица
На испоганенной Тверской.

Везде дыханье балагана,
На волоске повисла жизнь.
А возле кладбища реклама
Зовёт покойников в круиз.

Какая страшная усталость!
И ничего не изменить.
За то, что жизнь не состоялась,
Пожалуй, некого винить.

Да и могло ли быть иначе?
Кровавый след уводит в старь...
Снимите шапки. В небе плачет
Последний русский государь.

Равновесие

Мать честная да лыко-мочало,
Да звенящая попусту гнусь...
Перепутав концы и начала,
Я не знаю, на что пригожусь.

То целую икону святую,
То нечистых дразню, как гусей.
То прощаю врагов подчистую,
То гною по темницам друзей —

То умён, как последнее слово,
То — Емеля, дурак, ветрогон...
Гой ты, Русь! Золотая подкова,
Под которой сидит скорпион.

И по сёлам, где слёз не осталось,
По сурепке и по лебеде
Темнота, перешедшая в святость,
Разошлась, как круги по воде.

Хохотали по просекам черти,
Обрывалась волшебная нить...
Равновесие жизни и смерти
Я хотел на земле сохранить.

Потому-то из ада и серы,
Из икон и дырявых кадил
Создал, создал я зеркало веры,
Но на камни его уронил.

Ты прости меня, батюшка милый,
За вороний бессмысленный грай,
И меня из холодной могилы
Не пускай в нарисованный рай.

Но сейчас наливай до предела!
Пей до дна за своих мудрецов,
За успех безнадёжного дела,
Как когда-то сказал Кузнецов.

И пускай мною песенка спета
На идущей под воду корме...
Я люблю темноту после света
И рождение света во тьме!

* * *

Обросла столица мхами,
На поток пошли гробы.
Не спасти души стихами
За пределами судьбы.

Там — рога, а здесь — копытца.
Пир в преддверии чумы...
В чёрной хате бы закрыться
Да напиться сулемы.

Не заплачет о поэте
Русь, ушедшая в полон...
В чёрной хате бы... Но дети...
Без опоры, без икон...

Боже правый! Дай мне силы,
Дай мне удали твоей,
Чтоб подняться из могилы
Посреди нетопырей.

Чтобы цепи рвать и сети
И живьём гореть во мгле,
Чтобы знали наши дети,
Как мы жили на земле.

Филя

Поморили в деревне скотину,
Подчистую подъели еду.
Больше Филя не ходит в долину,
Больше Филя не дует в дуду.

В сотый раз перед ним оробеешь,
Поскребёшься о краешек сна:
— Что ты, Филя, за Русь не радеешь?
— А зачем мне такая она?

И глядит голубыми глазами,
Как уходит под камень река...
И его золотыми слезами
Проливаются к нам облака.

Филя! Филя! Тоска вековая!
Ни кола, ни двора, ни рожна...
И кричу я ему: «А какая,
А какая Россия нужна?»

И смеётся старик негасимый —
Так, что вряд ли когда опишу...
— Ту Россию, что надо, родимый,
Я в дырявом кармане ношу.

Половодье

Склоны сопок оползли,
В воду канули деревья.
Пядь за пядью край земли
Приближается к деревне.

Поздно, милый, морщить лоб,
Лодку старую латая.
Это даже не потоп,
Это ненависть святая.

В небе грозно и светло.
Напрочь срезана дорога.
Позабыв про барахло,
Люди вспомнили про Бога.

И сосед мой в небеса
Смотрит грустно, как калека.
За такие вот глаза
Бог и любит человека.

Микола

От просветов до отдушин
Жизнь проходит, как во сне.
Но поэт, что был задушен,
Продолжает петь во мне.

Плачь, полуночная плаха!
Всё, что надо, есть у нас —
На двоих одна рубаха
И один Небесный Спас.

У берёзы, у рябины,
Там, где жизни рвётся нить,
Мы сажает георгины,
Чтоб до неба их растить!

Есть у нас вино и водка,
Мы продуктов припасли!
Кто сказал, что наша лодка
На речной сгнила мели?

Курмыши родного края
Заливает божий свет!
Нет Руси конца и края,
И погибели нам нет!

Родине

Я ступаю по тонкому льду
Над твоею холодной водою.
Только чувствую: эту беду
Не утянешь на дно за собою.

Впереди — беспросветная ночь,
За спиною — полоска разлада.
Дорогая, хорошая! Прочь!
Ничего от тебя мне не надо!

Я прощаюсь с твоей красотой,
С незадачей твоей избяною...
Я не знаю, что стало с тобой,
Ты не знаешь, что будет со мною.

Не жалей, не зови, не кричи.
Никуда возвращаться не надо.
В чёрном омуте стынут ключи
От небесного рая и ада.

Мне теперь — что назад, что вперёд,
Спотыкаться, скользить и кружиться...
Но на веру твою, как на лёд,
Я уже не могу положиться.

Оглянусь — ты стоишь у плетня,
Ожидая, что всё-таки струшу...
И жалеешь, и любишь меня,
Как свою уходящую душу.

* * *

Боже правый! Пропадаю!
Жизнь пускаю на распыл.
И не помню, и не знаю —
Как я жил и кем я был.

То ли был бродягой, вором,
Жалкой похотью хлюста,
То ли я, как чёрный ворон,
Не оплакал смерть Христа?

У прощального причала
Полыхает вечный свет!
Нет конца и нет начала,
Середины тоже нет...

И, как жертвенная треба,
Я на призрачном торгу
Всё расплачиваюсь с небом,
Расплатиться не могу.

* * *

Россия, Россия! Пусты
Твои заповедные дали.
Горят под ногами мосты
Высокой любви и печали.

О чём-то былом лепеча,
В нездешние игры играя,
В рубашке с чужого плеча
Стоишь ты у самого края.

Языческий помня замес,
Дикарка, вдова, азиатка,
Ты гнев сумасшедших небес
Вбираешь в себя без остатка.

И как бы мороз не сластил
Последние гроздья рябины,
Нам некуда больше идти
По диким дорогам чужбины.

Татары, башкиры, мордва,
Мы — глас вопиющий в пустыне!
Стоит на чужбине Москва,
И Киев стоит на чужбине!

Пылают кресты и мосты
В потёмках заморского ига...
Но ты, как паденье звезды,
Прекрасна до смертного мига.

В тот день

В тот день, когда прощальный август
Замрёт на гибельной меже,
В последний раз метнётся Фауст
За тем, что продано уже.

Бледнея, встанут святотатцы,
И под позёмкою ворон
В последний раз вопьются пальцы
В оклады стареньких икон.

И в тот же час охватит сушу
Высоким гибельным огнём.
И мы, не продавшие душу,
Среди небес захолонём.

Во тьму тартар идут убийцы
И тот, кто грабил без стыда,
И тот, кто мог за них молиться,
Но не молился никогда.

Чухонец

Вдали от солнечных околиц —
Скребутся в душу толмачи...
Молчи, молчи, глупой чухонец!
Хоть перед смертью помолчи!

Молчи, молчи, язык нерусский!
Что толку в гнусной молотьбе,
Когда и ты — один, как Курбский,
И нет спасения тебе.

Испив немыслимой отравы —
Той, что бывает на крови,
Не мог понять ты нашей славы
И веры нашей, и любви.

Ты жил в стихах витиеватых,
Как сновиденье, как хандра...
А он врагов своих заклятых
Прощал со смертного одра.

И знаю я, что в день морозный,
Когда устанет ждать земля,
Всё тот же царь — родной и грозный —
К народу выйдет из Кремля.

И ты, предавшийся измене,
С немой тоской нетопыря,
Растаешь весь, подобно тени,
В сиянье мёртвого царя!

И там, за облаком дурмана,
Где неизбежно грянет суд,
Любовь и слёзы Иоанна
Тебя, как Курбского, спасут.

Пускай!

Забудь слова, приметы, лица
И, счёты с миром не сводя,
Попробуй взять и раствориться
В холодных капельках дождя.

Попробуй тихо, неумело
Войти в деревья и ветра.
Пусть без тебя побудет тело
На мокрой лавке до утра.

Пускай тебе легко летится
Над беспризорною судьбой,
Пускай сверчки, цветы и птицы
Легко становятся тобой.

Лети божественным созданьем,
Позёмкой лунною пыля,
Когда одним твоим дыханьем
Согреты небо и земля.

И пусть, как ниточка, порвётся
Нездешней жизни волшебство...
Но в тело грешное вернётся
Не то, что вышло из него.

Отныне в нём легко и строго
Огонь божественный горит.
Плывёт туман. Пылит дорога.
Звезда с звездою говорит.

Рубеж

Выйду к берегу устало,
Заслоню лицо рукой...
Мать честная! Волга стала
Пограничною рекой!

Вековой разлад итожа,
Под ногой моею, тля,
Как шагреневая кожа,
Тает русская земля.

И опять в ночном тумане,
Погляди-тка, Симеон,
Точат стрелы басурмане,
Коим имя — легион.

Запах пота, кокаина,
Безнадёга и тоска...
Волга. Матушка. Чужбина.
Пограничная река...

* * *

Песни свои забываем.
Редко бываем за чаем.
Вроде бы в землю врастаем,
Так вот совсем измельчаем.

Ваня не манит парком,
В школе — простывшие классы.
Будем ходить босиком,
Ходят ведь так папуасы!

Так вот у печки сижу,
Давнюю думку латаю...
Но никому не скажу —
Как я и с чем умираю.

Что мне заезжая грязь,
Что мне посмертные цацки...
Казнь — она каждому казнь,
Даже когда и по-царски.

Ташла

Мраком веяло с полей.
С приближеньем смерти —
Вылезали из щелей
Упыри и черти.

Стоны. Шорохи. Шаги.
Молнии без грома.
Взял я в руки сапоги
И ушёл из дома.

Страшно, зябко на Руси
Каждому, кто грешный.
Где ты, Господи! Спаси
От тоски кромешной.

Сила вражья — хоть кричи.
Темень за душою.
Только вспыхнуло в ночи
Небо над Ташлою!

Тишина... Родник... Хоругвь..
Чудное мгновенье...
Рассыпаются вокруг
Тени да виденья!

И восходит надо мной,
Над моей бедою
Церковь с мёртвою водой
И с живой водою.

Утро. Озеро. Ташла.
Ни чертей, ни смерди.
Вот и жизнь моя прошла.
В двух шагах от смерти.

* * *

В. А.

В тиши деревьев, за деревней,
Под свист метели кочевой
И я, Володя, стану древним,
Как свист стрелы над головой.

Мы полетим над белым свеем,
Сливаясь с гибельным огнём.
И ни о чём не пожалеем,
И никого не проклянём.

Но мы запомним час ухода,
Когда родные водку пьют,
Когда весь мир и вся свобода
В обличье ада предстают.

Пропасть

Что за горе с нами, мама,
Что за звёздная парша?
Как кладбищенская яма,
Для тебя — моя душа.

В старом городе уездном,
Дребезжащем, как буфет,
Родила ты, мама, бездну,
Где тебе и места нет.

Мама, мама! Век железный
Режет ниточки в судьбе!
Ты прости... Я был проездом...
Сквозь тебя... И по тебе...

Зря мы мечемся по дому...
Это — месяц золотой
Бьёт и режет по живому —
Между мною и тобой.

Что за время? Пропадаю
В освящённом богом зле...
Ничего не понимаю,
Что творится на земле.

Где ты, мама? Как ты, мама?
Неужели в тишине
От хохочущего Хама
Тянешь ниточку ко мне?

От тебя

Принял боль и любовь,
Время зла и распыла
И невинную кровь...
От Тебя это было.

Принял веру и яд.
Принял пулю в затылок,
Словно ангельский взгляд.
От Тебя это было.

Принял зависть и лесть,
Всё, что было и сплыло,
И бесчестье, и честь...
От Тебя это было.

И развалины дня,
И звериные рыла...
Что ты судишь меня?
От Тебя это было!

И в пучину, в ничто
Опускаюсь бескрыло.
Боже мой!.. А за что?
От тебя это было!

Разговор с матерью

— Мама, не надо смущения...
Волос твой — дикий тимьян.
Будут, скажи мне, для мщения
Горы российских семян?

— Сыне, не надо сердиться,
Голос твой страшен и гол...
Всё, что случится, — случится.
Было поболее зол.

— Мамочка, сердце изныло,
Падает сердце до дна...
Как тебе силы хватило
Годы стоять у окна?

— Милый, сумевший вернуться,
После безжалостных лет:
Боль помогала проснуться,
Воля варила обед.

— Мама, а как же иконы,
Так же под спудом лежат?
Или всё те же вороны
В дом твой небесный летят?

— Сыночка, что мне иконы?
Глупо, наверное, врать:
Все вы и были вороны,
Чтобы меня заклевать...

— Мама, у вечного звона
Я припадаю к тебе
И обнимаю знамёна —
Самые красные — те!

— Сыночка, в келье домашней
Правда сгорит, как жнивьё.
Выйди из дома на Башню,
Там и умри за неё.

Сентябрь

Михаилу Терёхину

Тихо-тихо на дворе.
Ни шагов, ни листопада...
Вот и славно! В сентябре
Ничего душе не надо!

Утро. Озеро. Ташла.
Паутинка пролетела...
Слава Богу! Жизнь прошла.
Даже там, где не хотела.

Панихида... Торжество...
Провожаю, принимаю...
В жизни вашей ничего
Я теперь не понимаю.

Выхожу во двор. Дышу.
Птичьи стаи провожаю.
Тихо листья ворошу,
Но уже не поджигаю.

Тихо листья ворошу,
Клён мне веткою кивает.
Так живу я. Так дышу.
Что ещё со мной бывает?

Пью водицу, хлеб жую,
Да в лесу, где дуб чернёный,
Золотую цепь кую
И пою, как кот учёный!

Ярославна Чуровой долины

Сыну Максиму

Яснопёрый Сирин-птица,
Здесь Гоморра и Содом.
Я такая же зигзица,
С горлом, залитым свинцом.

Сердце-ворон грудь терзает.
Русь моя — один погост.
Хорошо, что помогает
Деревянный Алконост.

Да Ивашка, да Емеля
На разваленной печи —
Завтра кости им размелют
Басурманские мечи.

А покуда — суть да дело,
Пой со мною, Алконост,
Чтобы песня долетела
До Его придворных звёзд.

Запрягай, Иван, Пегаса —
Половчее, не робей
Да шипящего мне кваса
Из баклажечки налей.

Мы с тобой народ не бражный.
Там — прореха, тут — дыра...
Пусть шипит квасок сермяжный,
Как змея в когтях орла.

Полетим с тобой, Иване,
По Молочному пути.
Может, в эдаком тумане
Сможем родичей найти.

Далека у нас дорожка,
Да и ты не лыком шит:
Растяни свою гармошку
Шире матушки-души!.

А Иван дрожит со страху,
Бражным запахом разит
И, рванув с плеча рубаху:
— Кто ты, ведьма? — говорит.

Конь несётся быстро, справно.
Отчего же не сказать:
Я — Царевна Ярославна!
Я — твоя родная мать!

Средь разврата, похоти и глума,
Посреди немереных утрат
Я согреть пыталась Аввакума
И его двенадцать ребятят.

Господи! В суровые утраты,
В час, когда горели рубежи,
Ты давал нам веру в Коловрата,
Ты вручал нам вилы и ножи!

Почему под тучею татарской
Оценил народ ты золотой,
Или тот же Минин и Пожарский
Не твоей отмечены рукой?

Я взываю к господу не в страхе,
Я давно страданий не боюсь.
Почему Россия словно плаха,
На которой мучается Русь?

Конь несётся быстро, справно,
Млечный путь трещит, как гать.
— О, царевна Ярославна,
Говори мне дальше, мать!

— Дальше, Ваня, сам узнаешь,
— Посмотри, как на земле
Дом твои старенький ветшает,
Сын сидит на конопле.

Посмотри, как там, в тумане,
Да левее, там, где пруд,
Скачут в поле басурмане,
Ваших девушек везут.

Посмотри и ты увидишь,
Как в саду Илья заснул,
Как Попович учит идиш,
А Никиту ветер сдул.

— Мать честная! — ахнул Ваня.
Сад зарос. Козёл сбежал.
Развалилась к хрену баня,
А сосед жену прижал.

Не видал такого сроду,
Жил синицею в горсти.
Видно, мать, мне крест до гробу
По Руси теперь нести!

Облака вокруг, как сдоба,
Даром дадены пути...
Говорят, вернулись оба...
Ты их, Господи, прости!

Сказка

Навалило за окнами снега.
И, как самую главную быль,
Дед читает про Чука и Гека,
Про большую планету Сибирь!

Я лежу весь больной и сопливый,
Но словечко боюсь пропустить...
Ах, народ мой! Пропащий-Счастливый...
Как же дальше нам с памятью быть?

Закопать — так крапивой прорвётся,
Бросить в печь — вся деревня сгорит...
Ходит по небу прошлое солнце,
Мёртвый дедушка пальцем грозит.

Навезли нам голландских магнолий
И другого дерьма навезли...
Лишь бы пахарь забыл своё поле,
Лишь бы мы свою память сожгли.

Только я на оскалине века
Прикоплять не желаю рубли.
Помню сказку про Чука и Гека,
Про величие русской земли.

* * *

Русь наполнилась звоном.
Средь убранств золотых
По церковным канонам
Выбирали святых.

Причисляли их к сану,
К принадлежности крыл,
Напускали туману
Из огромных кадил.

Ликовали берёзы
И орлы над Москвой.
Невольные слёзы
Истекали рекой.

Но морозом по коже
Я почувствовал дых:
— Значит, Господу тоже
Назначают святых?

Значит, Сам он не может
Выбрать лучших людей?..
И морозом по коже,
Словно финкой злодей.

Кто сказал? И откуда
Этот глас прозвучал?
Может, в Храм наш Иуда
Незамеченным встал?

Но и ныне, как ножик,
Я ношу меж бровей...
Что же, Сам он не может
Выбрать лучших людей?

* * *

Ночью гуси закричали,
Раскудахтались вдали:
— Утоли моя печали!
Хоть убей, но утоли!

Вышел Ваня с сигаретой,
Сел на тёплое крыльцо.
— Что за чёртовы секреты
Знает это озерцо?

Здесь рыбалил с малолетства,
Здесь купался и нырял...
Эко проклятое место:
Гусь, как тёща, закричал!

Но опять в ночи кричали —
И поближе, и вдали:
— Утоли моя печали,
Хоть убей, но утоли!

Ваня снял с гвоздя двустволку,
Положил в карман патрон.
И, прикончив поллитровку,
Двинул прямо на затон.

А чуть позже, над рекою,
Буйный ветер закричал...
Там с разбитой головою
Ваня солнышко встречал.

Под развесистою ивой,
Где любимых обнимать,
Он такой лежал счастливый,
Что и слов не подобрать.

Как и надо — закопали,
Новый встретили рассвет...
Больше нет в селе печали,
И села без Вани нет.

Маруся

Где шумит заполярное море,
Поглотившее наших сынов,
Не осталось парадного горя
И уплывших на небо цветов.

Там на камне святая Маруся
Всем знакомую песню поёт:
«Капитан, капитан, улыбнися...» —
И глядится в пучину. И ждёт.

И когда очень редкое солнце
Пробегает по чёрным волнам,
То Маруся счастливо смеётся,
Как ребёнок несбыточным снам.

Она пишет какие-то письма,
Опускает их в воду. И вновь:
«Капитан, капитан, улыбнися...»
И он чувствует эту любовь.

И оттуда, где нам не придётся
Захлебнуться в воде и крови,
День за днём поднимается солнце
Никому неподвластной любви.

Зов

Ждёт, надеется и терпит.
Завладел варяг Москвой.
Где ты, Радонежский Сергий,
Наш заступник горевой?

Рвёт на части наше сердце
Чёрной крови вороньё.
Укажи на страстотерпца,
Дай избраннику копьё.

А уж ты не сумлевайся,
Встанет всё на вечный зов.
Где ты, Отче! Появляйся!
Ждут и Суздаль, и Ростов.

Слышишь, Отче, нету мочи,
Загибается народ —
Топоры и вилы точат,
Позабыв про огород.

Всё теперь уходит в тую.
Поднимай же нас, зови
И веди за Русь святую,
И за братия свои!

Евгению

Нет Ярославны поплакать зегзицей,
Зря над землёй полыхает рассвет...
Нет, господа! Ничего не случится,
Если бесследно уходит поэт.

Где там на карте отыщешь Садовку,
Где в той Садовке приземистый дом?
Что он там делает? Хлещет ли водку?
Или кричит по утрам петухом?

Было да сплыло. Водица не скажет.
Были следы, да там вырос бурьян...
Ах, русачки! Роковые пропажи...
Тают поэты, как утром туман.

Крикнешь порой — от тоски подыхая.
Эхо откликнется в чёрном лесу...
Может быть, он, обо всём забывая,
Гонит в бессмертие рифму-лису?

Нет, русачки! Ни к чему не сгодится
Жизнь без былого земного тепла...
Кто это, Господи, плачет зегзицей?
Чья просвистела над нами стрела?

Кольцов

Я по самому краю хожу.
И, теряя надежду, бессильно
Непомерные строки твержу,
Необъятные, словно Россия.

Как он мог в ледовитом плену,
Погоняемый, словно собака,
Понимать и беду, и вину,
И причины Вселенского мрака?

Как провидел последний исход,
Как прознал ядовитые всходы,
Как увидел, что русский народ
Растворится в кислотах свободы?

Но и загнанный в угол. Один.
Получая сибирские сроки,
Как последний земной пилигрим,
Изрекал он небесные строки:

Утолятся твои вереда,
Раны, пролежни, злые отёки.
Ненавистная, будь же тверда
До гремящей звезды на востоке.

* * *

Помню тихий рассвет Святогорья,
Дух пшеничный и рыбий жар...
На прощанье иконку Егорья
Подарил мне отец Макар.

Много лет с той поры пролетело.
И безжалостно, как на войне:
Чья-то совесть, как порох, сгорела,
Чья-то честь — догнивает на дне.

Время бедствия, время оргий.
Чёрный змей завладел Москвой.
На иконке моей Георгий
Закрывает лицо рукой.

Теперь все песни о любви!
И все слова без капли желчи!
Пускай ночные соловьи
Переворачивают ночи!

В моей душе одна любовь,
Одна, но вечная зарница!
Мне отдают сегодня кровь
Ромашки, бабочки и птицы.

Лягушки квакают в пруду,
У них сегодня мусикия.
Скажи, какую же беду
Не расхлебаешь ты, Россия?

Что люди? Господи, прости!
Они немного заплутали...
А им бы просто дорасти
До золотой душевной дали.

А им бы выйти из домов
И сосен шум услышать снова,
И колокольчики коров,
Где даль до неба василькова!

Вот то-то станет любота
Среди людей родных, как травы!
И светозарные уста
Припомнят дни российской славы.

* * *

Тихий Углич, Ростов величавый,
Словно Кижи, уйдите до дна,
Чтоб ночами свечами печали
Озарялась родная страна.

И больно, и грустно. На Родине свет.
Тебя ещё нет. Меня ещё нет.
И больно, и страшно. На Родине свет.
Тебя уже нет. Меня уже нет.

* * *

Я устал от тоски. Я не сплю.
Я стою у окна. Замерзаю.
Боже мой! Как я мир не люблю,
Как устройство его презираю!

За окошком сбесившийся век
Пожирает родную планету.
И поверить, что я — человек,
Всё труднее бывает к рассвету.

Хотя б напоследок — у гроба,
Над вечным посевом костей,
Подняться на цыпочки, чтобы
Стать выше проклятых страстей.

Подняться туда, где и должно
Всю жизнь находиться душе.
Но это уже невозможно,
Почти невозможно уже.

* * *

Невидимые слёзы,
Как видимые, врут.
Но маленькие грёзы
Ещё в душе живут.

И что-то там лепечут
О славе и любви...
А мир, как красный кречет,
Купается в крови.

И уши зажимаешь
От свежих новостей.
Да так и умираешь
На родине своей.

* * *

Старый дом. Нелепый случай.
Ничего здесь не найти.
Есть куда податься тучам,
Небу некуда пойти.

Третий день один валяюсь,
Забываю про слова
И потёмок не пугаюсь,
Как опавшая листва.

Третий день лежу в постели,
Как больное божество.
В окна мухи налетели...
Больше в доме никого.

Как всё пусто и нелепо
На любом земном пути... Вот и всё.
И мне, как небу,
Больше некуда идти.

Ночной голос

В воздухе мечется. Плачет в ночи.
В окна швыряет дверные ключи.

Кто и откуда? И чей это глас —
Выше души, что была про запас!

Ночью разбудит: «Ты дремлешь почто?
Встань и иди, ибо боле пусто...»

Выйду покорно во двор-леденец...
Вот оно поле... Предсказан конец.

* * *

Милый брате Аввакуме,
Повторилось всё у нас.
Птица-ворон веет в думе,
Рвёт на части Божий глас.

Вновь везде никониане,
Торжество мирского зла...
Возрождается в тумане
Тень двуглавого орла.

Всё, как есть, исчадье ада
В древний Кремль забралось.
Русь в конвульсиях распада
Доживает на «авось».

В богохульствии да в глуме,
В колдовстве да ворожбе...
Милый брате Аввакуме,
Забери меня к себе.

* * *

До луны, до ночных петухов,
В разнотравье родного заречья,
Мне б отречься от всех стихов,
От погибельной тьмы отречься.

Сколько можно вот так, навзрыд
Принимать освящённое благо?
Я ведь знаю, как ты на разрыв
Поддаёшься легко, бумага.

Сколько можно судьбу свою
Загонять, как коня, до предела?
Ведь в цветущих садах соловью
Никакого до этого дела!

Похмелье

Лучше ад, чем такое похмелье.
Нет дверей, чтоб уйти из него...
Мать честная! Грядёт новоселье.
Жизнь проводит черту «итого».

Вот окно нараспашку. Верёвка.
Можно бритву и яда достать.
Что за чёрт! Недопитая водка
Мне надежду пытается дать.

Ну, попробуй ещё полстакана,
Ну, накапай с зелёного дна!
Но на чёрные створки капкана
Так похожа фрамуга окна.

Я допью, докурю сигарету...
Ну и что там в итоге окно?
Да прыжок к ледяному рассвету,
Где давно уже всё решено.

* * *

Я жить хочу. Я умирать не стану.
Я всех чертей из дома разгоню.
И на рассвете, как травинка, встану,
И никого ни в чём не обвиню.

Я жить хочу, хотя и не умею...
Но, став травинкой, видимо, смогу.
И осенью спокойно пожелтею,
Как все другие травы на лугу.

А что душа? Душа душою будет.
И, тихо воспаряя надо мной,
Она грехи навеки позабудет,
Как боль и страх — излеченный больной.

Я буду скакать

Я буду скакать по ушедшим, по сонным,
По чудным селеньям, пропавшим во мгле,
И в чёрной ночи рассыпать, как подсолнух,
Остатки судьбы по родимой земле.

Я буду скакать по хмельным и прогорклым,
По страшным дорогам, распятым вдали.
И снова сойдутся на Красную горку
Живые и мёртвые русской земли.

И вспыхнут костры, и послышится пенье,
И тихий туман поплывёт по лугам...
И каждый из нас за такое мгновенье
Все царства небесные бросит к ногам.

Россия, Россия! В ночи у прикола
Ты вся затаилась в суровом узле...
Неужто зарёю объятое коло
Напрасно катилось по нашей земле?

Замёрзшие руки над пламенем грея,
Гони обступивших тебя бесенят,
Все гуси и лебеди Гиперборея
На ясный огонь из потёмок летят.

Я твой самый чистый и преданный олух,
Я буду к тебе неустанно скакать
И вечную жизнь, словно чёрный подсолнух,
По долам и весям твоим рассыпать.

* * *

Совсем догорают мои старики,
Коптят, как церковные свечки.
Но бабушка Господа кормит с руки
И греет иконы у печки.

Иконы, иконы... И всюду беда,
Всё та же Голгофа, распятье...
Над Чуровым лесом погасла звезда,
И даль превратилась в проклятье.

Но с бабушкой, с бабушкой я помолюсь
И с дедушкой выпью в чулане
За веру, за Сталина, словом — за Русь,
Пропавшую в божьем тумане.

А завтра я берег холодной реки
Опять сапогами расквашу.
И в городе вспомню, мои старики,
Про церковь домашнюю вашу.

Пускай же не стынет родное жильё,
Пусть тянутся в высь деревеньки...
Прекрасна религия, если в неё
Не вкладывать душу. Как деньги.

* * *

Сельсовет с горбатым флагом
Я видал вчера в гробу.
Под горою, над оврагом
Матом крыли мне избу.

Обложили, как берлогу.
Ночевай, мужик, в стогу.
Не могу платить налогу,
Хоть убейте, не могу!

За крылечко, за калитку,
За малиновую сласть
Всю деревню, словно липку,
Обдирает эта власть.

По родной земле гонимый,
Тёмной ночью, так раз так!
Я андреевский родимый
Подниму на крыше флаг.

Любо, братцы, на просторе
Песню в узел затянуть...
Ничего... В японском море
Не впервые нам тонуть.

Русская гармония

Метель клубилась и кипела,
Плескала в двери кипятком...
В саду собака околела.
В потёртой шубе. Босиком.

Хозяин дал лопату сыну,
Хлестнул вдогонку, словно кнут:
— Заели блохи кобелину,
Теперь и сами перемрут...

Он над собакою склонился
Огромной рыжей бородой
И как-то зло перекрестился
Одной рукою и другой.

Он бормотал молитву вяло,
Слезу стирая кулаком...
А на пороге смерть стояла,
Она пришла за стариком.

Ворона каркала на крыше.
И сын подумал: «Быть беде...»
А блохи прыгали всё выше,
Скрываясь в рыжей бороде.

Старик подумал: «Вражья рота!
Ведь бороде теперь капут...»
Но бриться было неохота...
И хрен бы с ними! Пусть живут!

И смерть, костлявая паскуда,
В саду растаяла, как вздох.
— Ты поживи, старик, покуда,
Я не хочу тревожить блох.

* * *

Поздно руки вздымать и ночами вздыхать.
Этот мир повторяет былые уроки.
Всюду лица, которым на всё наплевать,
Всюду речь, у которой чужие истоки.

Я закрою глаза, я закроюсь рукой,
Закричу в темноте Гефсиманского сада:
— Если стала Россия навеки такой,
То не надо России... Не надо... Не надо.

Перепуганный насмерть, забытый в ночи
Посреди иудейского вечного царства,
Я пойму перед смертью: кричи не кричи,
А придётся пройти через эти мытарства.

Что ж, идите, идите к подножъю Креста,
По такому знакомому следу мессии...
Было грустно, евреи, вам после Христа,
Погрустите немного и после России.

* * *

Помню виноватую улыбку,
Тихое мерцание лица...
— Расскажи мне, дедушка, про рыбку,
Только... не до самого конца.

Головою дедушка качает.
Завтра он, наверное, запьёт...
Но сегодня сказку мне читает
И надежды снова не даёт.

Ожидая грустную развязку,
Я душою чувствую подлог:
— Что ж ты, Пушкин, дедушкину сказку
Подобрее выдумать не смог?

Пролетели розовые годы,
Отсвистали, словно соловьи.
Не нашёл я славы и свободы
Под высоким облаком любви.

И теперь, раскачивая зыбку,
С глупою улыбкою отца
Я готов рассказывать про рыбку
Тыщу раз — до самого конца.

Всё прошло (банальная тирада).
Было много горя от ума.
Золотая, милая, не надо,
Ничего не надо задарма.

Я мечты и клятвы забываю,
За дела обычные берусь.
Я тебя люблю и принимаю,
Над корытом плачущая Русь.

Замарашка. Чудо. Богомазка.
Ты одна дороженьку нашла.
Жалко, что божественная сказка
Ни в одну из Библий не вошла.

* * *

Что за жизнь? Спешим, мельчаем,
Таем, словно облака.
Даже смерть свою встречаем
Как улыбку дурака.

Что за дьявольские сети,
Что за адский пересверк?
Покаянье после смерти,
После дождичка в четверг.

Вспоминаем про обиды,
Ворошим их, не спеша.
На безОБРАЗные виды
Разделяется душа.

На земле бросает тело
Легче старого гнезда...
И летит, как будто дела
Нет до Страшного суда.

* * *

В доме холод, тишина,
Злого солнца волоконца...
Чашу выпил бы до дна,
Но у чаши нету донца.

Боже, как я ненавижу,
Света белого не вижу.
За окошком гибнет Русь.
Я не плачу, не молюсь.

Мать воды нальёт, вздыхая,
Сын растает, словно честь.
Есть ли ненависть святая,
И что делать, если есть?

Слово Божие учить,
Мировой порядок славить?
Щёку бьющему подставить
Или вилы наточить?

Ночь проходит. Пропадаю,
Погибаю в хате с краю,
Душу злобою губя,
Боже, кто я для Тебя?

* * *

Время сбилось с извечного круга.
Все пророчества воспалены.
На лице у любимого друга
Я увидел оскал сатаны.

Я ушёл, я сбежал из вертепа.
Я уехал за тысячи вёрст.
И нашёл на околице неба
Небольшой деревенский погост.

Ночь тревожно могилы багрила,
По оградкам скользила, рябя...
Друг мой плюнул на эти могилы,
Не заметив, как плюнул в себя.

Пахло чем-то растаявшим, древним,
Что не может шуметь и блистать —
Захотелось родную деревню
От вчерашних друзей опахать.

Но тревожно шумели сирени,
И почувствовал я, что кругом
Возникают и кружатся тени,
Говорят на наречье чужом.

Я не знал и не ведал, откуда
Эти чёрные люди пришли.
Но уже улыбнулся Иуда
Из высокой, как небо, петли.

Тени шли, словно тени, неслышно,
Расползались вокруг, как мазня.
И подумал я: «Боже Всевышний,
Почему Ты оставил меня?»

И крестил я орду пучеглазью,
То в бессилье, то в ярость впадал,
Позабыв, что Господь перед казнью
Даже сыну руки не подал.

Всё обгадили, всё оболгали,
Добрались до святынь и могил.
Штопать наши надежды и дали
Мне не хватит, наверное, сил.

Вот он мир — безнадёжный и узкий,
Вот на выбор — тюрьма и сума...
С беспросветной тоскою: «Я русский...» —
Умирают и сходят с ума.

Из-за моря волшебная сказка
К нам идёт, золотишком бренча.
Но зачем мне чужая закваска
И одежда с чужого плеча?

Для чего мне заморская пена
И гробы небоскрёбов в окне,
Если стог августовского сена
Ярче солнца в чужой стороне.

* * *

Ну, что ты ёжишься, душа?
Не рано ли, не поздно ли...
Теперь входи уж не спеша
Во дни великопостные.

Предстань к престолу. Пробил час
Для слёз и покаяния.
Я сам себе кажусь сейчас
Виной без оправдания.

Смотри, какая нынче высь,
Как будто бы из боли вся...
За тех, кому там не спастись,
Давай ещё помолимся.

Тропинка

Сонный сговор осенних лучей,
Через поле дорога пустая...
Где-то там собирают людей,
Словно птиц, в перелётную стаю.

Где-то там — далеко, на краю,
Где не надо ни воли, ни хлеба,
Взвесят ангелы душу твою
И покажут тропинку на небо.

Я ощупаю тропку ногой,
Словно пол от стены до печурки...
Это мама играет со мной
В беспросветные детские жмурки.

И опять — ни стыда, ни суда.
Только хрупкие звёздные мили
Устремляются прямо туда,
Где меня беспредельно любили.

Мостик

Всему виной — грехи и гордость,
Пустые мысли и дела.
Ещё никто не видел пропасть,
Но пропасть всё-таки была.

Здесь — суета, позор и тленье,
Продажа, медные гроши...
А там — любовь и воскресенье,
И бесконечность для души.

А там, в пещере, где светало,
Где распахнулся час чудес,
Мария сына пеленала
Высоким запахом небес.

По небу ангелы летали,
Светились белые сады...
И пастухи уже шагали
На свет таинственной звезды.

Ещё им было неизвестно
Про Благодать и Божий дар...
А впереди зияла бездна
Всепожирающих тартар.

Но шли они без содроганья
Туда, где Божий Сын лежал.
И мостик детского дыханья
Их всех над бездной удержал.

Иосиф

Был звёздный час.
Был час прощальный.
Горела вещая звезда.
Иосиф, старый и печальный,
Был ростом меньше, чем всегда.

Он и робел, и запинался,
Не зная толком, что сказать.
Он так устал и так боялся
Марию к Богу ревновать.

Она, любимая, светилась,
Как дети светятся во сне,
И ниже уха жилка билась,
Живая жилка, как у всех.

То головой она качала,
То тихо плакала во мгле...
Иосиф видел в ней начало
Всего, что будет на земле.

И звёздный час был час прощальный.
Младенцу было меньше дня.
Но кто же выдохнул печально:
— Пошто оставил ты меня?

Никто тот голос не услышал.
Вздохнул Иосиф: «Ничего...» —
И встал с колен, и тихо вышел,
Как будто не было его.

Предтеча

В небе облако качалось.
Пёс обиженный скулил.
Снег кружился.
Власть кончалась.

Ирод голову клонил.
Он шептал: «Ещё не вечер...» —
И понять не мог никак,
Что вся жизнь теперь — предтеча.
Деньги — мусор. Власть — пустяк.

Ирод мёрз, не мог согреться,
Меч хватал. Шептал: «Пора!»
В Вифлееме все младенцы
Поседели до утра.

Кровь детей. Резня и сеча.
Тихий ропот, пересуд...
Так закончилась предтеча,
Начинался Страшный Суд.

На смерть владыки Иоанна

1.

Скоро весь я в безмолвие кану.
Самый страшный кончается год.
Не успел я прийти к Иоанну
И рубашку рвануть — наиспод.

Привыкая к дурному жаргону,
Я дурацкие песни пою
И в ночи пропиваю икону,
Именную икону свою.

Ни мечты не осталось, ни дела.
За окном полутьма, полусвет...
И слиняла земля, оскудела,
Как душа перестроечных лет.

Пенной брагой вчера мы бродили,
Непомерную память трясли.
Словно пьяными в баню сходили
И по снегу домой приползли.

Вечно было то поздно, то рано,
Всё мешали снега и дожди...
Вот и всё. Больше нет Иоанна,
Ничего больше нет впереди.

2.

И странно, Господи, и больно,
И Ты, поди, не знаешь сам —
Зачем так тихо и спокойно
Восходит он по облакам.

И как нам жить без Иоанна:
Осанну петь его врагу?
В лохмотьях грязного тумана
Скулить юродивым в снегу?

Я знака жду. Я небу внемлю,
Когда меж звёзд и облаков
Пылинки падают на землю
С его разбитых башмаков.

Восходит он от боли к боли.
Но разве легче от того,
Что там, на небе, он отмолит
Всех, ненавидящих его?

Как совладать с тоской-кручиной,
Когда народом правит страх,
А за упавшею песчинкой
Почти не виден Патриарх?

3.

Рвалась душа. И сердце билось.
Надежды таяли во мгле.
Но что-то всё же изменилось
С его уходом на земле.

Всё так же царствует потреба,
Всё так же миром правит зверь.
Но глубже делается небо
От слёз смиренья и потерь.

Россия дремлет, вымирает,
Бредёт куда-то наугад...
А небо, небо оживает,
Как тыщи лет тому назад!

4.

Из греха, суеты и обмана,
По сыпучим пескам и по льду,
Я пойду по следам Иоанна,
Одинокий и страшный пойду.

Мало веры сегодня и хлеба,
Только близится время поста,
И живое, огромное небо
Не позволит сойти со креста.

Чернолесье моё, краснолесье,
Впереди — темнота и туман...
Но отвёл заблуждение бесье
От заблудшей души Иоанн.

И лицом утопая в полыни,
Принимая душой благодать,
Я страшиться не буду отныне,
Что до смерти рукою подать.

Не бывает ни поздно, ни рано,
Чтоб травинкой сквозь мир прорасти
И идти по следам Иоанна,
До скончания мира идти.

Чёрный Егорий

Как пророки, стрекочут сороки —
Будто сроки твой истекли.
Неужели и вправду истоки,
Все истоки твой заросли?

Неужели волшебная печка
Остывает в избе навсегда
И чудесная Чурова речка
По деревне течёт в никуда?

Неужели все песни пропеты,
Неужели, несчастье твое,
В самом деле твои пересветы
Превратились в твоё вороньё?

Неужели родные селенья,
Золотые твои колоски
Пропадут в паутине смиренья,
Очерствеют в чулане тоски?

Только — чу! Из-за грёз плоскогорий,
Из-за чуровых чудных берёз
Скачет чёрный, как туча, Егорий —
Через реки и омуты слёз.

Так молчите, чумные сороки,
Захлебнитесь в змеиной крови!
И опять превратятся в истоки
Все пропащие устья твои!

* * *

Когда золотая, как осень, корова
Незыблемым свеем пройдёт в небесах,
Я вспомню заветное русское слово,
Рождённое где-то в молельных лесах.

В забытые дали метнётся дорога,
С дубов-колдунов улетит вороньё.
И небо наполнит сияньем Сварога
Пропащую душу и сердце моё.

И где-то вдали, за чертою разброда,
За ветреной гранью вороньего дня
В купели старинного русского рода
От нынешней грязи отмоют меня.

На солнечном донышке царства лесного
Кудесники будут, как пчёлы, жужжать...
И отпрыском духа, рождённого снова,
Я буду под сенью сосновой лежать.

И целую вечность под звон звездопада
Покачивать станут мою колыбель
На вечные веки забытая Лада
И стёртый из памяти солнечный Лель.

И тихие песни, подобные чуду,
Приблизят ко мне небывалый рассвет...
Неужто я снова проснусь и забуду
И род свой, и племя на тысячу лет?..

Квадрат тумана

1.

И вот я вновь в краю дурмана,
Где мёд течёт по вечерам,
Где по ночам квадрат тумана,
Как мамонт, ходит по горам.

Я жизнь откладывал на завтра
Я видел всю её — в гробу…
Но тьма вошла, как Каларатра,
В мою раскрытую избу.

Блеснув звездой на дне стакана,
Она спросила: «Знаешь сам,
Что по ночам квадрат тумана,
Как мамонт, ходит по горам?»

«Прости, — сказал я, — Каларатра,
Я в этом мире одинок,
Но босоногая Астарта
Плетёт мне свадебный венок!»

Она вздохнула: «Рано, рано
Судьбу распарывать по швам.
Твой путь лежит в квадрат тумана,
Который ходит по горам».

«Уйди, — сказал я, — Каларатра».
Она вздохнула тяжело:
«Ты жизнь откладывал на завтра,
Оно сейчас к тебе пришло!»

И разошлась стена, как рана,
Упал в траву замок дверной.
Я вышел в ночь. Квадрат тумана
Стоял, как мамонт, надо мной.

«Иди!» — сказала Каларатра.
Я молча выбросил ключи.
И босоногая Астарта
Печально вскрикнула в ночи.

2.

Я вошёл. И сомкнулись прозрачные дверцы.
Я вошёл и увидел бездонную даль.
Под берёзой родник волновался, как сердце,
Журавли пролетали, глотая печаль.

Журавлям отвечала цикада-свистёлка,
Шли бизоны и страусы на водопой.
И к ногам моим зябким бегущая Волга
Намывала негромко песок золотой.

Невесомо бежали мурашки по коже,
Сок берёзы стекал, словно воск со свечи.
Я увидел, что мать моя очень похожа
На Астарту, кричащую где-то в ночи.

Улыбался подсолнух, и бабушка Ванга
Улыбалась слезами, как дождь-росинец.
И у места слияния Волги и Ганга
Для меня возводили хрустальный дворец.

На ветвях наливались янтарные фиги,
Мельхиоровый аист гулял по волнам.
И стояли на полке те самые книги,
Что когда-то я буду писать по ночам.

Я увидел пустыни и даль океана,
Поклонился земным и небесным богам
И очнулся, и вскрикнул в квадрате тумана,
Уходящего в ночь по холодным горам.

Засмеялась опять надо мной Каларатра,
Уронила с ноги золотой башмачок.
И упал я в цветы, из которых Астатра
Мне недавно сплела обручальный венок.

* * *

Ходит над Волгою розовый слон,
Будда сидит у забытого стога.
Что это? Что это? Жизнь или сон
В тёмном пространстве уснувшего Бога?

Но если в нём эта птица летит,
Плещется море и светится солнце,
Пусть бедолага подольше поспит,
Кто его знает — каким он проснётся…

* * *

Я — Артур, царь небесных сот,
Мой мир стоит на капле веры.
Но чёрно-красный крест несёт
Рука прекрасной Гриниверы.

В кругу интриг, измен, вестей
Я — бог и царь, гроша не стою.
И мир невидимых сетей
Восторжествует надо мною.

Во сне Моргана закричит,
Мой сын вздохнёт в её утробе,
Но Мерлин всё же промолчит
О ядовитом чернотропе.

Я выпью яд чужих утех,
Шагну во тьму из Камелота
И за спиной услышу смех
Моей жены и Ланселота.

Принцесса

Дворцы ли светят за порошею,
Манит ли омут золотой,
Забудь Принцессу на горошине,
Она не станет жить с тобой.

Твой щит и меч изъела ржавчина,
В твоей кольчуге вьётся дым.
А эта девочка налачена
И пахнет чем-то неземным.

Твой конь скакал в огне и роздыми,
Ты был опорою царей.
Но это облачко на простыни
Не любит запаха коней.

Она дитя ночного шороха,
Ей не нужны твои узлы.
Она сгорит быстрее пороха
И станет горсткою золы.

И проклянёт тебя, хорошего,
Возненавидит всё твоё…
И станет жизнь твоя горошиной
Под лунной попкою её.

Сольвейг

Тьма последнего приюта.
Жизнь летящая — пустяк.
Есть Пьеро, но нет Пер Гюнта,
Восемнадцать лет спустя.

Между сосен, между ёлок
Верность правит торжество.
Любит он её, но Сольвейг
Не желает знать его.

Снова слышатся ей звуки
Возле окон, у крыльца…
Но для эдакой разлуки
И у Бога нет конца.

Без разгадки и развязки
Снег кружится за окном…
Это Ибсен пишет сказки
Мельхиоровым пером.

Он мороз рисует люто,
За морозом — снегопад…
И пропащему Пер Гюнту
Не даёт пути назад.

Спят олени и салазки
От луны и до луны…
Это Ибсен пишет сказки,
Затаившись от жены.

Он тетрадь кладёт на столик
И опять под Рождество
Представляет, словно Сольвейг
Дожидается его.

* * *

Надоели уже философские бредни,
Задохнулись в пыли и Вольтер, и Чоран.
А не выпить ли нам мельхиоровый бренди
Или водки, метущейся, словно буран?

Не пора ли нам пить за надежду и веру,
Ведь в твоих уходящих на север руках
Сам в себе задыхается трепетный вермут,
Вспоминая цветы на валлийских лугах.

Мы постелим на пол золотые циновки,
Занавесим окошки и выдох, и вдох…
Наступает пора позабытой перцовки,
Золотой и колючей, как чертополох!

Что нам стоит дожить до креплёных объятий,
Полусладких надежд, до свечи на столе?
Наливай же в стакан незнакомое кьянти!
За тебя! За меня! За любовь на сто лет!

Наливай! Наливай!
Ты качаешь головкой,
Разбиваешь бутылки — одну за другой
И уходишь навеки — той самой походкой,
От которой поэты уходят в запой.

Сон в мёртвой деревне

Разомкнётся мой круг. И опять беспощадные пальцы
Веки Вию подымут. Он выдохнет: «Вижу его!»
И почувствую я, что с земли мне уже не подняться,
И увижу всю Русь, где уже моего — ничего...

Ничего? Это бред! Это бред, что приподняты веки!
Я подумаю так. Но за несколько жутких минут
Пожелтеют леса. Вспять рванут почерневшие реки,
И до пояса в землю забитые избы уйдут.

И подумаю я: «Не страшусь, что приспела могила!
Но, родная земля, за какие-такие грехи
Душит так же, как раньше, в полях нас нечистая сила,
Но уже не поют так, как раньше, твои петухи?»

И проснусь на лугу, где заря лебеду оросила,
Где под каждой берёзой ключи ледяные журчат...
Ну и сон увидал! Но всё ближе нечистая сила...
О, родная земля, отчего петухи не кричат?

* * *

Представь — огонь, потом озноб
И тьму представь, и тишь,
И то, как гвоздь вбивают в гроб,
В котором ты лежишь.

Куда ты, Господи, постой,
Спасенья нет во мгле!
Представь, что это всё с тобой —
Случится на Земле…

* * *

Осень. Долина Чурова.
Дремлет в потёмках Русь.
Я на осла каурого,
Словно на трон, сажусь.

Любо мне царскими кущами,
Через туман и гать
Ехать спиной к грядущему
И на него плевать.

* * *

Я думал — чудится и снится…
Но снова звякнули ключи,
Открылась дверь, и половица
Три раза скрипнула в ночи.
Мурлыкал кот, спала собака,
Христос светился на стене…
Но кто-то шёл ко мне из мрака,
Всё ближе двигался ко мне.
Был незнакомец очевиден,
Как трепет листьев под луной…
Я в темноте его не видел,
Но он стоял передо мной.
Стоял над жертвою вечерней —
Высокий, пыльный, как гонец…
И голос был: «Твоим мученьям
Я положить пришёл конец!
Поэт! Ты прячешься от боли,
Твоим сомненьям нет числа…
Но знал бы ты покой и волю,
Когда бы не изведал зла?
Тебя сомнение съедает
И злит неведомая власть…

Но только зло людей скрепляет
И не даёт навек пропасть.
Пусть будет всё — цветы и плаха,
Герасим, барыня, Муму…
Без содрогания и страха
Никто не нужен никому!
Да что останется от песен,
Куда девать Девятый вал,
И чтобы значил ты, Телесин,
Над чем бы слёзы проливал?

Живи, поэт, как перст и кукиш,
Вбирай в себя святую ложь.
Пока ты падаешь — ты любишь,
Пока куражишься — живёшь!
Держись, поэт! Не думай спиться,
Побольше думай и молчи!»
И снова те же половицы
Три раза скрипнули в ночи.
С тех пор я жалости не знаю
И, отводя в сторонку честь,
Святое зло благословляю,
И сам не знаю — кто я есть.

Рана

Евгению Чепурных

Вышел месяц из тумана,
Словно горе из ума.
На столе тетрадь, как рана,
Открывается сама.

Что за ягоды-цветочки,
Что за призрачная вязь?
Отчего в последней строчке
Кровь твоя не запеклась?

* * *

Наследство делят. Всюду давка.
Там — нефть и газ, и антрацит…
Русь умерла. И только травка
Растёт среди могильных плит.

В крови последнего заката,
Где вечность стынет на краю,
Куда теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?

Перечеркнули память хером,
Победный выбросили флаг.
Как было просто в 41-м
Идти и знать, что это — враг.

Как было просто — или-или!
Иди, стреляй, без лишних слов…
А здесь свои своих купили
И превратили их в рабов.

Всё это с помпой, с фейерверком,
Во тьме, ликующей, как чёрт…
Русь умерла. Осталась церковь,
Но и она теперь умрёт.

* * *

Стоять, стоять на утреннем морозе,
Когда уходит вера насовсем,
Стоять, как сок в поваленной берёзе,
Не зная, кто теперь ты и зачем.

Как в словаре забытом — аз и буки,
Как города и церкви на крови,
Стоять в кругу невидимой разлуки,
Неразличимой веры и любви.

Терять себя. Грозить кому-то пальцем,
Зажечь в саду последний свой костёр,
Смеяться, петь и прыгать святотатцем,
Чтоб ничего не понял режиссёр.

Убить ветра, надежды, мусикии,
Завить петлёй верёвочку строки,
Учиться жить без Бога, без России,
Витиям и пророкам вопреки.

Стоять, когда бессмертия не надо,
Когда сожжён последний мой редут,
Когда мой дед в окопах Сталинграда
Ещё не знает, как нас предадут.

Стоять и знать, что врали теософы
И патриарх, и призрачный покров…
Стоять и ждать вселенской катастрофы
Среди других созвездий и миров.

Стоять в снегу, безумие не мерить,
Топтать ногами звёзды и ветра,
Нажать курок, чтоб только не поверить,
Что завтра будет лучше, чем вчера.

Почему

Почему болят в ночи
Переломанные кости?
Почему дрова в печи
Развалились, словно гости?

Почему душа ушла
В измерение другое?
Почему рука тепла,
Если сердце ледяное?

Зарубки Заболоцкого

1. Могила поэта

В потёмках, за рекой, где чудь отговорила,
Где сжата бесконечность, как бездна кулака,
Смеются пастухи: «Пуста его могила!»
И гонят к водопою ночные облака.

По травам, по земле столетье просквозило,
И буквы возникают на старенькой плите:
«Прохожий, не грусти! Пуста моя могила!
Я в ней не уместился, как речка в решете!»

2. В тумане

Проснуться — в розовом, зелёном,
Опять до утренней звезды
Искать в просторе затаённом
Свои приметы и следы.

Брести по снегу, без дороги
На свет сгоревших снегирей.
Проснуться в холоде берлоги,
Где нет ни окон, ни дверей.

По леденящему безбрежью
Пургой разгуливаться всласть.
В тоску дремучую медвежью
Янтарным жёлудем упасть.

Кричать и делаться стихами,
Ручьями, листьями, травой,
Ходить по небу вверх ногами,
Касаясь сосен головой.

Во тьму, в туманы, за болотца,
Идти туда слепым дождём.
Где Клюев спит, а Заболоцкий
Сидит, как бабочка, на нём.

3. В той стране

В той стране я любил, волновался и пел,
И на бой выходил без кольчуги.
Но никто в той стране никогда не хотел
Ничего узнавать друг о друге.

В той стране я узнал бесконечный удел,
Меня грели подруги и вьюги.
Но никто в той стране никогда не хотел
Ничего узнавать друг о друге.

В той стране я конём и страстями владел
И водил океанские струги.
Но никто в той стране никогда не хотел
Ничего узнавать друг о друге.

В той стране я стрелой через вечность летел
И не знал, что такое недуги.
Но никто в той стране никогда не хотел
Ничего узнавать друг о друге.

Та страна, по высокому небу скользя,
Возвратилась на звёздные круги...
Нам осталась лишь заповедь эта: «Нельзя
Ничего узнавать друг о друге!»

4. Рождество

В памяти воет волчица,
В сердце рождается мрак.
Голод в окошко стучится,
Буря ломает барак.
Пахнет полынью, солодкой.
Люди, таясь в уголке,
Варят собаку с бородкой
В чёрном, как ночь, котелке.

Зона вселенского мрака,
Годы и сны в западне.
Каторжник, съевший собаку,
Лает и лает во сне.
Топчутся судьбы в загоне,
Тьмы наглотавшись сполна.
Рыщет прожектор по зоне,
Словно цепная луна.
Падают звёзды пунктиром,
И у подножья креста
Чёрным горячим чифиром
Поит Иуда Христа.

5. Час не ровен

Что каждое сердце
предчувствует час,
Когда оно канет на дно...

Замолчат в сарае гуси,
В темноту уйдет луна.
Снова овцы по Тарусе
Поплывут, как облака.
В конуре уснёт собачка
И прохожая луна,
Как молоденькая прачка,
Притаится у окна.
И, головкою качая,
Станет искоса смотреть,
Как поэт над чашкой чая
Ожидает в гости смерть.
Обрывается тропинка,
Не жужжит веретено.
Жизнь, как чёрная чаинка,
Опускается на дно.
Сон из печки выползает,
Но поэт не верит сну:
Он окошко раскрывает
И зовёт к себе луну.
Снова чайник закипает,
Снова радостно ему.

На земле никто не знает —
Отчего и почему.
От тоски ли, от любови,
От раскрытого ль окна,
Где и час любой не ровен
И любое дно без дна.

6. Небо

Скучно скитаться по датам,
Позднюю славу блюсти…
Есть куда тучам податься,
Некуда небу пойти.

Лошадь по улице скачет,
Девочка машет рукой.
Но не смеётся, не плачет
Домик над чёрной Окой.

Скоро запечье остынет,
Тени в ночи загалдят,
Пол превратится в пустыню,
Стены листвой зашумят.

Выйдет луна из тумана,
Даль на пороге зевнёт.
Спросит прохожая дама:
— Кто в этом доме живёт?

Скажет соседка в халате:
— Глупая птица! Лети!
Небо лежит на кровати,
Некуда небу пойти!

7. Скворец

И тонкий свет исчезнувшей земли
Отталкивал рукой неторопливой…

Сквозь Млечный Путь несутся журавли.
Везде простор — ужасный и бездонный.
И тонкий свет исчезнувшей земли
Идёт по небу, словно беспризорный.

Всю жизнь! всю жизнь! — мерцают в темноте
Огромные невидимые сети.
И сотни лет на призрачном кресте
Смеётся смерть под маскою бессмертья.

Но в роковом преддверии конца,
В немыслимой тоске и круговерти
Он становился горлышком скворца
И песни пел для вечности и смерти.

Теперь во мне тоска и круговерть,
Но я хочу на родине тоскливой
Гулять в саду, надеяться и смерть
Отталкивать рукой неторопливой.

8. Ожидание

Я слышу голос твой печальный,
Я слышу чаек грустный крик.
В тумане тает день прощальный,
Как пароход на материк.

Какая грусть! Какая проседь
В листве развенчанных берёз...
Как ты могла всё это бросить
На грязь, на дождик, на мороз?

Как ты могла? И замираю,
Подняв повыше воротник...
Я пошутил. Я тоже знаю,
Как убегать на материк.

Плыви же, милое созданье,
Плыви меж небом и водой!
По всем законам мирозданья
Мы снова встретимся с тобой.

Ещё чуть-чуть... И станет солнце
Черней, чем беглый пароход...
Мне только верить остаётся...
Ещё полгода... Или год...

9. Ого!

Неизвестно, во имя чего…

Это будет — опять и опять…
Но с ночною тоской конокрада
Я уже не пытаюсь понять
То, о чём даже думать не надо.

Выхожу на крылечко — ого!
Застываю над пропастью — боже!
Хорошо на земле — до того,
Что мурашки гуляют по коже!

В колоннадах осенних просек
Провожаю гусиную стаю.
Я не знаю, зачем этот снег,
И зачем эти реки — не знаю.

Разливайся, земное родство,
Распадайся, тоска листопада!
И неважно, во имя чего,
И неважно, кому это надо!

* * *

Светились осколки хрустального гнева.
Среди золотых облаков
Печально стояла моя королева,
Любимица мёртвых богов.

И, лёд разбивая — холодный и хрусткий, —
Я падал в бессилии лбом…
Чужое наречие, говор нерусский
Крепчали за нашим окном.

Она задыхалась от злости. И гневно
Кричала со дня бытия:
— Я — дочка Сварога! Я — Марья Моревна!
Почто ты не любишь меня?

Я ей отвечал сиротливо и строго:
— Прости, королева, прости,
От мира отрезана наша дорога,
Нам некуда больше идти!

Она улыбалась. Кусочки инжира
Кусала в ночи голубой…
— Давай для погибели этого мира
Детей нарожаем с тобой!

Я ей отвечал сиротливо и строго:
— Прости, королева, прости…
От неба отрезана наша дорога,
Им некуда будет пойти!

Она поднималась — волна за волною
И с небом была наравне.
— Ты будешь сегодня и завтра со мною,
И жизнь свою кончишь во мне!

— Ты видишь? Я всюду. И справа, и слева
Иду, неизбежность крепя…
Я мог бы в тебе умереть, королева,
Но я прохожу сквозь тебя!

И шепчет она сиротливо и строго,
Когда я сажусь на коня:
— Я — Марья Моревна! Я — дочка Сварога!
Почто ты не видишь меня?

Ассоль

Океан за кормою болтался,
Над водою летел альбатрос…
Всё бы ладно… Матрос проболтался,
Проболтался проклятый матрос.

Помутилось кольцо из агата,
Проступила на платьице соль...
И всё чаще в объятьях заката
Что-то грустное пела Ассоль.

В золотых предсказаниях рея,
Она снова подолгу спала,
И улыбка счастливого Грея
Изменить ничего не могла.

Снова брызги цветного тумана,
Облака, миражи, голоса…
— Капитан! Капитан! От обмана
Покраснели твои паруса!

Рассыпался по морю багрянец,
Новый мир выходил из огня.
— Капитан! Вы — простой самозванец!
Вы напрасно украли меня!

Прокричала и губки поджала,
Окунулась в знакомый туман…
А потом она в роще лежала
И смотрела в пустой океан.

Океан напевал и качался,
Над волнами летел альбатрос…
Всё бы ладно… Матрос проболтался,
Проболтался проклятый матрос.

Эвридика

Село протянулось от стона до крика.
И там, где я душу терзаю свою,
Всё моет и моет полы Эвридика,
Всё доит и доит корову свою.

Забыты легенды, оплёваны сказки,
Столетья, как люди, идут наугад.
Прости, Эвридика, за чёрные краски:
Орфей за тобою не спустится в ад!

Ланселот

Опять, в любви сгорая,
Среди мирских болот
На поиски Грааля
Поскачет Ланселот.

Без робости и гнева
Исчезнет он в ночи.
И скажет королева:
— Скачи, герой, скачи!

Размыв цветной гуаши,
Воздетый к небу меч…
Он ныне скачет дальше
Былых надежд и сеч.

По лугу, по краалю,
То в росах, то в крови
К небесному Граалю,
К невиданной любви.

Душа его без фальши,
А воля — ого-го!
Он скачет — дальше, дальше,
Всё дальше от него.

Туда, где зреет сева,
Где спрятаны ключи…
И шепчет королева:
— Скачи, дурак, скачи!

Исида

Старый домик похож на зимовье,
На пощёчину жалким ролям…
Но Исида сидит в изголовье
И сшивает меня по частям.

После тьмы, после долгой разлуки
На Земле, где рассыпался Сет,
Я целую забытые руки
И глотаю утраченный свет.

Надо мною и звёзды, и слёзы,
На столе — две свечи и букварь.
Я впервые гляжу на берёзы,
На пристывший к окошку январь.

В первый раз я спускаюсь с порога
И у брёвен, у стареньких слег
Осторожными пальцами Бога
Ощущаю нетающий снег.

Где-то бьют барабаны ненастья,
Где-то скрипки плутают во мгле…
Кто придумал, что глупого счастья
Не бывает на этой Земле?

— Всё бывает, — прошепчет Исида, —
Здесь заштопаем, здесь подотрём…
Пусть весь мир умирает от СПИДа,
Мы с тобой никогда не умрём…

И опять возвращаются звуки,
И опять, где спасения нет,
Я целую забытые руки
И глотаю неведомый свет…

Гринивера

Родной! Идущий по песку,
Подвластный времени и гневу,
По золотому волоску
Ты не отыщешь королеву.

Я отведу от нас тоску
И поскачу сквозь снег и лето —
По золотому волоску,
На край утраченного света.

Ты скачешь, памятью пыля,
Туда, где всходит наше солнце…
А если кончится земля,
Дорога в пропасть оборвётся?

О, нет! Под тенью журавля
И под зелёною звездою —
Скорее кончится земля,
Чем путь, назначенный судьбою!

В моём окне погас восток
И журавли лететь боятся…
А если всё — король и бог —
Нас уничтожить сговорятся?

Я стану сталью и огнём.
А если кончится дорога,
Я стану драться с королём
И перестану верить в бога!

А вдруг не вырваться из пут,
Друзья на помощь не успеют?
И нас с тобою проклянут,
И никогда не пожалеют?

Но и тогда — в аду, в бою,
За чёрным лесом, за отрогом
Весь мир за родинку твою
Отдам я с гибельным восторгом!

И снова — ночью, по песку
Я поскачу с тоской поэта,
По золотому волоску
На край утраченного света!

Любить

Любить её. О ней ни слова
Не говорить. Воды не лить.
Любить нелепо, бестолково,
Писать стихи. Не есть, не пить.
Глотать мороз. Рубить поленья,
Скупать шелка на паруса.
Поставить землю на колени,
Склонить пред нею небеса.

Любить, как лезвием по нерву,
Как по сопернику — мечом.
Любить в ней ангела и стерву,
Не понимая, что почём.
Любить в дожде и снегопаде,
В репьях, злословии, долгах,
Как в затонувшем Китеж-граде,
Как на «Титанике» во льдах.

Любить в былом и настоящем
И с губ сорвать, хоть колесуй,
Во тьме, над Родиной горящей,
Её последний поцелуй.
Забыть измену и обиду,
Сиянье трона во дворце,
Любить Марию и Исиду
В её нетающем лице.

Любить под небом и под богом,
Под ивой и под черемшой,
Любить меж банею и моргом,
В Ковше Медведицы Большой.

Любить её в огне утопий,
В аду, в ночи на Рождество,
Любить в раю, любить в утробе,
Под крышкой гроба своего.

Любить. В тумане краснотала
Ломать всю ночь серёжки верб
И понимать, что жизни мало,
Уже идущей на ущерб,
Чтобы любить её, токуя
В ночи, без проблеска огня…
Любить её. Одну. Такую,
Уже забывшую меня.

Любить на море и на суше.
Терпеть. На бога не пенять.
Отдать ей сердце, песни, душу
И ничего взамен не взять.
Любить её в волнах потопа,
В опочивальнях всех царей…
Безумно, зло — любить до гроба,
Потом любить — ещё сильней.

Тристан и Изольда

Наполняется сердце туманом,
Закипает безумная кровь,
Потому что в вине окаянном
Перемешаны смерть и любовь.

Было жарко на палубе, ой да!
Только песня моя не о том…
Пьёт вино золотое Изольда —
Молодое, как утренний гром!

И, лицо запрокинув на рею,
Опускаясь ногами на дно,
Пьёт Тристан недопитое ею —
Золотое, как улей, вино!

Но служанка пробудится, ой да!
Разобьёт опустевший стакан!
Что же ты натворила, Изольда?
Что наделал ты, глупый Тристан?

Я везла не вино, а заразу,
Что живёт и ликует в крови…
Вы увидите небо в алмазах,
Но умрёте от этой любви!

Вот и вся моя песенка, ой да!
А за песенкой зреет туман…
Что же ты натворила, Изольда,
Что наделал ты, глупый Тристан?

Марья Моревна

Надоели земные мытарства,
И дрожит твоя речь, как вода:
— Если есть тридевятое царство,
Забери меня, милый, туда!

Согревая озябшую руку,
Я тебе отвечаю: «О, да!
Я поймал говорящую щуку,
Она знает дорогу туда!

Я опять за погибшей деревней
На последнем сгоревшем мосту
Назову тебя Марьей Моревной
И туман в твои косы вплету».

— Забери меня, милый! Здесь щели,
Я не сплю от мышиной возни…
Мы иголку подарим Кощею,
Ты побольше иголок возьми…

И меня забери, Бога ради… —
Говоришь ты и мёрзнешь опять…
И бросаю я в печку тетради,
За тетрадью другую тетрадь.

И в ладонь твою сыплю лекарство,
Золотое, как солнце, драже…
Вот оно — тридевятое царство!
Мы его отыскали уже…

Откуда?

Я вспоминаю, словно сон,
Как шелест лунного сафьяна,
Тот голос низкий, как поклон,
И тело — полное обмана.

Я вспоминаю все круги,
Всё то же лыко и мочало…
Но за спиной опять ни зги,
И нет конца, и нет начала.

Откуда ты? Я не могу
Припомнить, где мы повстречались?
Как две тропинки на снегу,
Пересеклись и разбежались.

Да кто же ты, чтобы вот так
Бежать ко мне через остуду,
Лететь по дому, как сквозняк,
Роняя стулья и посуду?

Зачем ты смотришь на меня
Глазами тающего снега
И под уздцы ведёшь коня
С дыханьем вечного побега?

Зачем? Откуда ты взялась,
Пройдя забвенье роковое?
Какая призрачная связь
Нам не даёт с тобой покоя?

На том и этом берегу,
Подобно ветру и туману,
Я жить с тобою не могу,
И без тебя я жить не стану.

Откуда? Кто ты? Испокон
Идёшь призывно и тревожно…
Но ты, наверное, тот сон,
Который вспомнить невозможно.

* * *

Только свет у зимы,
Только — чистые дали.
Словно дали взаймы
То, что раньше украли.
Мне беда не беда,
Мне и горе не горе.
Возвратилась вода
Убежавшая в море.
И мерцали впотьмах
Деревенского клуба
На бывалых губах
Небывалые губы.
А потом, не дыша,
Мы по небу летели
И светилась душа
В оживающем теле.
Это нечет и чёт
На лице несвободы.
Это полный расчёт
За прошедшие годы.

* * *

И тьма, и свет… И хата с краю…
Мерцанье вечности в груди…
Не первый раз я умираю,
Не зная, что там, впереди.

Не первый раз вот так несмело
Я разрываю с миром связь…
Не первый раз бросаю тело,
Но всё равно как в первый раз.

* * *

Люби меня — в мороз, в жару,
Люби меня — за боль, за серость,
За то, что я в тебе умру
Гораздо раньше, чем хотелось.

Люби, когда не надо тел,
Когда имён и лет не надо,
Люби, пока я не успел
Узнать, что выбрался из ада.

Люби мой гнев, мою вражду,
Мои обугленные святцы…
Ведь только я в твоём аду
Хотел бы вечно оставаться!

Подковки

Она была сплошной издёвкой.
А он светился и вздыхал,
И розы поливал перцовкой,
Когда с похмелья подыхал.

Воришка, взятый на поруки
Литейкой, превращённой в ад,
Он говорил: «Дышите, суки!
А я ни в чём не виноват!»

Он утирал украдкой слёзы,
Писал заветные стихи…
И как бы ни было, но розы
Росли быстрей, чем лопухи.

Они цвели в саду и пахли —
Гораздо злей, чем Этуаль.
А Витька жил в одной рубахе
И закалялся, словно сталь.

Он под окном своей Издёвки
Стоял — дурак из дураков,
Мечтая вновь украсть подковки
С её высоких каблуков.

Ему хотелось, как на плахе,
В каком-то смутном далеке,
На палача смотреть без страха,
Зажав подковки в кулаке.

И Витька шёл походкой вора
К уснувшим окнам вновь и вновь,
Забыв, что дочка прокурора
Не помнит первую любовь.

* * *

В час, когда светится солнышко,
Маки горят у плетня,
Только и слышу: «Михалушка!
Ты не разлюбишь меня?»

В среду, в четверг, в воскресение,
Между прокуренных стен,
Ходит по дому спасение
В платьице выше колен.

Ходит родная и светится
Тайной заоблачных сот…
Как же нам выпало встретиться
Между лесов и болот?

Там, где ликующей осени
Рухнули все миражи,
Ты своё платьице сбросила,
Словно прошедшую жизнь.

Сбросила платьице около,
Между снегов и дождей…
Девочка, женщина! Облако!
Вот моё сердце — владей!

Всё принимаю… Пожалуйста…
Всё — до последнего дня…
Только бы слышать: «Михалушка!
Ты не разлюбишь меня?»

Хорошо

Снегири мои, зяблики, вороны,
Туготравье и батюшка-лес,
Хорошо, когда каждому поровну
Достаётся земли и небес!

Хорошо мне от тихого дождика,
Хорошо, что у храмов и слег
Для святого отца и безбожника
Одинаковый сыплется снег.

Хорошо, что берёзы не бедствуют,
Не злословит речная вода,
Что душа моя с небом соседствует
И сливается с ним навсегда.

Хорошо, что с холодного пёнышка
Можно в небо смотреть без помех,
Где моё заповедное солнышко
Поднимается сразу для всех!

* * *

Нет, не напрасно сердце билось
И след стекал с карандаша.
Чем меньше тело становилось,
Тем больше делалась душа.

И вот — под шорох звездопада —
Настал неведомый черёд:
Мне ничего уже не надо,
Я чист и холоден, как лёд.

Судьба конечно же не память,
А та — безбрежная вода,
Где можно плыть и таять, таять,
Без слёз, без злости, без следа.

* * *

Загорится огонь на реке.
Я к окошку пристыну — откуда?
То ли что-то маячит в зрачке,
То ли это небесное чудо?

В самой чёрной ночи ноября,
Утонувший навеки, как Китеж,
Я напрасно смотрю на тебя,
Ты меня всё равно не увидишь.

Выйду к чёрной реке. Опущусь
На холодную лодку Харона.
Я не мёртвый, я только учусь
Умирать без прощального стона.

Сестра милосердия

Не муж, а мальчик с ясными очами,
Обмытый при рождении росой,
Какой княжне ты видишься ночами,
Какой царевне снишься под луной?

Твоя мечта, как чудное мгновенье,
Летит, сияя грудкой снегиря.
И чудный гнев, и тайное волненье
Живут в тебе, как реки и моря.

Всего-то шаг до веры и бессмертья,
Но этот шаг длиннее, чем река.
Одна она сестрою милосердья
С тобою быть решится на века.

Она верна. Но женщина земная,
Как будто кошка, смотрит за порог.
Она сбежит — раздетая, босая,
Ей ни к чему бессмертие и Бог.

А если ты надеешься на чудо
И бросишься к ногам её, любя,
Она в трясине похоти и блуда
Утопит всё, что было у тебя.

Она — вода, сбежавшая из шлюза,
Она — трава по имени волчец.
Беги, малыш! Заплаканная Муза
С тобой пойдёт сегодня под венец!

Оплачь погибших — Веру и Надежду,
Оплачь сестёр, ушедших в никуда.
Сними с себя все маски и одежду,
Живи как лес, как небо и вода.

Живи один, как облако в кадушке,
Как звук молитвы, канувшей на дне.
Иначе вновь всё те же побрякушки,
Всё те же нитки на веретене.

Всё те же перепутья и пролетья,
Обрывки сумасшествия и сна…
Пусть станет смерть сестрою милосердья,
Она всю жизнь была тебе верна.

Роман

1.

Семнадцать лет томленью нет конца!
В одну весну впадают эти годы.
В ночном кафе — прохожие сердца
Не ведают покуда непогоды.

Где жизнь? Где сон? Где истина? Где я?
Не в этом суть. Не будем дураками.
Шипенье пива слушайте, друзья!
В когтях орла змея под облаками.

2.

Цветной туман — везде и навсегда.
Какой простор повсюду безысходный!
В пивном бокале жёлтая звезда
Спешит предстать звездою путеводной.

Семнадцать лет по грёзам, по весне!
Душа сама пробоины латает.
А поцелуй, свершившийся во сне,
Летучей мышью мимо пролетает.

3.

Цветной туман. И снова сон во сне.
И девушки взлетают, словно духи.
Глазами феи станут при луне
Глаза идущей мимо потаскухи.

Луна! Луна! Куда же вы, куда?
Мадмуазель! Мне снятся ваши руки!
Я не смогу забыть вас никогда,
Я даже дня не вынесу разлуки!

4.

Любовь, любовь! Зачем же так темно,
Зачем насмешки сушатся в конверте?
Не лучше ль пить то самое вино,
Что пьют всегда влюблённые до смерти?

В ночном кафе забудется беда,
Не будет жизнь казаться безысходной.
И жалкая промокшая звезда
Не сможет стать звездою путеводной.

Церковь. 1871

Когда опять здесь стадо соберётся,
Глаза и юбки низко опустив,
Из-за кулис божественных прольётся
Из века в век заученный мотив.

Опять зажгут заплаканные свечи
И на земле забытые рабы
Начнут клонить измученные плечи,
Начнут крестить безжизненные лбы.

И так всегда: зарёванные бабы
Суют детей раскрашенным богам,
Юродивые ползают, как крабы,
Грозя каким-то призрачным рогам.

Пропахшие прокисшими супами,
Старухи, деревянные до пят,
За смрад души, изъеденной клопами,
За всё, за всё Христа благодарят.

За всё, за всё — за слёзы и увечья,
За слепоту, за пролитую кровь,
За немоту, за проруби злоречья,
За веру, утопившую любовь.

И так всегда — от века и до века.
Кромешный ад ликует неспроста.
Я не нашёл живого человека
У бледных ног распятого Христа.

Одни попы, качая животами,
Плывут в дыму придуманного дня.
Дорога в ад — усыпана цветами,
Растущими из вечного вранья.

Вблизи от храма птицы не летают,
Не пьют жуки студёную росу.
Здесь даже с клёнов листья опадают
На две недели раньше, чем в лесу.

Забывшие

Они прижились у подножия правил,
Они научились подолгу молчать.
Круги под глазами, как будто поставил
На каждую морду антихрист печать.

Как ртуть, тяжелы ядовитые чресла,
Глаза — как гнилушки в могильной черни.
Их кожа становится кожею кресла,
Но кожу меняют, как змеи, они.

Они, как грибы на жаре, пропадают,
Зелёная плесень им красит виски.
Когда они дышат — цветы опадают
И жабы кричат от безумной тоски.

Они управляют делами мирскими,
Они не выносят ветров и невежд.
Тяжёлые папки лежат перед ними,
Как будто гробы для убитых надежд.

Смердящие млеют в объятиях лени,
Улитки, как слёзы, ползут по щекам.
Болотною ряской покрыты колени,
Лишайник ползёт по холодным рукам.

Но, если придётся им встать над собою,
Когда вы случайно войдёте в их сон,
Они станут яростью, пулей, метлою
И подлостью низкою, словно поклон.

Бегите, бегите скорее, бедняжки,
Забывших о жизни живые не злят.
А то их медали, погоны и пряжки
Любого заблудшего испепелят.

Блеснёт в темноте золотая коронка,
Слепого презрения хлынет поток,
И вас поглотит вихревая воронка,
И сделает пеплом невидимый ток.

Потом, как огромные чёрные птицы,
Опустятся снова они на места.
Но будут их мёртвые губы кривиться,
Как губы упавшего с неба Христа.

А позже, оттаяв уже, на закате,
За вечным безмолвьем высоких столов
Приснится им рай и резные кровати,
И кресла из меха седых облаков.

Приснятся им девочки в солнечном небе,
И руки, и губы, кричащие: «Да!» —
Но член, как засохший соломенный стебель,
Не встанет над ними уже никогда...

Чужие стихи

Будто бы хлынула ночь из ковша!
Будто звезда под водой зашипела!
Счастья такого не знала душа,
Боли такой многовато для тела.

Что за мгновения? Что за грехи?
Чьё это пламя во мне полыхает?
Падают с неба чужие стихи,
Прямо к столу океан подступает.

Беглые строки ложатся в тетрадь,
Мысли и страсти — из прошлого века!
Значит, и там продолжает страдать
То, что останется от человека?

Чей это промысел, что за слова?
Что за сокровища Тутанхамона?
Сладок, пленителен миг воровства
Целой Вселенной и тихого Дона!

Голос с небес отвечает: «О, да!
Нет для поэта людского суда!»

Вечерняя молитва

Мой ангел чуть живой под бритвой брадобрея,
Мой бес сидит в пивной, ругая небеса.
Но ветер молодой, как родственник Борея,
Разбил в пивной все окна и поднял паруса.

Я встал, когда всё спят, и вышел на дорогу,
Я пыль стряхнул с души крапивою лесной.
И звук моих шагов смешал все карты Богу,
И осень обернулась растерянной весной.

Раскрылся гнев небес, ощерилась досада,
Ударил где-то гром, и вздрогнули леса.
Я брюки расстегнул и в двух шагах от ада
С огромным облегченьем пописал в небеса.

Ощущение

Быть может, быть может, один только вечер…
Быть может, сейчас упадут небеса…
О, к чёрту все изыски, к чёрту все речи!
Пусть солнце погаснет, но светит роса.

Дрожащие губы! Ни слова, ни звука!
Быть может, один я живой на земле…
О Господи боже! Какая же сука
Придумала это в космической мгле?

Алмея

Под юбкою ветер! О, ты ли, Алмея,
Летишь над землёй, умирать не умея?
Куда ты? Куда ты, моё божество?
Там город, там люди… Там нет ничего!

А здесь — посмотри — никакого диктата,
И солнце погасло, как глаз у пирата.
Алмея, вернись. От неслыханной боли
Мы сможем сыграть небывалые роли!

Брюссель

Уснули клумбы и бульвары.
Вернулись зяблики в гнездо.
В пески измученной Сахары
Пролился дождик из Бордо.

Сидеть бы, петь на этой ветке,
Качать пушистой головой…
Но я сижу в огромной клетке,
Закрытый собственной вдовой.

Мне недоступны ливни света,
Дрожит решётка на окне.
И где-то юная Джульетта
Напрасно плачет обо мне.

Прости, Джульетта-Генриетта,
Размах невидимых сетей.
Смешная песенка пропета
Во славу розовых чертей.

Мне снится зелень полустанка,
Гитара, канувшая в ночь,
И белокурая ирландка,
Что не хотела мне помочь.

Мне снится замок и застолье,
Где в каждом блюде спрятан яд.
Я умер там, но в этой боли
Наследный принц не виноват.

Бульвар, объятия, измена,
Сиянье обуви и пыль.
Везде одна и та же сцена,
Всё тот же чёртов водевиль.

Добрые мысли поутру

Тихо машут вдали веера,
Где-то прыгает горстка монет.
Поднимается новый рассвет
Из того, что не сбылось вчера.

Строго следуя нраву игры,
Облака нам дожди подтасуют.
В небо кисти макнут маляры
И меня на земле нарисуют.

Нарисуют дорогу, тюрьму
И дома с удивлёнными ртами,
А ещё — непроглядную тьму
Маляры нарисуют над нами.

Усмехнётся Венера, вздохнёт
Над смешной бутафорией мира,
И опять на столетья уснёт
Чудный зов золотого эфира.

Загниют корешки и вершки,
Завизжат сумасшедшие пилы.
Будут водочку пить пастушки
И на звёзды смотреть из могилы.

Мишель и Кристина

I

Послать бы всё к чёрту. И море, и сушу,
Зелёных и синих, таких и сяких!
Зачем освещать мне пропащие души,
Когда даже солнце не светит для них.
Ягнята в цветах — колдовство пасторали,
В шампанском грозы захлебнулись луга!
Разгар маскарада! Шуты, не пора ли
Под венчиком бога увидеть рога?
Летят в урагане цветы и солома,
Собака, ворона, речные рачки.
Смеётся пастух. Но, как черти от грома,
Дрожат и кричат под бровями зрачки.
О, Господи боже! При чём здесь солома
И грязных небес бутафорская честь,
Когда от Солонской земли до Солона
Я вижу, что было, что будет и есть!

О, волчья печаль! Непролитое семя!
Гниют под ногами молитвы-вьюнки.
Уходит Европа, уходит, как время,
Склоняют знамёна над нею полки.
Хохочет луна, как безумная лопасть,
И красные всадники мнут облака.
Под каждой песчинкой скрывается пропасть,
И в каждой секунде зияют века.
В крови, на руинах горящего зданья,
На вечные веки, сливая уста,
Мишель и Кристина творят мирозданье
На мёртвой иконе Исуса Христа!

II

Сердце не хочет высокого мщенья,
Сердце моё умирает в тиши.
Ад — это рабство под знаком крещенья,
Святость — тюрьма для поющей души.

Лезвие мести в тумане ржавеет,
Месяц на небе трясёт животом.
Кто же проснётся во мне и развеет
Пепел Гоморры и город Содом?

Волны взрывные и протуберанцы,
Связи разрушены, пробил ваш час!
Пусть навсегда умирают засранцы,
Вейте им петли из красных лампас!

Ярость, не гасни! Сотри этот глянец!
В каждом окне зарождается тьма.
Буря, гуляй над Монбланами задниц,
Смой, моя кровь, Кордильеры дерьма!

Слюни Европы, Америки ляжки,
Бешенство самки и похоть самца…
Вздрогни, вулкан! И, не зная поблажки,
Испепели торжество холодца.

Кодексы жгите, топчите талмуды,
Пусть будет мир никому не знаком.
Пусть пролетают по небу верблюды,
Пусть под землёй зарождается гром.

Лыко да мочало — начинай сначала.

* * *

Положим, просёлок, дорога,
И лес утопает во мгле…
Положим, что это не много
Для счастья на этой земле.

Положим, что это не много.
Но как хорошо, что во мгле
Есть именно эта дорога,
На именно этой земле!

* * *

Мальчик играет. Кораблик плывёт.
Лошадь слепая по кругу идёт.

Мальчик мечтает. Грустит и поёт.
Лошадь слепая по кругу идёт.

Мальчик мужает, науку грызёт.
Лошадь слепая по кругу идёт.

Мальчик влюбляется, мечет и рвёт.
Лошадь слепая по кругу идёт.

Мальчик в окопе. В руке огнемёт.
Лошадь слепая по кругу идёт.

Цинковый гроб. Недолёт, перелёт…
Лошадь слепая по кругу идёт.

Царь не заплачет и Бог не вздохнёт.
Лошадь слепая по кругу идёт.

Очищение

Гром на рассвете разбудит.
Встану — а небо в крови.
Кажется, больше не будет
Веры, надежды, любви.

Волга черна, словно Лета.
В пропасти прожитых лет
Спят облака Параклета,
Спит в облаках Параклет.

Нет у России наследства,
Врали цари и вожди.
Листья летят — не надейся,
Звёзды сгорают — не жди!

Пусто на сердце и грустно,
Время расправу вершит.
Господи! Как же искусно
Мир для погибели сшит!

Справа и слева — могилы,
Слева и справа — кресты.
Господи! Хватит ли силы
Верить, что всё это ты?

Так говорю — и немею,
Будто бы слышу ответ.
И над землёю, над всею,
Вижу незыблемый свет.

Вижу луга и дубравы
И понимаю, что вновь:
Вера рождается — справа,
Слева — сияет любовь!

Выйду в студёные росы,
Тихо растаю во мгле.
Так вот и кончится просто
Время моё на земле.

Выпускная фотография восьмого «А» класса школы № 120

Школьный дворик.
Ночь светла,
Как страница сочиненья.
Это взгляд восьмого «А»,
Это свет мироточенья.

У распахнутых дверей —
Сашка, Юлия и Сева;
Это — Нина, там — Андрей,
Я стою четвёртый слева.

Вика — косы по плечам,
Маргарита, словно рана…
Чёрно-белая печать
Разноцветного тумана.

Наше горе не беда,
И прожитое не бремя.
Словно мамонт изо льда,
Смотрит сказочное время.

То же всё — припухлость щёк,
Взгляд учителя, как зуммер…
И не верится ещё,
Что вот этот мальчик умер.

Юность

Задрожала оконная рама,
Усмехнулся Христос на кресте.
Это нас выгоняют из храма
За слияние уст в темноте.

Это отзвук библейского гнева,
Это ветхозаветный дурман.
— Что же ты улыбаешься, Ева?
— Отчего ты так весел, Адам?

Под дождём,
Под святым пересверком
Мы идём меж деревьев и струй.
Ни в одну православную церковь
Не вмещается наш поцелуй.

В фарисействе бессмертие тонет.
Но сливаются наши уста,
И на каждой сгоревшей иконе
Магдалина целует Христа.

Баллада о вечности

Мерцает забытая дата,
Старинное тает кино.
У чёрного леса, когда-то,
Недавно и очень давно.

Горят роковые созвездья,
Бредут по долинам стада,
И домик стоит на разъезде,
Где редко идут поезда.

В раскатах небесного грома,
Накинув на шубу халат,
Старушка выходит из дома
И смотрит на вечный закат.

Всё как-то неладно на свете:
Я дом отыскать не могу,
Где дед мой стоит на портрете
В своём сорок первом снегу.

Стоит, как пристывший, на месте
И видит, как поезд летит,
Как домик стоит на разъезде,
Где снова старушка не спит.

И бабушка видит солдата
В тумане, во сне и в кино…
У чёрного леса, когда-то,
Недавно и очень давно.

День Победы

День Победы. Смертная тоска.
Как вагон, Россию отцепили…
Подменили даты и войска,
И героев павших подменили.

Мир спасён. Америке — виват!
Для России — водка и корыто.
Что ты плачешь, маленький солдат,
За проклятым Одером зарытый?

Возрождайся, память, из обид
Под сияньем воинского флага!
Что Париж, Варшава и Мадрид,
Что весь мир — без взятия Рейхстага?

Русский дом измазали смолой,
Оплели лукавыми словами.
Встань, солдат, над пеплом и золой,
Посмотри в утраченное нами.

Там, вдали, где праведники лбом
Бьются в пол святого каземата,
Спит Земля в сиянье голубом
Под пилоткой русского солдата.

Спящий в долине

(По Рембо)

Опять заря на озере пирует,
Вчерашний дождь за холод не коря.
И всё блестит, всё дышит и чарует.
Бог любит всех — героя и червя.

А под зарёй, под облаком, под небом,
Затерянный в весёлых васильках,
Лежит, пропахший порохом и хлебом,
Мальчишка с удивлением в глазах.

Ему берёзы делают поклоны,
Сухой репей роняет на погоны
Колючие крупицы янтаря.

Засохла кровь на розовой рубашке.
Вонзились в раны черви и букашки.
Бог любит всех — героя и червя.

Навалилась усталость

Навалилась усталость...
За окошком темно.
Что прошло, что осталось?
Да не всё ли равно!

Что за страшная сила
И откуда, бог весть,
Нам с тобой подменила
Всё, что было и есть?

Мы не те и не эти.
В нас клубится тоска.
И рождаются дети
С сединой на висках.

Тлеет Русь, словно ветошь,
Гаснет меч-кладенец...
И отцу не ответишь:
Наш ли Ржев наконец...

Спасибо

Лохмотья вишнёвого сада.
Разладица. Голод. Война.
За счастье маркиза Де Сада
Спасибо, родная страна!

Рассорились мы, разделились,
Увязли в твоём дележе.
Но злые уже отделились
И стали виднее уже.

Их песня покуда не спета.
Другая — ещё не слышна...
Ну, что же... За то и за это
Спасибо, родная страна!

Харбин

Подвал называется «Райский Пекин»,
Он гордость ночного Харбина.
Здесь каждый поручик — Пьеро-Арлекин
И каждая мисс — Коломбина.

Здесь лета не видно, не слышно весны,
В беспамятстве стынут борозды.
Здесь лаптем хлебают прокисшие сны
И гасят окурки о звёзды.

Россия слиняла в огромном тазу,
В Кремле торжествует Иуда.
Я с именем бога под столик ползу,
Желая покоя и чуда.

Здесь замыслам века положен предел,
Здесь быт муравьёв разворочен.
Я всё проклинаю: судьбу и удел,
Мне хочется жить, но не очень.

Я к стойке трактирной прикован, как Блок,
Хохочет Прекрасная Дама…
Святая Россия… И клюквенный сок…
Какая нелепая драма!

— Молчите, уроды! — кричу я: — Не сметь!
И плачу в борщи и кагоры…
А Русь продолжает молиться и петь,
Сметая врагов и заборы.

Усмешка Парижа

Пить и плакать на закате,
Слушать крики воронья.
С пьяной девицей в кровати
Спать, как с облаком вранья.

В мире, конченом и пошлом,
Просыпаться день за днём.
Молча кланяться калошам,
Глупо мокнуть под дождём.

До утра сжигать полешки,
В облака стучаться лбом.
Раздавать врагам усмешки,
Словно карты за столом.

С вечной грустью эмигранта
Собирать тоску из глаз,
Без огранки бриллианта
Видеть родины алмаз.

Столбовую даль и стужу,
И следы твои во мгле
Видеть, помнить… Знать, что хуже
Не бывает на земле.

На заре в туманной Истре
Слышать дикий крик гусей
И далёкий смех, и выстрел,
И печальный вздох друзей.

И в объятьях демиурга,
С целым миром не в ладу,
Ждать письма из Петербурга
Триста сорок дней в году.

Видеть первый снег тарусский,
Есть проклятый канапе,
И шептать всю ночь по-русски:
«Ё, к, л, м, н, о, п…»

Безвозвратность

Я останусь один, я останусь один в этом городе.
Я забуду, как звать моих старых и добрых друзей.
Замолчит телефон, загрустит, как собака на холоде.
Постучит почтальон с полной сумкой засушенных дней.

Я открою ему. Я скажу: «Уходи, ради Бога!
Эти письма не мне. Я не знаю, где ваш адресат.
Он простился со мной — там, где рухнула в небо дорога.
Он упал и пропал. Он уже не вернётся назад».

Скажет мне почтальон: «Это ваша больная причуда!
Я вас знаю в лицо!» Я отвечу: «Лицо ни при чём!
Адресат ваш пропал. Эти письма теперь ниоткуда!
И они мне не смогут, не смогут сказать ни о чём!»

И уйдёт почтальон, и на ветер те письма отпустит,
Подписав на конвертах, что выбыл такой адресат.
И они полетят над землёй, как ослепшие гуси,
И уже ни одно никогда не вернётся назад.

А чуть позже жена дверь откроет своими ключами
И застынет в прихожей над стареньким детским конём,
И отпрянет назад, и прошепчет сухими губами:
«Я сейчас же уйду. Я ошиблась квартирой и днём».

Но, уже уходя, она спросит: «А где же тот, прошлый?
Я ведь знаю, что он день назад ещё звался тобой…»
И отвечу я ей: «Он стоит над водою протёкшей.
Он уже не придёт. Он навеки расстался со мной».

* * *

Отпущу свои мысли на волю,
И в реке почернеет вода,
И жена от немыслимой боли
Побредёт неизвестно куда.

Отпущу свои мысли. Отрину.
Оттолкну их подальше багром.
И мой брат, защищающий спину,
Мне затылок снесёт топором.

Отпущу свои мысли на небо
Перед тем, как осваивать гроб,
И от плача Бориса и Глеба
Разразится всемирный потоп.

И под шорох кладбищенских листьев,
В беспросветной почти полумгле
Ничего я не вспомню о мыслях,
Погубивших меня на земле.

* * *

Там, где кончились дороги,
Где долину льды бодрят,
У костра былые боги,
Как разбойники, сидят.

Над могилой Лоэнгрина,
Над курганом Перуна
Дремлют звуки тамбурина,
Спит усталая зурна.

Спят предтечи и пророки,
Снег ложится на виски.
Все заветные истоки
Зарываются в пески.

Что-то с памятью неладно,
Что-то с совестью не то.
Даже с нитью Ариадны
Не войдёт сюда никто.

Вечность выпита до донца,
Камень тонет — нет кругов.
А с креста на землю льётся
Темнота иных богов.

Эх!

Когда порвётся нить дороги,
Я позабуду все тревоги,
Надежду, веру и любовь,
И чудь подземную, и мовь,

Забуду дней чудесных сгустки
Забуду то, что был я русским.
Когда во мне печально, тля,
Сольются небо и земля,

Я, глядя вниз, заплачу, эх:
«Любите всё! Любите всех!
Надежду, веру и любовь,
И чудь подземную, и мовь,

Любите дней чудесных сгустки,
Любите дух святой и русский...
За боль и стон, за смех и грех
Любите всё! Любите всех!»

Возвращение

Усмехается в Риме Нерон,
Чаша яда в руках у Сократа.
Вымирает великий народ,
Как индейцы в лесу Колорадо.

Тают в небе слова: «Отче на…» —
Засыхает великое древо.
Наша Родина обречена,
Как вкусившая яблоко Ева.

В опрокинутом мире земном,
До последней звезды, до предела,
Бесконечный зияет разлом,
Разделяющий душу и тело.

В бездорожье созвездий и сфер
Этот век предначертан убого.
Но возносит его Люцифер
Выше славы уснувшего Бога.

Я не ангел летящий, не бес,
Я не знаю, что будет отныне…
Но Христос убегает с небес
И отчаянье прячет в пустыне.

Он рукой зажимает уста,
Опускаясь до крика земного,
И не верит в сиянье Креста,
И не слышит заветное слово.

Я ловлю его мысли и взгляд
И, пространство времён раздирая,
Предлагаю вернуться назад,
Где весна без конца и без края.

Он молчит, как полярные льды,
Но снимает с России вериги
И при свете Полярной звезды
Поджигает совравшие книги.

И над яростью пушечных жерл,
Над безумной стихией разврата,
В содрогании зрит Люцифер
Бесконечные дали возврата.

Там любовь воспевает Нерон,
Там Сократ просветляет уроки,
Там смеётся и плачет народ,
Отыскавший родные истоки.

И в сиянии утренних рос
Зреет вера, не зная предела,
И сливается с небом Христос,
И душа неотрывна от тела!

* * *

Опять мороз идёт по коже.
Кричат во тьму глаза и рты.
Черты России не похожи
На богом данные черты.

И я, надеждою измеря
Пространство памяти своей,
Таю в душе тревогу зверя
И нежность белых лебедей.

Мельчают даты и годины,
Дурманом полнится экран.
И Русь, как девочка на льдине,
Согреть не может океан.

Наш путь — без духа, без возврата,
Среди невидимых сетей.
В туманной области разврата
Теряет Родина детей.

Порой покажется — светает
Над полем, речкой и цветком…
Но всё быстрее льдина тает
Под каждым русским городком.

Страна берёзового ситца
Ещё как будто бы жива…
Но на престол уже садится
Иван, не помнящий родства.

И я, грядущему не веря,
Вдали от мира и людей,
В своей душе лелею зверя
И убиваю лебедей.

Моцарт и Сальери

Сниму замок, открою двери.
Ботинки грязные? Пустяк!
— Входите в горницу, Сальери,
Как боль, как совесть, как сквозняк!

Что взято в жизни — то не свято.
Я смог понять уже в гробу,
Что и меня могли упрятать
В такую страшную судьбу.

Теперь, все ужасы измерив,
Решив уроки повторить,
Мы будем пить вино, Сальери,
И печку русскую топить.

Пусть брезжит прошлое в окошке,
Пусть вечный Карл крадёт коралл.
Играй, Сальери, на гармошке,
Как Моцарт в жизни не играл!

Играй то яростно, то строго,
Кричи: брависсимо, виват…
В пространстве истины и бога
Никто ни в чём не виноват!

Осень. 2008

Завивается дым до Парижа.
В окруженье венков и свечей
Догорает московская биржа,
Согревая российских бичей.

Сокровенные дали погасли,
И, пуская в расход барыши,
Старый друг пропивает богатство
На окраине русской души.

Небосвод неприступен и грозен,
Старый друг всё пьянее и злей.
Это шапку бросает он оземь —
Из двухсот двадцати соболей!

Хороша эта жизнь и превратна,
Но, в земные попав невода,
Он кричит, что вернулась обратно
Убежавшая в море вода.

— Подступает всё выше и выше, —
Шепчет он, разбивая стакан;
И бежит на высокую крышу,
А вдогонку ему — океан!

И стоит над водой, не старея,
Освящённый законом бандит;
И глазами Колумба и Грэя
В безвозвратные дали глядит.

И восходят из древних преданий,
Из утраченных тайн и теней
Континенты его ожиданий,
Силуэты его кораблей.

Тянет руки он: «Господи, сущий!
Я теперь перекатная голь,
Не найти мне берёзовой рощи,
Где навеки уснула Ассоль!»

Он безумно глядит на Европу,
Головою трясёт: «Ай-я-яй!»
И кричит мировому потопу:
«Заливай, этот мир, заливай!»

И хохочет: «Подумаешь, жалость!
Разливай по стаканам и пей!»
Боже мой! Ничего не осталось
От двухсот двадцати соболей!

Наваждение

Что это? Плот или лодка?
Свет или отблески свеч?
Это вода или водка?
Это потоп или течь?

Что это? Говор пастуший?
Или туман на Руси?
Или в той лодке тонувшей
Тает твой голос: «Спаси!»

Окна забитого дома.
Тот же холодный причал.
Люди смотрели с парома,
Как я нырял и кричал.

Лодка — смешнее корыта…
Ряска и тина в руке…
Все мои годы, как рыбы,
Плавают в этой реке.

Светятся Дева и Овен,
Вечность стоит за плечом.
«Господи! Я не виновен!
Я не виновен ни в чём!»

Что это? Сны или сети?
Кто награждает виной?
С кем это было на свете
Так, будто было со мной?

Тина и ряска в ладони.
Вертится веретено.
Снова бегу от погони
К девочке — мёртвой давно.

* * *

Туман проходит по дорогам,
И в перевёртице земной
То сатана предстанет Богом,
То Бог предстанет сатаной.

И что минуты, что столетья,
Законы, цифры, словеса,
Когда у смерти и бессмертья
Одни и те же небеса?

И что же думы, что же мысли,
Что зло земное и добро,
Когда Земля на коромысле
Весит, как старое ведро?

Рубашка

Сею замыслы, всходят промашки.
Завивается память винтом.
«Я родился в счастливой рубашке!
Но куда она делась потом?»

Помню, помню, как страшная сила,
Под сгоревшей до срока звездой,
Нас с тобой на земле разводила,
Разливала студёной водой.

Что за жизнь? Наиспод, нараспашку…
И какого нам надо рожна?
Ты врывался, снимая рубашку:
«А вот эта тебе не нужна?»

Просыпались и плакали дети,
И жене, подбегавшей ко мне,
Говорил я: «Любимая, ветер!
Это ветер свистит в тишине!»

Это ветер — во сне и на деле…
Забежал бы, Сергей, сгоряча!
Я скажу, что в роддоме надели
Мне рубашку с чужого плеча.

Может быть, мы уснём и проснёмся,
Там, где молодость, дым и вино,
И рубашками снова махнёмся,
Как случилось когда-то давно!

Не за то...

Не смотри, не смотри ты вослед журавлю,
Не грусти у ночного порога...
Всё равно я тебя больше жизни люблю,
Больше Родины, неба и Бога!

Возле мокрых заборов, соломы и слег
Я люблю тебя тихо и нежно —
Не за то, не за то, что, как дождик и снег,
Ты была на земле неизбежна.

Не за то, что сгорала со мною дотла
И неслышно в сторонке дышала,
А за то, что всё время со мною была
И, как смерть, мне ни в чём не мешала!

* * *

Проклиная смешную свободу,
Провожая глазами зарю,
На корме, уходящей под воду,
Я тебя ни за что не корю.

Ведь от неба, от бога, от века,
В темноте городов и полей,
Так устроена жизнь человека:
Чем прекрасней она — тем больней.

На распутье тумана и риска
Всё, как есть, принимает душа.
Эта жизнь коротка, как записка,
И поэтому — так хороша!

Опала

Смеяться. Петь. Тужить.
Дрожать от слёз, как небо.
В больной России жить
Нескладно и нелепо.

В опале, взаперти
Не думать о свободе.
С восьми до девяти
Копаться в огороде.

От бани до крыльца
Потерянно метаться
И царского гонца
До смерти дожидаться.

Не спать, не есть, не пить…
Во тьме закрытых ставен,
Но чудо отчудить,
Как говорил Державин.

Встать ночью. Взять вожжу,
Порвать мечты и сети
И смертную межу
Вспахать за час до смерти.

Неволя

Надоела судьба-замарашка.
Я не верю любви и добру.
И свобода моя, как дворняжка,
Ненавидит свою конуру.

Ненавистны ей клещи и слепни.
Задыхается, мечется тварь
И звенит нержавеющей цепью,
Как прикованный к небу звонарь.

По ночам она смотрит на лампу,
Надоевшую рифму жуёт
И гостям моим жалкую лапу
Точно так же, как я, подаёт.

Но порой под небесною крепью
В мою душу вселяется бес
И трясёт нержавеющей цепью,
Потрясая основы небес.

Разрываются вечные звенья,
Ненадолго пугая Творца,
И опять на планете забвенья
Кто-то долго скулит у крыльца.

Льётся с неба ночная остуда,
Поднимается буря песка…
И не знают собаки, откуда
К ним приходит ночная тоска.

Брат

Больная, глупая утрата,
Ты мне худое не пророчь!
Я жду потерянного брата,
Огнём пронизывая ночь.

В моей душе царит чудесно
Весна давно минувших лет.
Там тает снег, но не надежда,
Там гаснет память, но не свет.

Я брата жду. Горит лампада,
Потёмки века возлюбя.
Тамбовский волк, безумец, чадо,
Что покаянье для тебя?

Я до утра молюсь и каюсь,
Всю жизнь ломая на поклон…
Но между нами бродит Каин,
Надев мой белый балахон.

О, даль библейская, чужая!
Я так устал тебя полоть…
Ведь снова рана ножевая
Ему распарывает плоть.

Он все узлы затянет туже,
Подступит к горлу, как вода…
О, сколько можно ту же, ту же
Нести судьбу через века?

Прорехи божьего творенья
Латать мне не перелатать…
И гибнет тайна примиренья,
И мне её не отгадать.

Цап-царап

Звёздный час пришёл невольно,
Как с ночной галеры раб.
Отчего же сердцу больно:
Цап-царап да цап-царап?

Молоко горчит, а пенка
Словно сладкое желе.
Зря ты, Женя Евтушенко,
Помогал мне на земле.

Не осталось, Женя, веры,
Всё отбито наиспод.
Не хочу бежать с галеры
И выскальзывать из-под

Этих глыб и арматуры,
Этих брёвен и оков…
И великий твой окурок
Докурить я не готов.

Полно мёрзнуть на морозе!
Пусть живут подольше, брат,
И в стихах твоей, и в прозе:
Цап-царап да цап-царап.

Проводи меня, Евгений,
В нищету мою и грусть.
Пусть во мне вздыхает гений,
Я с ним дома разберусь.

Лошадь

В море чёрного атласа,
Посмотри, родная! Жуть!
Лошадь с крыльями Пегаса
Обновляет Млечный Путь.

И подобно бедуину,
Я тянусь за нею вслед.
Эту лошадь на конину
Отвозил вчера сосед.

Я бегу, бужу соседа.
Он выходит в сад ночной.
И летит подкова с неба,
Словно месяц золотой.

Он стоит, грустя и тая,
Со слезами на челе.
«Мать честная! Мать честная!
Что творится на земле!»

А его лошадка резво,
Не забыв земную суть,
По неведомым созвездьям
Скачет рысью, как-нибудь!

* * *

Я — боль Артура и Тристана,
Я зря покоя захотел.
Душа — владычица тумана,
Не знает, где её предел.

Где честь моя? Где меч и вера?
Растёт тоска, как снежный ком.
Изольда спит, а Гринивера
Бежит из замка босиком.

Бежит за рощи, за болота,
От стражи прячется в дупле.
И страшный хохот Ланселота
Проходит трижды по земле.

Шумят над озером деревья,
И Артур падает с коня…
На что мне старые поверья
И боль, входящая в меня?

Молилась ты — не отмолила.
Мне больше некому помочь.
Всё тот же сон неумолимо
Меня преследует всю ночь.

Я поднимаю меч Тристана,
Скачу вперёд быстрее стрел.
Душа — владычица тумана,
Не знает, где её предел.

И чем за окнами темнее,
Чем дольше длится забытьё,
Тем мне становится страшнее
Ждать возвращения её.

Воробей

О Русь! Проталина в снегу!
Я изгоню слова и мысли
О том, как жили мы в кругу
Измен, бесславья и корысти.

К чему мне помнить, как вчера
Поэты корчились на дыбе,
Как бомжи грелись у костра,
А на рассвете шли в погибель?

Мне есть что помнить, что беречь,
Я расскажу тебе о многом,
Хотя порой не стоит свеч
Игра, придуманная Богом.

Мы начинаем новый путь,
Мы видим новые созвездья.
Что было — сплыло. Позабудь.
Любовь не требует возмездья.

Иди, родная, не робей,
Сори судьбою на дорожки.
Я всё простил. Я — воробей.
Я рад любой упавшей крошке.

* * *

Опять проигран бой за «это»,
За радость честного труда;
И ужас Ветхого Завета
Заносит наши города.

Плывёт по Родине зараза,
И, вытирая пот со лба,
Мечтает Ваня Карамазов
Убить уснувшего отца.

Я по ночам стою у порта,
Где корабли страшнее плах,
Где вся икра второго сорта
Уже у рыбы в животах.

* * *

Сживают поэта со света.
Горит за тетрадью тетрадь.
А девочки в школе балета
Уже научились летать.

Судьба холодна и превратна.
Но девочки, боже ты мой,
Куда-то летят безвозвратно,
Как будто снежинки зимой.

Летят через вечное бремя,
Летят далеко-далеко…
И так же тяжёлое время
Летит над Землёю легко.

И так же — явленье поэта
Похоже на выдох и вдох
Куда-то летящего света,
Куда-то бегущих веков.

Горькое стихотворение

Москва, обуянная спешкой,
Живёт, возносясь и бузя.
И Горький, пока ещё Пешков,
Не ведает славы ферзя.

Снимая с России вериги,
Ступая по жёсткой стерне,
Он пишет великие книги,
Как Феникс, рождённый в огне.

От этой неведомой славы,
От этой великой мечты —
Колеблются замки Варшавы,
Дрожат над Дунаем мосты.

Ломает небесная сила
Железные рамки судьбы,
Как будто от Волги до Нила
Оковы ломают рабы.

Внимает бессмертью бумага,
И пламя пылает в груди.
Тоска Соловков и Гулага
Ещё у него впереди.

Потом, под осенние всхлипы,
Под кровоточащей звездой,
И Липа окажется липой,
И Мура — обычной мурой.

А позже из алого гроба,
За гранью великой игры,
Он грустно посмотрит на Кобу
Глазами Макара Чудры.

И Сталин, не выдержав взгляда,
Поймёт, что крути не крути,
Но горькая порция яда
Ещё у него впереди.

* * *

Открыты дороги разврату и злу,
Банкиры над златом трясутся.
И лики святые на каждом углу
Как штучный товар продаются.

А возле метро, у развилки дорог,
Явившись в столицу бесправно,
Играет на гуслях усталый Сварог
И плачет в кулак Ярославна.

Концы и начала уже не свести.
Воры торжествуют в законе.
Заморские кони сегодня в чести,
А русские кони — в загоне.

Давно узаконен разврат и разбой
Медведями-большевиками,
И, как на погосте,
Кресты над Москвой
Бессильно разводят руками.

Вспоминая Володю Евсеичева

У Волги-матушки, у Дона,
Мы любим тихую езду;
И не потерпим кнут Лондона
И европейскую узду.

На повороте, на уклоне
Сама собой вздыхает грудь:
«Ещё помедленнее, кони!
Плетитесь рысью, как-нибудь!»

Плетутся лошади вдоль русла,
В траве скрываются из глаз…
Нам хорошо, когда нам грустно,
Нам Запад больше не указ.

Мы пьём. И дышим для закуски,
Бросая верные бразды…
«О, Боже! Ну, какой же русский
Не любит медленной езды!»

Седьмое ноября

Кошмар и бред календаря!
Под пеной и водой
Листок «седьмое ноября»
Сгорает сам собой.

В ночи холодной, как янтарь,
Гоморра и Содом:
Горит проклятый календарь,
Подъезд горит и дом.

Горящий скарб летит во тьму,
В подъезде топотня…
И нет спасенья никому
От вечного огня.

* * *

Москва — златоглавая плаха,
Устроила жизнь без затей:
Приходится жизнь олигарха
На тысячу русских смертей.

Покажется миром и ладом
Порою державная лень.
Но дышат и дышат на ладан
Созвездья моих деревень.

Церковный туман не развеян.
Смотри — у Святого Креста
Георгий в обнимку со змеем
Внимают заветам Христа.

Никон

Что ты веришь ему, прохожий?
Эти брюки изъела моль.
Это калика перехожий
Умножает себя на ноль.

У стены векового мрака,
Принимая земную дрожь,
Он кусается, как собака,
И качается, словно дождь.

В неизбывное врезанный ликом,
Он рыдает у новых церквей.
— Кто ты, горюшко наше?
— Я — Никон!
— Что ты плачешь?
— Жалею людей!

Он уходит, на нас непохожий,
Рассыпает судьбу, словно снег.
Что ты веришь ему, прохожий?
Он давно уже не человек.

Пьёт из лужи. Идёт по скверу,
Излучая утраченный свет,
И за пазухой мёртвую веру
Согревает четыреста лет.

Башня

Нас научили бить поклоны,
Но Спас униженных не спас.
Со света сжиты миллионы,
Но это горе не про нас.

Сорняк куражится на пашне,
Сквозняк гуляет по избе.
Но древний колокол на башне
Звонит ещё не по тебе.

Страна молчит и убывает,
И затихает божий глас…
Чужого горя не бывает,
Но эта мудрость не про нас.

Родное всё — и всё не наше,
Ликует хищник на гербе…
А древний колокол на башне
Звонит сегодня по тебе.

Беда не ведает отсрочки.
Прижавшись к трубам теплотрасс,
Мы все умрём поодиночке…
Но этот ужас не про нас.

Смотреть в грядущее не страшно
Навек уснувшей голытьбе…
И древний колокол на башне
Звонит уже не по тебе.

Илья

Много синего, много зелёного!
Задыхаюсь и радуюсь: «Ах!»
Я лежу на диване Обломова,
Словно облако в белых штанах.

Засыпаю. Лечу. Исполинскую
Вижу русскую землю во мгле.
Примеряю судьбу Бородинскую,
Как Кутузов, качаюсь в седле.

Хорошо мне сегодня и здорово!
Я не ради каких-то наград
Провожу через Альпы Суворова
И дыханием грею солдат.

Я лечу над Филями, над Липками,
Сквозь галдёж и мышиный скулёж,
И спасаю Настасью Филипповну,
Вырывая рогожинский нож.

Что ни сон, то судьба и преддверие.
И какой это, Господи, сон,
Если столько любви и доверия
Так вот запросто дарит мне он?

Другу

То ли осень рыдает на плахе,
Догорая в костре золотом,
То ли светится Витя Чувахин,
Заслоняясь от мира щитом?

Мы прошли через сны и пролетья,
Мы идём по ухабам дорог,
Так что брызги воды и бессмертья
Разлетаются из-под сапог.

Что ты хмуришься, Витя Чувахин?
Разве путь наш уже завершён?
Я в твоей изумрудной рубахе,
Словно рыцарь, по мукам прошёл.

В половодье небесного фарта
Пей, родимый, берёзовый сок,
Чтобы сердце твоё от инфаркта
Заслонил неизмеренный срок.

Небесам поклонившись просторным,
Я молюсь над туманной рекой,
Чтобы снова тоской и восторгом
Обдавало тебя с головой.

Вижу жизнь в небывалом размахе,
Вижу смерть, как немыслимый свет…
Что ты хмуришься, Витя Чувахин,
Никому неизвестный поэт?

Стрела летящая

Ольге Рыбаковой

Горит свечи огарок. Я болен, близорук.
Но Волга под Самарой натягивает лук.

Болит сквозная рана, дрожит ночная нить.
Мне рано, рано, рано из жизни уходить.

Со свистом, в небе тая, надежда во плоти,
Высокая и злая, лети, стрела, лети!

Люблю тебя такую, летящую во тьму,
Я триста лет тоскую по свисту твоему.

Не поддаваясь сраму, пойду через метель,
По золотому шраму — за тридевять земель.

Туда, где годы-глыбы, потоки-бегуны,
Где огненные рыбы летают, словно сны.

Где рощи, словно своды, под сводами — хорал,
Где мир своей свободы ещё не потерял.

В лесу и на опушке увижу ясный свет
И всё, что видел Пушкин, сжимая пистолет.

1666–1999

Не напрасно дорога по свету металась,
Неразгаданной тайною душу маня...
Ни врагов, ни друзей на земле не осталось...
Ничего! никого! — кто бы вспомнил меня!

Я пытался хвататься за тень и за отзвук,
Я прошёл этот мир от креста до гурта...
В беспросветных людей я входил, словно воздух,
И назад вырывался, как пар изо рта.

Переполненный зал... Приближенье развязки...
Запах клея, бумаги и хохот гвоздей...
Никого на земле! Только слепки и маски,
Только точные копии с мёртвых людей.

Только горькая суть рокового подлога
И безумная вера — от мира сего.
Подменили мне Русь, подменили мне Бога,
Подменили мне мать и меня самого.

Никого на земле... Лишь одни квартирьеры...
Только чуткая дрожь бесконечных сетей...
И глядят на меня из огня староверы,
Прижимая к груди нерождённых детей.

* * *

Когда бы новые дороги,
Когда бы с неба новый глас,
Мы не были бы так убоги
И так несчастны, как сейчас.

Когда бы совесть, честь и битвы,
Когда бы шпага и фугас,
Мы были бы с тобой убиты,
Но не мертвы, как в этот час.

Инициация

В краю лишайника и сланца
Я всех врагов своих прощал.
Старик — шаман инициаций
Меня в бессмертье посвящал.

Он направлял на звёзды глотку,
Как волк, пространство разрывал
И в необъезженную лодку
Меня в тумане зазывал.

Потом мы отдались теченью,
И он, прозрачный, как исток,
Сказал: «Великое мученье
Владеет вечностью, сынок!»

Я молод был, строптив и дерзок,
Но он туман отвёл рукой:
«Песчинка малая и бездна
Живут незыблемой тоской:

Скала пытается качнуться,
Река — немного постоять,
Душа — к чему-то прикоснуться,
А пальцы — небо увидать!»

Потом, доев остатки хлеба,
Вбивая в трубки самосад,
Мы до утра смотрели в небо…
И нас несло на водопад.

* * *

Во мне ты видишь пору листопада,
Когда прозрачны мысли и мечты,
Когда ни слов, ни музыки не надо,
Когда и так все помыслы чисты.

Ты вся во мне, и мы с тобою двое…
Среди миров, затерянных во мгле,
Люблю тебя, как любят неземное
Потерянные люди на земле.

* * *

Февраль. Бессонница. Морозно.
И, как ладони на стекле,
Мы поздно, поздно, слишком поздно
Смогли протаять на земле.

Ещё мы боль друг друга чуем,
Как дрожь неведомых светил,
Но расстаёмся и ночуем
Среди надгробий и могил.

Чужие плечи, руки, губы,
Туман, стекающий с лица…
И умирают однолюбы
В созвездьях Лиры и Тельца.

А ты опять над бедным бытом
Склонишься, кудри наклоня;
И над платком, тобой забытым,
Взметнутся всполохи огня.

Закрыта дверь, закрыта рама…
Я буду петь и водку пить…
Мне рано, рано, слишком рано
В пожарный колокол звонить.

Февраль. Бессонница. Морозно.
Сосульки капают, звеня…
Горит платок… И слишком поздно
Бежать от этого огня.

Бессонница

Вошла. Молчит. Свечу задула.
В глазах — нетающий туман.
Февраль. Бессонница. Акула.
Тоска — как Тихий океан.

Надежды нет, и нет участья,
Есть только страх заветных снов.
Февраль. Бессонница. Причастье
Ещё неведомых миров.

Разлука. Лампа Аладдина.
Ничто не вечно под луной.
Река. Оторванная льдина,
И льдина тает подо мной.

Февраль. Рождение тумана,
Исчезновение святынь.
И на губах твоих «Осанна!»
Преображается в «Аминь!»

* * *

Я нездешней болезнью ведом,
Я живу без надежды и дома,
И огонь, пожирающий дом,
Заливаю остатками рома.

Мой рассудок бежит от меня.
Я один в ликованье полона
Не пытаюсь бежать от огня
И спасаться от стрел Аполлона!

Продолжайся, пленительный бред,
Разливайся, тоска конокрада!
Если любишь — спасения нет,
И молиться об этом не надо.

Реминисценции

1.

Дорога, грудь и башмачок,
Дрожит усталая коняшка,
Рука сжимает повода.
Куда вы скачете, бедняжка,
Куда вы, милая, куда?

Наш путь закончится едва ли,
Ведь за последние года
Вы восемь раз уже скакали
Сюда, отсюда и сюда.

Она глядит с улыбкой кроткой
И тихо шепчет: «Дурачок».
А я пою лошадку водкой
И вновь сажусь на облучок.

— Гони, — мне шепчет Марианна,
И ножкой бьёт: «Туда! Туда!»
А впереди стена тумана,
Где можно кануть навсегда.

И я скачу! И в час печальный
Украдкой вижу с облучка
И башмачок её хрустальный.
И грудь не больше башмачка.

В тумане плавает коняшка,
Под нами плещется вода…
И каблучком стучит бедняжка,
И снова скачет не туда.

2.

Потешная скачка
По доннику, по долу —
Пытаем пылью путь.
Прижмусь к её подолу
И рысью, как-нибудь!

Кремнистая дорога,
Обузданная прыть.
Не надо, ради бога,
Чего там говорить?

Обнимемся, поплачем,
Нам горе не беда.
Мы все когда-то скачем
Куда-то не туда.

Поляны и опушки,
Черёмухи загул…
Вот здесь когда-то Пушкин
Обратно повернул.

Но ныне даль лучиста,
И стыдно унывать,
Когда до декабристов
Нам двести лет скакать.

Осирис

Столетняя обида,
Воскресшее вчера.
Не плачь, моя Исида,
Невеста и сестра!

Гремят родные громы,
Ломаясь в хрустале.
Змеиные разломы
Проходят по земле.

Святое не пропето,
Но совесть не закон.
Глаза святого Сета
Глядят со всех икон.

Мороз идёт по коже
И гибнет от огня.
Ты оживить не сможешь
Убитого меня.

Не плачь, моя сестрица,
И бога не зови.
Божницы — как бойницы,
Все храмы — на крови.

Погиб во мне предтеча
Неведомой зари.
Пройдут тысячелетья,
И рухнут алтари.

Пройдёт сквозь божье сито
Погибший мир земной,
И ты, моя Исида,
Склонишься надо мной.

Сойдутся наши руки
Над пропастью во ржи,
Чтоб новые разлуки
Достойно пережить.

* * *

За тем мостом, за речкой медной,
В кругу неярких фонарей,
Я был Кощеем, но бессмертной
Лишь ты была душой моей.

Какая музыка играла
В пространстве веры и беды,
Когда меня ты предавала,
На цепь сажая без воды!

Какую злость рождали тучи,
Когда в пустыне баловства
Тебя всю ночь ласкал и мучил
Иван, не помнящий родства.

Конечно, это только сказка,
Лишь отзвук горести былой…
И всё же горькая развязка
Нам уготована с тобой.

Я, как Кощей, стою над Волгой
И повторяю, словно тать:
«Не уколись моей иголкой,
Когда надумаешь сломать».

* * *

История царства — грустна,
А память — чиста и привольна.
Изольду полюбит Тристан,
Тристана полюбит Изольда.

Но в святцы небесной любви
Вкрадётся земная помарка:
И будет стоять на крови
Империя юного Марка.

О, вечная мука живых,
Знобящая снова и снова:
Невеста — одна на двоих,
Жена для того и другого.

На троне судьба и в строю
Рядится в чужую личину.
И все погибают в бою,
В бою, но убитые в спину.

«Запомни, ирландский медведь! —
Кричали кольчуги и луки. —
Запомни, как юная смерть
Тебя поднимает на руки!»

История царства грустна,
Страницы истории жёлты.
Плыви же, убитый Тристан,
В объятия мёртвой Изольды!

Я вас любил

Я вас любил. И год, и три…
Я умирал и возрождался,
И сам в себе преображался,
Как кокон с бабочкой внутри.

Я вас любил на склоне лет,
На дне рассудка, на закате,
Я вас любил, как любят свет,
Как любят облако в кровати.

Я вас любил, как лесоруб,
Как любят поезда в тумане.
Я столько раз у ваших губ
Дрожал, как ложечка в стакане.

Я вас любил, как идиот,
Как снег январский — до озноба,
Я вас любил, как любят плот
В воде всемирного потопа.

Я к вам бежал в ночи — держись! —
Зимой в распахнутой рубахе!
Я вас любил, как любят жизнь,
Когда уже стоят на плахе.

Я вас любил взахлёб, вразнос,
В тщете, взлетая ли, корпя ли…
Когда бы так любил Христос,
Его бы десять раз распяли.

* * *

Обрывается ночь окаянная.
Он кричит, поводя головой:
«Эта жизнь, как жена нежеланная,
Мне не кажется больше родной!»

Он уходит и плачет над Невкою,
И, не в силах уйти навсегда,
Под мостом с непотребною девкою
Подавляет восстанье стыда.

А потом они пьют, словно лошади,
Наклоняясь всем телом к воде,
И клокочет извечное: «Господи!
Где ты прячешься, Господи, где?»

Он глядит в небеса и не щурится,
Только чувствует холод и тьму,
Где большие прозрачные щупальца
Мироздание тянет к нему.

И она, называясь Наташею,
Забывает про пиво и лоск
И внезапно становится страшною,
Застывая, как гипс или воск.

Станут звёзды дрожать, словно оспины,
Отражаясь в холодной воде…
И кричать будут статуи: «Господи!
Где ты прячешься, Господи, где?»

Ведьма

— Уходи! Не боюсь и не верю
Лебединому крику любви!
Это бродят голодные звери,
Словно тёмные страсти твои!

Заповедное зелье прогоркло.
Только ворон кричит: «Никогда!» —
И опять подступает под горло
Убежавшая в море вода.

Изменяя глаза и походку,
Ты вращала созвездья и стол,
И бросала в огонь богородку,
И дурман опускала в котёл.

И над дымом дурманящим рея,
Появлялись, не зная греха:
Маргарита, Джоконда и Фрея,
Антигона, Эсфирь и Радха.

И светились они, как зерцала,
Невозможные мысли даря,
И душа под ногами мерцала,
Как упавшая с неба заря.

Заслонившись неверной рукою
От сияния тел и белья:
— Это что, — закричал я, — такое?
— Это я, — ты ответила, — я!

— Не поддамся туманному чуду
И призыву чужого белья!
Ты смеялась в ответ: «Я повсюду!
Ты не сможешь уйти от меня!»

Я бежал, городьбу исковеркав,
Разрывая от крика уста,
И попал в деревенскую церковь,
Под защиту святого креста.

Разливались святые напевы,
Я огонь возжигал от огня…
Но с иконы неведомой Девы
Ты глядела опять на меня.

Я сказал: «Я тебя позабуду!
Не по нраву мне этот удел!»
Но подобно небесному чуду
Раздвигался церковный предел.

И над дымом дурманящим рея,
Появлялись, не зная греха:
Маргарита, Джоконда и Фрея,
Антигона, Эсфирь и Радха.

Я смыкал воспалённые вежды.
Я у неба спасенья алкал.
Но под каждою снятой одеждой
Лишь тебя на земле узнавал.

Сестре

Кожей чувствуя развязку,
Чтоб ни плакать, ни тужить,
Я хочу дорогу в сказку
Перед смертью проложить.

Хорошо в лесу таиться,
Соответствовать добру
И из козьего копытца
Похмеляться поутру.

С золотыми бубенцами
И с ножом, упёртым в грудь,
Не сводя концы с концами,
Жить на свете как-нибудь.

Соответствуя козлёнку,
Тихо блеять под луной
И любить свою сестрёнку
На земле и под водой.

Кукушка

В тёмной ночи, над опушкой,
Там, где туман и осот,
Сделано дело кукушкой,
Нет у кукушки забот.

Господи! Крыть даже нечем!
Спутались нечет и чёт.
В маленьком гнёздышке певчем
Быстро подкидыш растёт.

Знают лишь змеи да совы,
Что оперится птенец,
И от предчувствия злого
Хмуриться станет отец.

В свете луны на ребёнка
Будет подолгу смотреть,
Будет учить кукушонка
По-соловьиному петь.

* * *

Ненавижу тебя, ненавижу,
Только, слыша божественный глас,
Я ненастьем земным не обижу
Глубину удивительных глаз.

Но проходят и грозы, и грёзы…
О, скажи мне, родной человек,
Не мои ли вчерашние слёзы
Носят по миру Ноев Ковчег?

* * *

При дворе не искал я богатства
И талант не менял на рубли.
На песок рассыпаются царства,
И на плаху идут короли.

Я виновен лишь в том, что единой
Жил любовью и пел чудеса,
Что высокой тоской лебединой
По ночам наполнял небеса.

Я виновен лишь в том, что однажды
Отпер тайные двери ключом
И за то, что не умер от жажды
Над твоим заповедным ручьём.

Сон

Разливалось пространство тоской.
Что случится, мы знали едва ли…
Ты сказала мне: «Вечный покой» —
Я откликнулся: «Вечные дали».

А потом в шалаше, над рекой,
Где янтарные совы летали,
Мы впервые уснули с тобой,
Мы до этого вместе не спали.

А теперь на прощальной меже
Обнялись, как бездомные дети…
Ты, уснув, не проснулась уже,
Я проснулся в объятиях смерти.

* * *

И что я поделаю с этой
Дрожащей в вагоне рукой
И с чёрной, почти несусветной,
Железнодорожной тоской?

Случаются в жизни пропажи,
Когда и судьба не судьба,
И даже духовная жажда
Голуба, но не голуба.

Стоять на манер истукана,
Прошедшее мерить лицом,
Как будто бы пить из стакана
За стильно накрытым столом.

И думать, и думать о том лишь,
Что ты, как дано госпоже,
Уедешь и вряд ли запомнишь
Мой свет, уходящий уже.

Волненье. Туман. Междометья.
Величие снов и мечты.
И в синем вагоне бессмертья
Бессмертной становишься ты.

* * *

Когда вины не существует,
Но ты уверена, что есть, —
Садовник деревце корчует,
Уже готовое зацвесть.

Когда вины не намечалось,
Но ты сама её звала, —
Земля, как лодочка, качалась
Во тьме космического зла.

Когда в тебе пылает злоба,
И дым клубится без огня, —
В Кремле подписывает Коба
Донос, пришедший на меня.

Когда вины в помине нету,
Но ты охотишься за ней, —
Харон отвозит через Лету
Ещё не умерших людей.

Когда вина ещё не зрима,
Но ты внимаешь клевете,
Тогда Отец не видит Сына,
Который плачет на Кресте.

Илатан

Он стоял, как вечерний туман,
На пороге любви и печали.
«Илатан! Илатан! Илатан!» —
Его тёмные губы кричали.

И она из оборок и шуб,
Как подснежник в снегу, вырастала:
«Ах, Никшуп! Безобразник Никшуп!
Я тебя целый день не видала!»

Молода, хороша и горда,
Присягнувшая высшему свету…
Так вот тёмные силы всегда
Подступают к большому поэту.

Словно струнка играла спина,
А глаза — украшение царства!
Разве думала, знала она
Про сценарий небесного братства?

Не умом, так сияньем брала
Или брызгами лунного света…
И, как двери, открытой была
Для любви и для смерти поэта.

Шинель

Когда по родине метель
Неслась, как сивка-бурка,
Я снял с Башмачкина шинель
В потёмках Петербурга.

Была шинелька хороша,
Как раз — и мне, и внукам.
Но начинала в ней душа
Хождение по мукам.

Я вспоминаю с «ох» и «ух»
Ту страшную обновку.
Я зарубил в ней двух старух
И отнял Кистенёвку.

Шинель вела меня во тьму,
В капканы, в паутину.
Я в ней ходил топить Муму
И мучить Катерину.

Я в ней, на радость воронью,
Кровоточил, как треба,
И пулей царскую семью
Проваживал на небо.

Я в ней любил дрова рубить
И петли вить на шее.
Мне страшно дальше говорить,
Но жить ещё страшнее.

Над прахом вечного огня,
Над скрипом пыльной плахи,
Всё больше веруют в меня
Воры и патриархи!

Никто не знает на земле,
Кого когда раздели,
Что это я сижу в Кремле
В украденной шинели.

* * *

Когда наше время очнётся,
Не в силах дождаться зари,
В тебе моё солнце проснётся,
Сжигая тебя изнутри.

Ты будешь на боль отзываться,
Но скажешь в ночи: «Уходи!»
И будут в тебе проливаться
Чужие для мира дожди.

Качнутся небесные своды,
Отметив печалью святой
И эти великие воды,
И солнечный свет над водой.

И будем стараться мы оба
Смирить неземные тела
В воде мирового потопа,
В пустыне, сожжённой дотла.

* * *

На реке стоит кораблик —
Полосатый, как оса.
Карл, похитивший кораллы,
Поднимает паруса.

Тьма похмельного угара.
Для суда мотива нет.
На причале плачет Клара,
Сжав украденный кларнет.

Трамвай

1.

Трамвай — самопальная сцена,
Великой империи дно.
«Садитесь, мадам, на колено,
Покуда свободно оно!»

Мадам, как звезда на излёте,
Головкой качает слегка:
«Вы много, наверное, пьёте?»
«Не более, чем облака!»

Смеётся мадам и не знает,
Куда этот пьяница гнёт.
А рыцарь устало вздыхает
И с тёплого места встаёт.

Соседка бормочет: «Фиеста!» —
А рыцарь сомнения рвёт:
«Садитесь, мадам! Это место
Я выкупил на год вперёд!»

И бабы взрываются тут же,
Проходят взрывною волной:
— Ты что же, родимый, контужен?
— Ты что же, залётный, больной?

Он смотрит спокойно и трезво
И, делая вид, будто спит,
Стоит на культышке протеза,
Как будто бы насмерть стоит.

2.

Трамвай — очарованный странник,
Мне снова с тобой повезло.
Ты стынешь, но, словно предбанник,
Ещё сохраняешь тепло.

Мне все остановки некстати.
В тумане любви и стыда
Я еду в домашнем халате,
Не зная — зачем и куда?

Сосед осторожно зевает
И трёт кулаками глаза.
Всю ночь за окошком мерцает
Похожий на айсберг вокзал.

И я задыхаюсь от смеха,
Как клоун в ночном шапито.
Пытаясь в халате уехать
Туда, где не знает никто.

Мне все остановки некстати.
Дивится неспящий народ:
— Товарищ! Куда вы в халате?
И я отвечаю: «Вперёд!»

«Вперёд! На реку Ориноко!
Туда, где кричат журавли!
Товарищ! Мы едем далёко
Подальше от этой земли!»

ЭТО и ТО

Туман венчается на царство,
Ликует пьяная страна.
Теперь рукой подать до рабства,
А там — разруха и война.

Потом в Москве убьют поэта,
Потом помножат боль на сто.
Опять начнётся бой за «ЭТО»,
А «ЭТО» уничтожит «ТО».

Всё тот же фарс раскинет сети,
Родится Карла в бороде…
Всё повторяется на свете:
Позор, потёмки и т.д.

* * *

Луна над озером колдует,
Вода прохладна и чиста.
А Патриарх в ночи целует
Иконы грустного Христа.

В запретной сладости искуса —
Вся тайна Божьего суда.
Но тонет слава Иисуса
В рыданьях Вечного Жида.

Что час вины? Что час расплаты?
Что вечный сон и вечный бой?
Когда летит: «Мы виноваты
Перед тобой, перед тобой!»

О, Русь, зловещая, как плаха,
Как шутка мёртвого шута,
Как поцелуи Патриарха,
Уже предавшего Христа.

Рыцарский романс

Я не снят ещё с креста.
Вот такие, брат, дела.
А за пазухой Христа
Даль вселенская чиста.
Там уютно и тепло:
Бедным людям повезло.

А за пазухой — вдали,
В небе плачут журавли.
А под ними, в полумгле,
Кто-то едет на осле.
А вокруг осла — светло,
Бедным людям повезло.

А за пазухой — в ночи —
Две дороги, две свечи.
По одной Христос идёт,
На другой Иуда ждёт.
Дождик. Полночь. Но тепло.
Бедным людям повезло.

А за пазухой — без лат,
За столом сидит Пилат.
Перед ним трепещет жид,
Весь от холода дрожит,
Но бормочет: «Как тепло!
Бедным людям повезло!»

«Да, Каифа! Жизнь проста!
Привести сюда Христа».
«Говори, ты царь?» — «Я — царь!»
Получай под глаз фонарь!

Говорит Христос: «Светло!
Бедным людям повезло».

А за пазухой — народ,
На Голгофе казни ждёт.
Уксус… Тернии и желчь…
У Христа невнятна речь…
Крест поставили. Тепло!
Бедным людям повезло.

Он висит во тьме, как вор,
А за пазухой его:
И уютно, и тепло…
Бедным людям повезло.

* * *

Среди раскрашенной лепнины,
Как будто глыбы двух гордынь,
Попы венчают нелюбимых
На всю оставшуюся жизнь.

Попы, как надо, с бородами
И службу правят не спеша.
Но разве в искусе и сраме
С душой сливается душа?

Любовь ещё не восходила,
Но, подчинённые жезлу,
Во тьме кружат паникадила
И освящают кабалу.

Молчит незыблемое небо,
Снега чернеют, как зола…
Во имя денег и потребы
Объединяются тела.

Желая славы и богатства,
По понуждению святынь,
Идут в египетское рабство
На всю оставшуюся жизнь.

Летит из храма запах серы.
Губу кусая досиня,
На пепелище Сальватэрры
В грехе рождается семья.

Давно решённая дилемма…
Но, набирая в грудки страх,
Кричат младенцы Вифлеема
В чужих холодных животах.

Не заживёт сквозная рана,
Продлятся адовы круги.
Беги, красавица, из храма,
Куда глаза глядят, беги.

Пускай обрушится лепнина!
Но ты, свободна и чиста,
Ищи любовь, как Магдалина
Искала мёртвого Христа!

Переправа

Горит в потёмках переправа.
Земля зачитана до дыр.
Поэт и бог имеют право
Махнуть рукой на этот мир.

Горчит божественная память,
Линяет мужество и честь.
Не надо рукописи править,
Пусть всё останется как есть.

Звучит печальная музыка…
В тумане облачных одежд
Поэт и рухнувший владыка
Идут по кладбищу надежд.

Идут от минуса до плюса
Печальной просекой мечты,
Где на могиле Иисуса
Растут зелёные цветы.

Трава и мох — земная слава.
Чума, пришедшая на пир.
Поэт и бог имеют право
Махнуть рукой на этот мир.

И вот горят земные зданья,
Святая рушится стена.
И на обломках мирозданья
Мерцают наши имена.

«Не прячь заплаканные очи,
Не падай с белого коня,
Когда погибнет, Аве, Отче,
Земля от вечного огня!»

Мы будем строить переправу
И восхищаться: «Ого-го!»
Поэт и бог имеют право
Творить миры из ничего.

Мы создадим из звуков слово
И Альпы слепим, словно ком,
И будет чёрная корова
Доиться белым молоком.

Лестница

Много тайных утрачено знаков…
Как побитый камнями изгой,
В теле Гоголя плачет Иаков,
Заблудившись в тумане его.

Он в пустыне Египта плутает,
На Сионе считает ворон
И Всемирный потоп вспоминает,
И горящий во тьме Вавилон.

Он губами пророка глаголет,
Вырывая остатки волос,
И зачем-то кричит на Голгофе:
«Не Варрава умри, но Христос!»

Подчинённый неведомым путам,
Собирая мечты и гроши,
Он взбирается вверх, по уступам
Неизведанной русской души.

По пескам золотым, по отрогам
Он ползёт, повторяя витки…
И в ночи просыпается Гоголь
От чужой непомерной тоски.

Не желая ни зрелищ, ни хлеба,
Он живёт на земле, как во сне,
И кричит в неприступное небо:
«Боже! Лестницу! Лестницу мне!»

И она, как небесная милость,
Опускается прямо к ногам,
И на верхней ступеньке Осирис
Собирает себя по частям.

Над Невою, над злобой поляков,
Гоголь лезет, прощая врагов…
Но вцепившийся в ноги Иаков
Не пускает на небо его.

* * *

Опять шампанское искрится,
Летают пробки через Рим.
Чужая кровь для нас — водица,
Мы снова празднуем Пурим.

О, мы признаемся едва ли,
Что, вырываясь из сетей,
Озверели мы и убивали
Уснувших женщин и детей.

Нас разнесла судьба по свету,
Но каждый год, в любом краю,
Мы лихо празднуем победу
И забываем про резню.

А Провидение незримо
Осуществляет свой догляд:
И снова с праздника Пурима
Мы попадаем в Бухенвальд.

Полёт валькирии

В пространстве Велеса и Одина,
Где вещий камень на пути,
Ликуй, потерянная Родина!
Лети, Валькирия, лети!

Лети, родная, через сумерки,
Верши пленительный полёт!
Над всем забытым, но не умершим,
Над всем, что в памяти живёт.

Лети над турками, над готами,
Вся золотая — до хвоста!
Лети над Нилом, над Голгофою,
Снимай страдание с Креста.

Лети в заветные урочища
Быстрее северных ветров.
Пускай сбываются пророчества
Сожжённых заживо волхвов.

Капитан

Над землёй стоит туман,
Океан кричит и стонет.
Бог всего лишь капитан
Корабля, который тонет.

Лодки канули во тьму,
Пузыри вокруг и пена.
А когда-то ведь ему
Было море по колено.

Было всё — позор и честь,
Негасимый свет над рубкой.
Но не знал я — кто он есть,
Капитан с погасшей трубкой.

Я не знал и знать не мог,
И боялся знать от века:
Отчего упавший бог
Так похож на человека?

Кто он? Чудище? Простак?
Неудача в неудаче?
Почему он хочет так,
А выходит всё иначе?

Мать честная! Тонет Бог
Между звёзд, людей и рыбок…
И качается у ног
Океан его ошибок.

* * *

Тайна выдоха и вдоха.
То ли горе, то ли шок?
Хорошо мне там, где плохо,
Плохо там, где хорошо.

Мирозданье — смех и слёзы,
И вопросов не избыть…
Может быть, летят стрекозы
Страны дальние бомбить?

Сталин

От первых страниц мирозданья,
Прикрывшись Христом, как щитом,
Любые свои злодеянья
Цари освящали крестом.

Он первый соблазны отринул
И, тьму сокрушая мечом,
Христа от себя отодвинул:
«Постой, дорогой, за плечом!»

Забыли об этом живые,
А мёртвое наше — мертво.
Но зло и грехи роковые
Он взял на себя одного.

В Кремле, на коне и на плахе
Творил он священное зло,
И тайно живёт в патриархе
Колючей шинели тепло.

Сегодня попы проклинают
Былое сиянье меча…
А что они помнят и знают,
Что видели, кроме плеча?

Теперь, когда гибнет столица,
В клубок завивается даль,
Я буду неслышно молиться
На эту державную сталь.

Он первый соблазны отринул,
Ломая века и уста,
Он церковь плечом отодвинул,
И церковь осталась чиста.

Сегодня он там, где и надо,
Но, с богом припомнив родство,
Он все преступления ада
Возьмёт на себя одного.

На сопках Маньчжурии

Как будто ступая на плаху,
Сосед мой в квартиру войдёт.
Порвёт голубую рубаху
И сердце на части порвёт.

Он ломик сжимает, как пику,
И пот вытирает со лба:
«Ты слышишь, какую музыку
Играет в потёмках судьба?

Я слушаю, брат мой, и плачу,
Из дома куда-то бегу,
В пивной забываю про сдачу,
Понять ничего не могу.

Бреду по распадкам бурьяна,
По складкам монгольских песков
И вижу в разводах тумана
Мерцание русских штыков.

Я знаю — судьбы не исправить,
Но снова грохочет война,
И эта проклятая память
Меняет во мне времена.

И я на Петровке, за МУРом,
Сажусь на гнедого коня,
Чтоб снова за чёрным Амуром
Японцы убили меня…»

Он ломик сжимает, как пику,
И пот вытирает со лба:
«Ты слышишь, какую музыку
Играет в потёмках судьба?

Мы пьём, обнимаемся, плачем
Над тьмою монгольских песков
И вместе по городу скачем
К мерцанию русских штыков».

Кричит он, и рот перекошен,
И бьёт из-за сопки фугас…
Но с каждой минутою больше
Становится скачущих нас.

Овод

Берёг ли честь я смолоду,
Сгорал ли, как звезда…
Но жить подобно Оводу
Хотелось мне всегда.

Безумно и отчаянно,
Пустив страну на дно,
Мы прокляли Корчагина,
Прославили Махно.

Душа ли стала плоскою,
Но впали мы во грех,
И славу краснодонскую
Сменили «Руки вверх!»

Медведь, не знавший голода,
Смотри через очки:
На смену русским оводам
Приходят собчаки.

Вороны чистят пёрышки,
Обман вершит стежки.
Ликуют перевёртыши,
Но сохнут корешки.

О, нет! Я не воинствую,
Не злюсь, как атеист.
Я постигаю истину,
И я душою чист.

Томлюсь духовной жаждою,
Смотрю в глаза людей…
Господь ведь любит каждого,
Но каждого сильней!

И на крыльце из золота,
Держа в руке мацу,
Христос читает «Овода»
Небесному Отцу.

И мир земной качается,
И тихо плачет Мать…
И слепоту Корчагина
Грешно нам проклинать.

* * *

Среди беспросветных вопросов,
В сиянии звёзд и Креста,
Прости меня, Павлик Морозов,
Прости меня, ради Христа!

Покуда не выросли дети
И гнев выплавляет свинец,
Я твой адвокат и свидетель,
Я твой воскрешённый отец!

Пусть бесы внимают злословью,
Хохочет историк, как тать…
Негоже над пролитой кровью
Обиды и деньги считать.

Тебя вынимают из гроба,
Сжигают презреньем дотла…
А в Библии царствует злоба,
И нет извращеньям числа!

Безумство беду распинает
И злобой ломает уста…
Не тот ли тебя проклинает,
Кто предал когда-то Христа?

Мне слышится голос Иудин,
Из ада летящий сюда:
«Молчите, проклятые судьи!
Свидетелей нет у суда!»

Глазной затуманен хрусталик,
Кощунству не видно конца.
Прости меня, мученик Павлик,
За все преступленья отца…

Осень

Сон зачарованной родины…
Встреча… Разлука… Любовь…
Снова из чёрной смородины
Капает красная кровь.

* * *

Отбурлили годы, отзвонили
Над землёй Ивана-дурака.
Нам любовь и верность подменили,
Обманули на три кулака.

Тает лёд забвения по капле,
Снова дрожь проходит по дворцам.
И опять разгадывает Гамлет
Всё, что недоступно мудрецам.

Наравне с прошедшими веками,
Разводя туманы и беду,
На стене Кремлёвской возникает
Тень Отца, убитого в саду.

Та же боль и та же ноет рана.
Но, храня достоинство и грусть,
Я люблю печального тирана
И признаться в этом не боюсь.

Что мне страх, страдания и подлость,
И привычно врущие уста?
Ведь любую сталинскую подпись
Утверждали ангелы Христа.

И дорог для выбора немного,
И открыт для истины секрет:
Или Сталин был сильнее Бога,
Или Бога не было и нет.

Так, сметая вымыслы и бесов,
Ради нас, оставшихся в живых,
Торжествует промысел небесный
Над тщетой пророков записных.

Пропажа

Пропал поэт, пиит печали.
С утра свершилось волшебство:
Паром ушёл, но не причалил,
Как будто не было его.

Забыты ямб, хорей и дольник,
Горящий взгляд и бледность щёк…
Паром… Бермудский треугольник…
И чёрти знает, что ещё.

Ленивый поиск брал отсрочки,
Майор потягивал вино
И, удивляясь каждой строчке,
Шептал сержанту: «Мудрено!»

Ну, вот и всё — про то и это,
Хотя на следующий год
Паром вернулся без поэта
По гребешкам протёкших вод.

И были длинные допросы,
И пересуды — ого-го!
Но в стельку пьяные матросы
Не говорили ничего.

Пройдут зима, весна и лето,
Майор забудет ерунду.
Но он припомнит то и это,
Когда я тоже пропаду.

* * *

Память — базарная площадь.
Сердце — холодное дно.
Русские русским не помощь,
А наказанье одно.

Судеб разорваны звенья,
Писем любимым не слать...
В горечи, в горе, в забвенье
Некому руку подать.

Нет, не спьяна, не в гордыне
Выдохну, Русь не виня:
«Где же вы, где же, родные?
Что ж вы забыли меня?»

Руки во тьму простираю…
После нелепых смотрин,
Господи, я умираю.
Ночью. В России. Один.

* * *

Опять я всё тебе прощаю,
Упрямой, ветреной, блажной…
Вернуть письмо? Не возвращаю
Того, что ныне стало мной!

Пока я жив в оковах займа
Любви с глазами декабря,
Клянусь тебе, что эта тайна
Не станет адом для тебя.

Во мне одном огонь таится,
Напрасно ангел протрубил.
Я сам себя закрыл в темнице
И ключ от двери проглотил.

* * *

Не ровен час… То вера, то остуда…
Ты всё забыть, любимая, вольна.
Но нет границ для истинного чуда,
И нет законов, созданных для сна.

Не ровен час… То встреча, то разлука…
Забудешь ты, что мы с тобой одно…
И я умру, наверное, без звука,
Как умирать поэтам суждено.

Не ровен час любови и обмана.
Я умирал и снова воскресал…
И всё же свет Изольды и Тристана
Над нами тоже ярко просиял.

* * *

Боже, где-то, иногда,
Вот сейчас, быть может, боже,
Счастье мирного труда
Сделай нам всего дороже.

Не исчерпан крестный путь.
Но Россию рвут на части.
Боже мой! Когда-нибудь
Поклонись Советской власти!

Наперекор

Живу судьбе наперекор.
Отпела Русь, отговорила.
Под каждым деревом — топор,
Под каждым облаком — могила.

Куда ни взглянешь — всюду топь.
Шагнёшь на мост, а он сгорает.
Как будто это речка Злобь
По всей России протекает.

Дороги вещие во мху,
Застрял обоз в болотной жиже.
Святая правда — наверху,
А мы живём немного ниже.

Дорога — сон, а даль пуста.
Страданье русское — бессрочно.
Но Русь, как Дева у Креста,
Во мне чиста и непорочна.

Пускай проходят времена,
Меняя лица и одежды…
Но только Родина одна
Вернее славы и надежды.

Сомкни кричащие уста,
И станет вновь твоей судьбою:
За высотою высота,
И глубина за глубиною.

* * *

Твои глаза — святые знаки,
Дорога в небо — наугад.
Но вся земля лежит во мраке,
Когда печалится твой взгляд.

Не омрачай печалью сердце,
Не верь разлуке никогда.
Ведь без тебя не всходит солнце
И не горит в ночи звезда.

Не надо хмуриться, не надо!
Сей свет любимому неси.
А если он погиб от яда,
Склонись над ним и воскреси.

Пастораль

Я живу один, за речкой,
Слышу тайные шумы.
Но и здесь мне не заречься
От тюрьмы и от сумы.

Эта мука длится, длится,
Точит камень, не спеша.
Но не может отделиться
От страдания душа.

Ворон каркает на липе,
День уходит в никуда.
В каждом шорохе и всхлипе —
Тайна Божьего суда.

Страшно пить, но жить страшнее,
А тем паче — одному.
Я скулю, склоняю шею,
Как Каштанка и Муму.

Всё на нитку, на живую,
Сшито ветром и дождём.
Где ты, Боже? Я бомжую
В мироздании твоём.

Из Твоих, еси, из правил
Вспоминаю Днесь и Впредь.
Я судьбу свою исправил,
Чтобы молча умереть.

Скоро трезвый и рисковый,
Убежавший от жены,
Деревенский участковый
Постоит за честь страны.

Он всё больше свирепеет,
Пьёт вино и рвёт гармонь,
И в глазах его репейник
Полыхает, как огонь.

Он берёт меня измором,
Ждёт набега у бахчи,
Через лес идёт дозором,
Чистит маузер в ночи.

Как темны в России ночи,
Сколько ветра в камыше!
Но с тобой мне, Аве Отче,
Рай и в этом шалаше!

* * *

Я люблю своё время и место,
Шорох трав и мерцанье огня.
Эта жизнь, как чужая невеста,
Никогда не полюбит меня.

Под вечерней зарёй, под луною,
Под высокою славою тризн,
Я не знаю, что будет со мною,
Но люблю уходящую жизнь.

У реки, у бездонного края,
В золотой безнадёжной глуши —
В двух шагах от небесного рая,
В двух шагах от бессмертья души!

* * *

Забытая богом сторонка,
Церквушка, ушедшая в тень.
Качается лодка-долблёнка
На озере белом, как день.

В руке моей звёзды левкоя,
Картошка печётся в золе.
И хочется сердцу покоя,
Которого нет на земле.

Закрою усталые веки
И выдохну, словно дурак:
«О боже! На вечные веки
Оставь это место вот так:

Пусть зреют левкой и солодка,
Цветёт у калитки сирень,
И вечно качается лодка
На озере белом, как день!»

* * *

Всё проходит, манит и проносится мимо.
Только глазом моргнёшь — и уже не достать.
Понимаю, что жить на Земле нестерпимо,
Но и мимо Земли нелегко пролетать.

* * *

Надо людей после смерти ругать,
Все их грехи на земле вспоминать,
Чтоб не хотелось уже никому
Так уходить во вселенскую тьму.

Памяти Анатолия Цветкова

Мы ворчали: «Занесло!
Здесь не выживет и кошка!»
Речка, рощица, село
Нам видны в его окошко.

Пара стоптанных штиблет,
Свет, горящий на пределе…
Здесь потерянный поэт
Умирал на той неделе.

Стол. Подсвечники. Тетрадь.
Мало слов, а мыслям тесно:
«Страшно жить, а умирать
Просто страшно интересно!»

Кто-то шепчет: «Повезло…
Умирал, как все поэты…»

Речка. Рощица. Село.
Стол и рваные штиблеты.

Последняя строка

Как полк, убитый на параде,
Как знамя мёртвого полка,
В последней сумрачной тетради
Кричит прощальная строка.

Летит, летит она над веком,
Над каждой пропастью земной:
«Родиться русским человеком —
Какое счастье, боже мой!»

Неважно

Неважно, Женя, как мы пели,
Неважно — пить или не пить…
Мы только то, что не успели
С тобой при жизни полюбить.

Нас жизнь лепила и ваяла,
Но, Женя, Женя, в смертный час
Мы только то, что просияло
И навсегда погасло в нас.

Мы жили, Женя, врозь и розно,
Бессильно чувствуя во мгле,
Что мы живём то слишком поздно,
То слишком рано на Земле.

Что слёзы, Женя, гнев и сила,
Святых писаний парафраз?
Мы только то, что нас манило
И не сбывалось каждый раз.

Судьба не стала больше слова,
Струна не стала тетивой…
И потому мы будем снова
Меняться судьбами с тобой.

По воле Зевса и Эреба,
Без слов, без крика, без следов
Мы будем снова падать с неба
В тоску соседних городов.

И что нам, Женя, брызги славы,
Туман в глазах и в горле ком?
Мы только крик и стон Державы
С давно простреляннным виском…

Мы будем снова пить и плакать,
Ведь в центре божьего холста
Мы только паперть, только паперть,
Где Магдалина ждёт Христа.

* * *

Забудь меня немедленно, сейчас,
Когда идут обиды на подмогу,
Когда надежда тает, словно Глас,
Не долетевший к заспанному Богу.

Забудь меня, убей меня во сне,
Не продлевай агонию земную;
Забудь, как небо забывает снег,
Как забывают родину святую.

* * *

Казалось, я умер. Но выдался май!
Я в жизни не видел такого!
Проснулся — счастливый! Хоть имя меняй!
Хоть бога выдумывай снова!

Как будто бы разом простили грехи,
На подвиги — благословили.
И в небе кричали мои петухи,
Которых вчера зарубили!

Калейдоскоп

На улице старой, в аллее мечты
Все грустные люди на тени похожи.
Я к ним подхожу: это ты? это ты?
Но люди бегут, как мурашки по коже.

В опавшем лесу, где вздыхают грибы,
Где жёлтые травы под ноги ложатся,
Примяты приметы, а знаки судьбы
Горят на ветру и в потёмках кружатся.

На улице старой, в аллее мечты,
Убили шарманки тоску звездопада.
Всю ночь валерьянку глотают коты,
Смеются паяцы в лицо маскарада.

Но взрыв фейерверка и хохот чертей
Опять разрывают видения в клочья.
Одни лишь гетеры в тени тополей
Стоят на пути моём, как многоточья.

Плюются с балконов на них старики,
Помёт голубиный по окнам сползает.
Бегу наугад я — на запах реки,
Река подо мною до дна промерзает.

Один среди льда я, один посреди
Великого сна, беспрерывной мороки.
И, как изваянья, стоят впереди
Последние сроки. Последние сроки.

* * *

Я эту земную судьбу не люблю,
Живу в ожиданье разлуки
И воздух губами нездешний ловлю,
И слышу нездешние звуки.

Родное моё — затерялось вдали,
Чужое — непреодолимо.
Мне страшно стоять посредине земли
С тоскою забытого сына.

К чему мне озёра, ветра, зеленя
И вечность — короче записки?
Зачем мне надежда, душа и земля,
Где нет постоянной прописки?

Река холодна, а долина пуста,
Любое прозрение — слепо.
И смотрит Иуда глазами Христа
В огромное синее небо.

* * *

Не верь небесному покрову,
Не верь, что это звёздный час…
Мою надежду Бог не спас,
Согнув ей спину, как подкову.

Тоской раздавлен каждый скит,
Смердит библейская дорога…
Иону, верящего в Бога,
Переварил библейский кит.

Идти бы к свету напрямик —
Туда, где мир не больше слова…
Но тает жизнь моя, как крик
Всё потерявшего Иова.

* * *

У горящих прощальных рябин,
У берёз, что стоят без одежды,
Обмани ты меня, обмани,
Подари мне былые надежды.

Не стихают во тьме бубенцы,
И уныло — в земное мерцанье
Мои мысли идут, как слепцы,
За такими же злыми слепцами.

Но не тает заснеженный взор,
Не светлеют владенья Эреба.
Я сегодня напьюсь, словно вор,
Потерявший отмычки от неба.

* * *

Когда-то рухнут пирамиды,
Сгорит навеки царство лжи,
И ты простишь мне все обиды,
Сходя с престола госпожи.

Мы выйдем в сад — Адам и Ева,
С другой начертанной судьбой,
И сам Господь, невольник гнева,
Подаст нам яблоко с тобой.

Я взглядом мир земной окину,
Скажу тебе: «Пойдём домой,
Найдём в глуши мою могилу
И посмеёмся над собой!»

Надежда

В снегах потерянная речка,
Село у бога на виду.
И, как оплавленная свечка,
Колодец светится во льду.

Позёмки солнечные кольца,
Метели хрупкая парча.
И ты у белого колодца
Стоишь, как белая свеча.

Я будто заново родился,
Когда напился из ведра.
Как хорошо, что я не спился
И не повесился вчера.

Вчера мне верилось едва ли
В разлив душевный и размах…
Но, боже мой! Какие дали
В твоих оттаявших глазах!

Село, колодец и тропинки,
Снежинки падают с ветвей.
Надежда — тоньше паутинки,
А целый мир повис на ней.

Пастушок

Стучит по дороге слепой посошок.
Зима как дыхание ада.
Как больно и грустно, что я пастушок
Большого заблудшего стада.

Грехи и сомнения бродят во мгле,
Витает не дух, а потреба;
И нас прижимает к холодной земле
Высокая ненависть неба.

Опять поднимаю заблудших овец,
Мне большего в жизни не надо…
Куда мне вести это стадо, Отец,
Куда мне вести это стадо?

Я воду ношу

Я воду ношу, раздвигая сугробы.
Мне воду носить всё трудней и трудней.
Но как бы ни стало и ни было что бы,
Я буду носить её милой моей.

Река холоднее небесного одра.
Я прорубь рублю от зари до зари.
Бери, моя радость, хрустальные вёдра,
Хрусти леденцами, стирай и вари.

Уйду от сугроба, дойду до сугроба,
Три раза позволю себе покурить.
Я воду ношу — до порога, до гроба,
А дальше не знаю, кто будет носить.

А дальше — вот в том-то и смертная мука,
Увижу ли, как ты одна в январе
Стоишь над рекой, как любовь и разлука,
Забыв, что вода замерзает в ведре…

Но это ещё не теперь, и дорога
Протоптана мною в снегу и во мгле…
И смотрит Господь удивлённо и строго,
И знает, зачем я живу на Земле.

На улице Гоголя

1.

Моей судьбе хватало мраку,
Я нежен был и был жесток,
И зло тянулся к Пастернаку,
Как с корнем вырванный чеснок.

И вот теперь — на дне удачи,
Как на сгорающей звезде,
Я третий день живу на даче,
Где гений дремлет на гвозде.

Грустит великий Евтушенко,
Посевы молодости жнёт.
Его душа — самосожженка,
Подобно Фениксу живёт.

Она живёт в Отце и Сыне,
Грешит и мучается в нас.
Никто не знает, кто он ныне,
И кем он будет через час.

2.

Когда заря Россию будит
И ночь приходит в свой черёд,
Он принимает всё, что будет,
И всё, чем был, не предаёт.

И от тоски апофегеев
Идут к нему со всех концов
То вечный Веня Ерофеев,
То пропадающий Рубцов.

Скулят на улице собаки,
По соснам бродит серебро.
И всё сливается во мраке
В одно великое добро.

3.

Он не искал в сраженьях прока,
Не падал в ноги палачам.
Но всё, что он когда-то проклял,
К нему приходит по ночам.

Он видит всё, не спит, болеет,
Большой и низкий, как поклон,
Он сам себя в себе жалеет,
Как будто это был не он.

И отступает меч Дамоклов,
Восходит совесть на престол,
Та, что озябла и промокла
Под звёздным флагом и крестом.

И что Америка? Вернулся.
Поцеловал родной исток.
Потом от счастья задохнулся
И лучше выдумать не мог!

Так день и ночь — проходят сверку
Слова, рыдания и смех,
И чей-то голос льётся сверху:
— Любите всё! Любите всех!

4.

Где-то пыль завивалась винтом,
Где-то слава готовилась к тризне.
Стали мы неподкупным судом
Для своей очарованной жизни.

Сколько раз рассыпались мы в прах,
Подменяя событья и лица,

Сколько раз огнедышащий страх
Поджигал потайные страницы!

Всё прошло, старина, не злословь,
Наполняй состраданием сердце,
Если чья-то невинная кровь
В нашем теле не может согреться.

Все мы жили порой невпопад
И качались у самого края…
Это рай, раскрывающий ад,
Это ад, выходящий из рая.

Это сумрачных мыслей набег,
Это голос немыслимой жажды:
«Сколько можно нам падать с небес
И с вершин, покорённых однажды?»

5.

Сны проходят, теряются сказки,
Так бывало и есть искони.
В ожиданье не лучшей развязки
Я провёл свои лучшие дни.

Что душа? Немоты уроженка,
Позабытая матушкой дочь…
Мне неведомо, как Евтушенко
Смог увидеть её и помочь.

Среди снега, потёмок и сосен
Третью ночь я брожу напролёт.
Был вчера ядовит и несносен,
А сегодня растаял, как лёд.

Евтушенко. Терновник. Розарий.
Холод льда и дыханье огня.
Но порою моими глазами
Он с любовью глядит на меня.

6.

Уходит время по минуте,
Дорога Млечная дрожит.
Вся боль туманных перепутий
Его душе принадлежит.

И вспоминая дни былые,
Поэт читает по слогам:
«Мне все враги теперь родные,
И я не враг моим врагам!»

Стерев случайные обиды,
Смахнув разгаданные сны,
Он видит завтрашние виды
В разливе блоковской весны.

В туман и дождь, когда не спится,
Когда грустит знакомый клён,
Он согревает даты, лица
И лёд нетающих времён.

И говорит мне: «Знаешь, Миша,
Мой век не случаем продлён…
Быть может, мир, к окну пристывший,
Моей любовью искуплён?»

Я пью вино и замираю,
Сличаю дни и вечера,
И в небо крылья простираю,
Которых не было вчера.

7.

Грянул гром, и сошли с высоты
Две строки из тумана и света:
«Ученик переходит на «ты»
По великому праву поэта!»

В золотых и железных мирах
И в земной роковой круговерти

Из короткого выдоха «ах!»
Возносились стихи и бессмертье.

В безвозвратности судеб и лет,
Утекающих в звёздные реки,
Дай мне руку на счастье, поэт,
Перед тем, как проститься навеки!

Может быть, мы не встретимся впредь
На земле у родного порога…
Но не могут стихи умереть —
Те, что к нам приходили от Бога.

Я терплю эту жизнь и люблю,
И, мосты воздвигая над Летой,
На Олимпе соломку стелю
Для падения новых поэтов!

Облака Блока

1.

Россия, Русь! Ты всё забыла.
Но звёздный час пробил во мгле.
Мы вспомним всё, что с нами было,
И кем мы были на земле.

Сойдёт с иконы мать Мария,
Исчезнет город на песке…
Пройдут наркоз и летаргия,
Как лёд проходит по реке.

Из дыма выйдут староверы,
Растают снежные псалмы.
Проснутся скифы и шумеры,
И в них себя узнаем мы.

Там, далеко, где было пусто,
Среди непризнанных полей,
Вздохнёт усталый Заратустра
Твоею грудью и моей.

Качнётся даль, и прояснится
Вдали на десять тысяч лет.
Мы наконец вглядимся в лица
И в темноте увидим свет.

Туман отступит, и отныне
Мы будем видеть, будем знать,
Что там, вдали, мы все родные,
И Русь одна была нам мать.

Не прекословь! Отныне поздно!
Мы долго жили в кабале…

Но Аполлон легко и грозно
Доверил истину стреле.

Она летит в туманы века
Над сединой забытых рек
И поражает человека,
И оживает человек!

2.

Смотри, мой брат, стерев обиды.
Как торжествует в нас гроза,
Как в золотом лице Исиды
Сияют русские глаза!

Пускай врагов моих не греет
Огонь великий среди тьмы…
Да, скифы мы, гипербореи,
Этруски — это тоже мы.

Пусть Камелот дрожит и плачет,
Но через морок и сумбур
Король Артур на Волгу скачет,
Как князь по прозвищу Яр Тур!

Смотри, мой брат, свободу сея
И отводя рукою сон:
Наш предок в лике Моисея
Ведёт евреев на Сион.

Ложится тьма ему на плечи,
Но свет не гаснет на челе:
«Россия, Русь! Ты есть предтеча
Всего, что будет на земле!»

3.

Мы помним ханские сараи,
Мы помним царские умы.
Мы — самаряне, самураи,
Друиды кельтов — тоже мы.

Смахни рукой века и дали
И жажду славы утоли:
Мы тайну Сфинкса отгадали
И Рим до неба вознесли!

Мы дети утреннего света,
Мы жили, вечности внемля.
Но тьмою Ветхого Завета
Потом наполнилась земля.

Иссякли русские истоки,
Оглохли наши глухари.
Нам врали книги и пророки,
Нам врали звёзды и цари.

4.

Россия, Русь! Судьба холопа,
Потёмки, рабство, круговерть…
И ты, смердящая Европа,
Благословляла нашу смерть.

Мы всё прошли — мечи и латы,
Горнила битвы и труда.
И вот всё ближе час расплаты
И время божьего суда.

Молчи, молчи, Европа-дура!
Смири воинствующий ток!
Полки разврата и гламура
Ты посылаешь на восток.

Читая Библию и Тору,
Храня религию, как дом,
Ты превращаешь мир в Гоморру
И в богом проклятый Содом.

И каждый день обиды множит,
И вяжет злоба невода.
Но Русь и это переможет,
Нам ваша злоба не беда.

Вы захлестнуть хотите кровью
Цветок, взошедший на крови…

А мы глядим на вас с любовью,
И нам не жаль своей любви.

Ведётся с Игоря, с орды ли,
Придумал гог или магог,
Но вы всё так же нам родные,
Вы наши дети, видит бог.

Все наши сказки и напевы
Понятней вам любого сна.
Вы наши давние посевы,
Мы всё вам отдали сполна.

Смиряя ливни и бураны,
Храня в себе земную соль,
Мы зализали ваши раны,
Превозмогли всю вашу боль.

И не погибнув от отравы,
Отвыв, отплакав, отскорбя,
Мы, в двух шагах от вечной славы,
Европа, смотрим на тебя.

Ты стала зрением и нюхом,
Но там, где нам придётся жить,
Россия будет светом, духом,
А дух нельзя остановить.

Ну, что же, глупая? В гордыне
Ты так боишься быть собой…
Сестра, сестра! Мы есмь родные!
И что же, снова вечный бой?

В последний раз в лучах зефира,
Вбирая тот и этот мир,
Взывает варварская лира
На светлый пир, на братский пир.

Пусть всё — от устья до истока —
Единым станет на земле…
Пусть облака с мечтами Блока
Плывут и светятся во мгле!

Монолог Гамлета

Что жизнь моя? Родная, подскажи!
Я царь и бог, я муха в паутине.
От вероломства, зависти и лжи
Всю жизнь бегу, как лошадь на картине.

Кто я? Кто ты? Не знаю, не пойму,
Зачем опять мы в мире повторились,
Зачем всё ту же выбрали тюрьму,
Где мы напрасно пели и молились?

Когда весь мир чудес не признаёт,
Когда толпа всевластна и горласта,
Зачем любовь из пепла восстаёт,
Как чудный свет из тьмы Екклесиаста?

Вот мой удел, встающий выше гор,
Постигший всё — и небо, и трясину…
И если ангел скажет: «Nevermor…» —
Я рассеку меж нами пуповину!

Верну назад расписку и залог,
Сожгу в огне заветы и скрижали.
И пусть о мести не мечтает Бог,
Я — скорпион, я сам себя ужалю.

Волопас — созвездие медведя

Над долиною ворон кружит.
Под ногами Европа дрожит.

Это русские боль и тоска,
Словно стрелы, свистят у виска.

Пусть не ровен на Родине час,
Но не гаснет звезда Волопас.

И устои людские круша,
Возвращается в тело душа.

Закрывайтесь, святые гробы,
Разбегайтесь по свету, жлобы!

Из берлоги выходит, как смерть,
Породивший Россию медведь.

И летит между тучами глас:
«Волопас! Волопас! Волопас!»

Разбегайся по свету, толпа,
Возвращается время Серпа!

Раскрывается тайна небес,
И восходит на царство Велес.

И Добрыня встаёт из репья,
Возвращается время Копья.

И кричат царедворцы: «Атас!
«Волопас! Волопас! Волопас!»

И ликует державная медь,
И смеётся на троне медведь.

И летит его царственный тост
Над державою, как Алконост.

И кричит он, и плачет про нас:
«Волопас! Волопас! Волопас!»

Псалом

Встань, пройди по черноталу
И, планиду не коря,
Полюби свою опалу,
Как награду от царя.

Тучи, демоны, враги ли —
Помни, падая без сил:
Ни одной слезы Вергилий
В круги ада не пролил.

Через годы, беды, даты,
Сквозь божественную муть,
Жизнь проходит, словно Данте,
Позабыв обратный путь.

Но, стеная и тоскуя,
За соломинку держись
И люби её такую,
Непохожую на жизнь.

Не сдавайся лилипутам.
В темноте вороньих стай
Пей проклятую цикуту
И Сократа поминай.

А потом…

«Мы предтечи твои.
Мы — предтечи.
Звук дождя и волны,
Чудный лепет тумана,
Свет холодной луны
И усмешка обмана —
Всё в стакане сухого вина.
Пей до дна!»

«А потом умереть.
Так ведь?»

«Мы предтечи. Не спи!
Дремлет тайна в степи.
Тайный запах корней,
Горечь верной полыни,
И дыханье дождей
И отзывчивость сини —
Всё в глотке молока,
Его вкус — на века».

«А потом умереть,
Так ведь?»

Диктовки Артюра Римбо

По мёртвой реке я всё ниже спускался,
Канаты и путы оставив рабу.
Шаман краснокожий кричал и ругался,
Вчерашний мой труп пригвождая к столбу.

Я выбросил за борт матросскую смуту,
Зерно воскресенья и пряжу ума.
Я сжёг паруса, искорёжил каюту
И срезал с предплечья остатки клейма.

Дыханье зимы вырывалось из бездны,
Пустыни и волны позёмкой мели.
И все берега были мне неизвестны,
И я был никем для пропащей земли.

Ревел океан, расходился, как рана,
Метались в потёмках седые быки,
Я слышал один, как под лавой вулкана
Напрасно кричали мои маяки.

Я проклял причалы далёкого мира,
Разбил все оковы, согнул якоря.
Я сам себе плаха, палач и секира,
Я жил в этом мире напрасно и зря.

Мне ветер натягивал нервы и скулы,
Дарил мне утопленник мокрый оскал.
Мой нос, как плавник леденящей акулы,
Пространство и время легко рассекал.

Во тьме, обретая забытые лица,
Глотая кровавые капли зари,

Летели во мне небывалые птицы
И рвали на части меня изнутри.

Летела душа моя. Птицы летели.
Кричали созвездия: «Не прекословь!»
Под богом, под небом, в разодранном теле
Любовь умирала. Рождалась любовь.

Оставшись один в глубине созерцанья,
За гранью любых человеческих сил,
Просеял сквозь пальцы я все прорицанья
И все миражи в кулаке раздавил.

Прекрасна земля и душа без обмана,
Прекрасна походка убитых зверей.
Прекрасно, когда вся тоска океана
Вмещается в утренний крик журавлей.

Во мне рассыпались песчаные дали,
С испанской гитарой сливалась зурна,
Во мне африканских рабов бичевали,
И степь бороздила во мне борона.

Во мне все туманы и все бездорожья,
И рыцари в латах, и хан на коне.
И божья роса, и пустыня безбожья —
Всё это смеётся и плачет во мне.

Могу я коснуться коленок Флориды,
Могу, как пантера, валяться в цветах,
Где дождь изливает былые обиды
И радугу держит на влажных губах.

В печали забытого Левиафана
Я вижу рожденье бездонных болот,
Где травы полны семенами дурмана,
Где жертв завлекает к себе бергамот.

Я вижу кораллы и сон перламутра,
Я вижу могилы неведомых слов,

Где нежность и вера, свобода и мудрость
Становятся пищей для чёрных клопов.

Я вижу, как ищут родителей дети,
Как нищий калека глядит в небеса,
Как лунные рыбы плывут через сети,
Как ветер ласкает всю ночь паруса.

Легко проплывая медузой и рыбкой,
Умея лишь отзвуком отзвука быть,
Я пел колыбельные песни над зыбкой
И бога пытался о счастье молить.

Я принял в себя — и страданья, и горе,
Открыта душа, как последний приют.
И все моряки, утонувшие в море,
Во мне оживают и песни поют.

Ветра, небеса, осьминоги и дети,
Душа без конца и простор вековой.
Но вижу и знаю, что где-то на свете
Слепую погоню готовят за мной.

Ну, что же, плывите до Стикса и Леты,
Теперь вам нескоро добраться туда,
Где белые перья макают поэты
В пустыни разлуки и море стыда.

Пускай между звёзд и задумчивых гадов
Плывёт монитор очумелой Ганзы.
Под светом больших электрических скатов
Дерзайте, поэты, гомеры мои!

О буйстве весеннего гелиотропа,
О грезах Мольстрема на розовом дне,
Наверное, скоро узнает Европа,
Чтоб раз навсегда позабыть обо мне.

Светись во Вселенной, корабль подожжённый,
Пляшите в Париже всю ночь веера.
Ужели отсюда, как тать прокажённый,
На вечные веки я изгнан вчера?

Ну, что же, ну, что же, и злоба холопа,
И пламя любви — это всё от меня.
В моём указательном пальце, Европа,
Живи, ненавидя меня и кляня.

Другие мальчишки пускай у причала
Стоят, бескозырки свои теребя,
Пускай они ищут концы и начала,
Которых давно уже нет у тебя.

Моя симфония

1.

Да будет ночь совокупленья
Не знать ни промаха, ни тленья.
Пусть никогда последний срок
Не бьёт в простреленный висок.
Мы все в земной лежали тверди,
Но там и следа нет от смерти.
Там торжество небесной власти
Соединяет наши части.

Гори, гори во тьме, Венера,
Чтоб оживала наша вера,
Чтоб начиналась в мире сечь,
Когда нам нечего беречь.
Пускай все ведьмы и русалки
С людьми опять играют в салки.
Гори, гори, моя дорога,
В огне слепого Солнцебога,
Чтоб мы отныне тайну божью
Не укрепляли нашей ложью.

Пусть Пан играет на свирели
И чёрт качает на качели
Девчат, летящих в облака,
Чтоб стать белее молока.
Гори, Звезда! Во всё начало,
Чтоб туча туче отвечала,
Чтоб колесницы мчались в небе,
Вздымая юбочку на Гебе.

Гори, Звезда, легенды сея
В камнях гробниц и Колизея,

Чтоб раздвоила нашу суть
Твоя божественная грудь.
Струись, струись, святое млеко,
Для вечной жизни человека.
На все грядущие века
Нам быть белее молока.

Но мишура повсюду, ленты,
А мудрецы — все импотенты.
Законы, мудрость — тёмный лес,
Куда свалился Бог с небес?
Корми же нас, корми, Кибела,
Отдай нам всем святое тело.
Пускай с таинственного дна
Всплывёт Астарта, как луна.
Пусть станет светом на века
Дрожащий свет её пупка.
Гори, звезда! Гори, Венера!
Гори, проклятая фанера!

2.

Плыви из бездны, Афродита,
Уже земля твоя разбита.

Мы разбиваем стены лбом,
Но свет не виден за крестом.

Нам говорят — там нет дороги,
Там спят опущенные боги.

Там тьма и тьма. Живите тут.
А тут сомнения цветут.

Одежда, споры, паутины,
И догмы плавают, как льдины.

Где наше небо? Где наш дом?
Не видно света за крестом.

Где наша женщина святая?

Без пут — распутная — святая?
Она одна — в тюрьме, в ночи

Найдёт небесные ключи.
Свети, свети в ночи, Венера,

На стол любого акушера.
Стучи по попке малыша!

3.

Пока жива ещё душа!

4.

Атланты, мамонты и птицы,
Пора и вам бы воротиться.
Пора, пора во все глаза
Смотреть в родные небеса.
Любая тропка и дорога
Бежит от бога и до бога.
Но если нет к нему дорог,
Тогда ты сам и чёрт, и бог!
Тогда ты сам — закон и мера,
И для Венеры ты Венера.
И для любой речной улитки
Восход — тепло твоей улыбки.
И Пан в оттаявшем апреле
Ещё споёт в твоей свирели.
Для рек, для птиц и камыша…

5.

Пока жива ещё душа.

6.

Ну, что? Распутались с долгами?
Ну, вот и стали мы богами.
На теле нет ни вшей, ни ран,
И друг, и враг — единый храм.
Мы вместе скрылись от погони,
И чувства ржут в ночи, как кони.

В душе опять по воле волн
Идёт Иисус, надеждой полн.
И высыхают, словно слёзы,
Неразрешимые вопросы.
Горит, горит в тебе Венера,
И нет невзятого барьера.
Я гол сегодня, как сокол,
Но так кончается раскол.

7.

И плыть, и плыть рекою млечной,
Рекой — туманной, подвенечной.
Глядеть, волнуясь, с высоты
На попку девочки-мечты.
Бросать в неё крупицы страсти
И знать, что нет над нею власти.
Сосков груди её касаться
И целый век не просыпаться.
Смотреть, смотреть, как Ариадна,
В прошедший день и видеть завтра,

8.

И жить, на небо не спеша,
Пока жива ещё душа.

Золотой век

Две минуты до рассвета,
Тает льдинкою луна.
Кто я? Что я? Нет ответа,
Только ночь и тишина.

Не бросать мне зёрна в пашню,
Не кормить лесных синиц.
Я карабкаюсь на башню
Скоморохов и блудниц.

Засвистит дыра в кармане,
Запоёт в душе тоска.
Жизнь моя — тростник в тумане
И свирель из тростника.

Где-то в небе анапесты
Ловят рифму-журавля.
Словно грудь чужой невесты,
Дышит песенка моя.

Поднимаясь на носочки,
Как таинственный Годэ,
В каждой строчке ставит точки
Вместо знаков и т.д.

Бьётся лунная позёмка
Вьюгу кружев теребя.
Как же звонко там, где тонко,
Что-то рвётся у тебя.

Грешный час — орешек грецкий,
По зубам ли страсти он?
Ангел с гордостью немецкой
Строит в небе бастион.

Ходят стражники по краю
Стен, родившихся из стен.
Ангел мой, я умираю,
Я ползу из плена в плен.

Но в порыве отрицанья
Жизнь, похожая на ночь,
Ставит знаки восклицанья,
Многоточия и проч.

Что там слева? Что там справа?
Пыль да мёртвые слова.
Тишина. Луна. И слава,
Словно нож из-за угла!

Ангел мой не затоскует.
Лишь несбыточный Годэ,
Как кукушка, закукует
Роковые и т.д.

Я всё замечу

Поют серебряные трубы,
Дрожит расколотый бокал.
Целуют трепетные губы
Себя в мерцании зеркал.

Я всё замечу, всё увижу
И, погружаясь в забытьё,
Лицо к речному льду приближу,
Там — отражение твоё.

В степную даль вхожу ли, в лес ли,
Я понимаю, сам не свой,
Что этот мир прекрасен, если
Его не сравнивать с тобой.

* * *

Что-то где-то отзвучало,
Где-то чей-то гаснет лепет.
Нет конца и нет начала,
Кто-то лепит нас и лепит.

Было — сплыло, позабылось.
Только холод звездопада.
И зачем, скажи на милость,
Повторять мне слово: надо.

Жить и плакать под сурдинку,
И смотреть, как в час вечерний
Над землёй летят в обнимку
Жизнь и смерть в одних качелях.

Воспоминание

1.

В одной слезе счастливого ребёнка
Увидеть свет невиданных морей,
Смущенье лилий, трепет простыней
И темноту, где спрятана иконка.

Твержу молитву: «Господи, храни.
Себя храни и в луже, и в любови,
В ночной реке, чернеющей от крови,
Где до утра танцуют пескари».

2.

Открыть окно — в бессмысленные капли,
Смотреть на то, как светится вода,
Как ивы проплывают в никуда
И девушки взлетают, словно цапли.

Смотреть, как смотрят ангелы в бреду,
Как смотрит вниз Спаситель пригвождённый,
Где мир стоит, как будто бы спасённый,
Но я к нему дороги не найду.

Смотреть, как смотрит на живое смерть,
Её восторг безбрежен, словно верность.
И день за днём её сжигает ревность
К тому, что вечна эта круговерть.

3.

И женщина! И женщина ли это?
Под зонтиком все радости тая,
Она глядит, как вянут тополя,
Как лепят дети радости из света.

Они в песке — без правил и вериг,
Им не нужны большие фолианты.
А нашей даме видятся атланты,
Навстречу ей бегущие из книг.

4.

Туман постель взбивает на поляне,
Трава от страсти млеет и блестит.
Пузырь из мыла в прошлое летит,
И барабан ликует в балагане.

Туман, туман… И дама, и суда —
Всё лепится из призрачного теста.
Старик-рыбак сойти не может с места,
Как будто ловит юные года.

5.

Пустая лодка пляшет на волнах,
Я рву цветы и травы водяные,
Зелёные и светло-голубые,
Но пустота цветёт в моих руках.

Невидимые нити паутины
Над каждым лесом, речкой и бугром.
Не мной ли нарисованы кругом
Все эти иллюзорные картины?

Праведник

Он в дом вошёл. Ни рано и ни поздно.
Раздался голос низкий, как поклон.
Его глаза как брошенные гнёзда!
Но в них — мои, украденные, звёзды
Увидел я. И это понял он.

Он побледнел, как камень у дороги,
Потом вскипел, как закипает бой.
Его глаза, как звёздные подлоги,
Моим мечтам писали некрологи.
И он вздохнул: «Я весь перед тобой».

О, Праведник, измучивший вериги,
Свои мечты давивший, как клопов,
Ты прочитал божественные книги,
Ты жил как червь во внутренности фиги…
Зачем тебе видения глупцов?

Зачем тебе ходить на пепелище,
К пустому кубку губы прижимать?
В глотке воды ты бурю не отыщешь
И соловьём убитым не засвищешь,
А против Бога поздно бунтовать.

Тебе пора сгореть и утопиться,
Она греха не знала никогда.
Ты не святой пустынник, а убийца,
Пускай тебе та девочка не снится,
Она со мной осталась навсегда.

Любимец Бога! Чучело! Мочалка!
Надеждами торгующий ликбез!

Ты ростовщик! Ты задница без жалка!
Я ухожу! И мне тебя не жалко,
Ничтожество, упавшее с небес.

Довольно слёз! Не плачут кашалоты,
Не просят подаяния слоны.
Ты выбрал сам бездонное болото,
Где вместо ряски злая позолота,
Где не бывает лета и весны.

Святая шапка сшита не для Сеньки,
Ты ложью даже бога пропитал.
Взгляни назад и вспомни: ночь ли, день ли,
Ты проклинал желания и деньги,
Чтоб накопить небесный капитал.

Я задыхался в ярости гремучей,
Сжимал в руке заветное кольцо.
Мой гость рукой закрылся, словно тучей,
Шагнул в окно, и смех его гремучий,
Как молния, зажёг моё крыльцо.

Я вслед шагнул — на лунные ступени,
Где рай и ад в объятиях сплелись,
Где не встают скитальцы на колени,
Где наши чувства ходят, как олени,
И Млечный путь вскипает, как кумыс.

Мой гость ушёл. Под чёрною осиной
Качалась тень несбывшихся надежд.
Остался запах страсти кобелиной,
Смертельный холод песни лебединой
И злые сети праведных одежд.

Бежит, бежит кремнистая дорога
Дорога страсти, пролитых кровей…
Подводим жуть кромешного подлога:
Отцы святые на потеху Бога
Его порывы давят, как червей.

Слеза

В дали, что есть за каждой далью,
Где луг поклонный увлечён
Такой немыслимой печалью,
Что на бессмертье обречён;

В дали, где канул след Уаза
И птиц неведомых следы,
Я брошен в яму, как проказа,
Больной и жалкий, без воды.

Стучало сердце: хлеба, хлеба!
Воды хотел рассудок мой.
А мне хотелось, чтобы небо
Валялось в яме подо мной.

Мне облака и звёзды врали,
Но я один иду во тьму.
Когда б мы вместе умирали,
Я понимал бы, что к чему.

Зимний сон

В вагоне, в вагоне, в закатном вагоне,
В вечерний туман золотой
Уедем, любимый, от слёз и погони,
Уедем, любимый, с тобой.

Не надо, любимый! Любимый, не надо
Бояться от боли бежать.
Пусть тени привычек и тени разлада
Не смогут тебя удержать.

Нескоро, нескоро ещё остановка
В тумане ночном и пурге.
И мой поцелуй, словно божья коровка,
Ползёт по любимой ноге.

Ты спать не хотела, ты есть не хотела,
Вздохнула, разделась со зла.
Луне подставляешь прекрасное тело:
«Куда же она заползла?»

Метёт и метёт за окошком порошей,
Дрожат и дрожат фонари.
Найди же её, золотой мой, хороший,
Получше везде посмотри!

К окну пристывает луна золотая,
Чтоб нас целовать и ласкать…
Я знаю, я знаю, я знаю, родная,
Я понял, где надо искать!

Песня из самой высокой башни

Я стою на границе,
Где царит беспредел.
В незакрытой темнице
Я века отсидел.

Где просвет, где оконце,
Где упавшее солнце?

Не горю и не тлею,
Не лелею печаль.
Ни о чем не жалею,
Никого мне не жаль.

Если было бы жало бы,
Не рождались бы жалобы.

Что творится на свете?
Кто творит чудеса?
Кровь течёт по планете,
Но чисты небеса.

У заоблачной Девы
Погибают посевы.

Паутины в тимьяне,
На бессмертнике тля.
Бог, как пьяный крестьянин,
Позабыл про поля.

В мире тлена и грязи
Разрываются связи.

Нет ни злости, ни гнева,
Нет ни ночи, ни дня.
Пусть Пречистая Дева
Не глядит на меня.

Моё сердце отныне
Лишь песчинка в пустыне.

Я стою на границе,
Где царит беспредел.
В незакрытой темнице
Я века отсидел.

Где просвет, где оконце,
Где упавшее солнце?

Девочка совесть

Можно топор отложить,
Душу ночами морочить.
Но для того, чтобы жить,
Девочку надо прикончить.

Снова скрывает гроза
Звук похоронного туша.
Чьи это смотрят глаза,
Чьи это слушают уши?

Хватит подслушивать, тля,
Биться под сердцем не надо!
Господи! Где же петля
С розовой чашечкой яда?

Сгинь, пропади, наконец,
Разум совсем помутился…
Выпей хотя бы свинец,
Чтобы язык отвалился.

Гробик стоит у двери,
Ставят венки осторожно.
Что же ты дышишь внутри
Так, что и жить невозможно?!

Хватит, родная, залазь,
Грей деревянное ложе.
Скоро могильная грязь
Всё за тебя подытожит.

Толстенький попик в чести
Скажет, вкушая печёнку:
«Господи боже, прости
Чёртову эту девчонку!»

Буфет

Пропащий дом — без поз и марафета —
Наполнен весь сгоревшею звездой.
Прошедший век под обликом буфета
Скрипит в углу дубовой бородой.

В его глазах оттаивают дали,
В его кармане бездна колдовства:
Кричат во сне туманные вуали,
Безумным счастьем дышат кружева.

Там письма жгут, как утренние листья.
Там бредят светом высохшие кисти.
Там давний снег не тает никогда.

Прошедший век — проклятье и награда,
Застывшее мгновенье листопада,
Дубовая седая борода.

Молодожёны

Окно закрыто мёртвой синевой,
Среди мешков ни капельки озона.
Блестя губами, смотрит домовой
На вечное бесстыдство кирказона.

Неясный лепет вуаля, тужур,
Мелькают тени, будто полустанки.
А над постелью бьётся абажур,
Как юбка сумасшедшей африканки.

Дрожащий голос — низкий, как поклон,
Дрожанье глаз за дверцею буфета…
Да как же смотрят ангелы с икон
На счастье невменяемое это?

Ступает чёрт за парой молодой,
Глядит упырь из хлама векового.
В ведре воды хохочет водяной:
Он не видал подобного алькова.

Ущербный месяц плачет в камыше,
Бегут во тьму бродяги-кипарисы.
И темнота. И помыслы в душе
Скребутся, как отравленные крысы.

Стихает домик, проклятый во мгле,
Несётся стон из лунного гарема.
И кто-то чёрный ходит по земле,
И горько плачут дети Вифлеема.

Последняя оргия

Бушуют вокзалы кровавой ордою,
Бульвары свивают на шее петлю.
Любимый мой город, над мёртвой водою
Я больше волненье твоё не люблю.

Затихли, угасли чудесные звуки,
Повсюду глаза из пределов чужих.
Заученно молятся губы и руки,
Но бомбы качаются в люльках твоих.

Дома из земли выпадают, как грыжи,
Никто не разрубит святого узла.
Умыта слезами дорога для рыжих,
Идущих на биржу вселенского зла.

Всё те же притоны, всё те же повадки,
Кровавая близость последней черты.
Упали иконы, взлетели прокладки,
И залиты спермой усатые рты.

Вечерний канал извивается гадом,
Рыгают лакеи, и бляди блюют.
Убитое время шумит листопадом,
Как будто бы ищет последний приют.

Застолье кипит между ног королевы,
Поёт ей осанну слепая кишка.
Министры, козлы, идиоты и стервы
Глотают, как устриц, живые века.

У новых царей — золотая утроба,
У новых блядей — ненасытная пасть.

Нечистые силы поднялись из гроба,
А чистые силы им отдали власть.

Бушует и стонет ночная клоака
В сиянии кровью залитых наград.
И воет поэт на луну, как собака,
И в небо плюётся, и просится в ад.

Но вы не ответите вещему гневу,
Всё новые жертвы ложатся на стол.
Вы пьёте вино за Пречистую Деву
И взгляды бросаете ей на подол.

Святая столица — гремучее брюхо,
Всё ближе и ближе последний парад.
Безбожная жизнь, как безумная шлюха,
Вам скоро покажет раздавленный зад.

Ещё ваша царственность не опалёна
Огнём, зародившимся где-то во мгле.
Но будут краснеть голубые знамёна,
Как мёртвые раки на вашем столе!

Святая столица — разврат и потреба,
Скрипящий костями ночной эшафот.
Из глаз проститутки поднимется небо
И старое небо на солнце сожжёт.

О, город горбатый, запутанный в сети,
Я верю, я знаю, в канун декабря
Сорвёт твои двери разбуженный ветер
И девочка Слава умрёт за тебя.

Засыплем землёю мы облик венчальный,
Навеки забудем, как девочку звать.
Но вспыхнет огонь в твоём теле астральный
И будет заразу в крови убивать.

Забудется всё: и позор, и обиды,
Вампиры начнут понемногу бежать.

И будут Атланты и Кариатиды
Твоих малышей на ладонях держать.

Святая столица! Лиса и блудница!
Я проклял одежду с чужого плеча.
Но нами с тобой ещё будет гордиться
Ушедший в художники сын палача.

Пускай впереди и темно, и тернисто,
Пускай ещё сердце и солнце в крови.
Но видишь, на плахе играют горнисты
На струнах надежды, по нотам любви!

Весна надевает цветущее платье,
Разводит рукою остатки тоски.
Из брошенных в землю угроз и проклятий
Поднимутся светлых кровей колоски.

Вот так и шепчу я, отравленный ядом,
И вновь просыпаюсь, где пьют и блюют,
Где жалкое время шумит листопадом,
Как будто бы ищет последний приют.

Гласные

А рождается в белой постели,
В непроглядный для зрения час.
Букву Е одевают метели
В беспросветный почти что атлас.

Но потом, когда Е повзрослеет
И впервые приблизится к И,
Её трепетный лик заалеет
В ожидании первой любви.

Буква И закричит и проснётся,
И за Е побредёт наугад,
И увидит забытое солнце,
Как стоящий на плахе солдат.

Буква У из пещер малахита
Сотни лет выбиралась на свет.
Сердце У на осколки разбито,
Но ей ведом волшебный завет.

Ей известны бессмертные травы,
Шум прибоя и звон родника,
Но она на мерцание славы,
Как богиня, глядит свысока.

Буква О — журавлиные трубы,
Утонувший в тумане гобой.
У неё зацелованы губы,
Но она незнакома с тобой.

Буква А между тем постарела,
Завязала потуже корсет
И легко, как оса, полетела
В золотой королевский клозет.

А Омега, скрываясь в потёмках,
Поправляла чулки и вуаль,
И смотрела глазами ребёнка
В золотую и синюю даль.

Быть бы ей безрассудной и грешной,
Но она на мгновенье одно
Родилась под звездою сгоревшей
И упавшей на самое дно.

Вот и все откровенья успеха.
Вот, поэты, начало начал.
В Е скрывается Э, словно эхо,
Но об этом Рембо умолчал.

Искусство поэзии

(По Верлену)

Быть может, в этом всё и дело,
Что вновь душа опьянена,
Что ты забыл в кровати тело,
С которым счастлива жена.

Иди в приют, где, как бродяжки,
Слова, залитые вином,
Смеются, плачут, рвут рубашки
И поднимают пыль столбом.

Иди, смотри в глаза и щёлки,
Осколки счастья собирай.
Там страсти рыщут, словно волки,
Там льются слёзы через край.

Там сбиты смыслы, как коленки,
И синеглазый майский гром
Плохие рифмы ставит к стенке,
И рубит штампы топором.

Там не дают к столу отжимки,
Прокисший смех, остывший крик.
Оставь мартышкам все ужимки,
Верни в гримёрную парик.

Пускай скрипит янтарный гравий,
Пусть дым риторики горчит.
Беги, беги от мёртвых правил,
Плыви во тьму, как белый кит.

Верни индейцу побрякушки,
И на опушках облаков
Оставь для мальчиков хлопушки,
Как звон кандальных бубенцов.

Иди, иди! Не прекословь,
Руби концы, руби начала!
Всё начинается сначала:
И вдохновенье, и любовь!

Конечно, можно без сумбура,
Без белых стенок и китов.
И в словаре хватает слов…
Но это всё — литература.

Разлад

Дожди ниоткуда,
Тропа под уклон.
И снова остуда
Уводит в полон.

О смерти судачу,
От жизни таюсь.
То радостно плачу,
То горько смеюсь.

Весна без ответа,
И лето — пусто.
И то мне не это,
И это не то.

Вот так и остуда
Идёт без следа:
Не знаю — откуда
Не знаю — куда.

Песни Омелии

1. Золушка

По ночам всё то же действо,
Божья милость в кулаке.
Для чего мне это детство
С каплей яда в молоке?

Окунаюсь спозаранку
Золотым лицом в золу.
Это — счастье наизнанку
С добрым боженькой в углу.

Это мамочка — гусыня
Мне проходу не даёт.
Это отчим, как пустыня,
Мёртвым взглядом обдаёт.

Это крах мечты и чуда.
Паутины и крючки.
Это — грязная посуда
И сестрёнки-собчаки.

Это сказка умирает,
Как ошпаренный сверчок.
Это мама примеряет
Мой хрустальный башмачок.

На святую на икону
Я устала ворожить
И ладошку скорпиону
Подставляю, чтоб не жить.

Было всё — тоска и холод,
Только снилось в час ночной,
Как медведь уносит короб
С пирожками и со мной.

Я от страха обмирала,
Затихала, как зола,
И в платочек собирала
Крошки хлеба со стола.

Улеглась давно досада.
Жизнь — звенящая струя.
Почему же в круги ада
Память тянется моя?

Для чего мне этот искус,
Божья милость в кулаке?
И зачем мне нужен привкус
Капли яда в молоке?

2. Возвращение

В поклоне склонились деревья,
Поют золотые ключи.
Я — лебедь, я — Марья Моревна,
Я — голос, забытый почти.

Волна за волною напевно
Слагает ночную мольбу.
Я — спящая в лодке царевна,
Царевна в хрустальном гробу.

Столетья шумят, как осока,
Шумит очарованный бор.
Пусть лодка плывёт до истока,
Где ищет меня Святогор.

Плыву я, ничем не рискуя,
На свет золотого огня,
Где вечность его поцелуя
Поднимет из гроба меня.

Тропинки, приметы, засеки,
Дрожащие в небе огни.
Там все мы родные навеки,
Как бабочки и воробьи.

Там в небо врастают деревья,
Над Летой сгорают мосты…
Я — лебедь, я — Марья Моревна,
Я голос забытой мечты.

3. Черновик

Зачёркнут жизни черновик,
Закат опять в крови.
Над океаном тает крик
Несбывшейся любви.

В кругу невидимых сетей
Я знаю, что почём.
Целуя мужа и детей,
Я думаю о нём.

Я целый век живу одна,
Я таю, словно лёд.
Но Мартин Иден мне со дна
Руки не подаёт.

Не надо, Господи, утех,
Подите, сударь, прочь!
Над океаном тает смех,
Огромный, словно ночь.

Я гасну искрою в золе,
Мне горя не избыть.
Мы все, рождаясь на Земле,
Не ведаем, как жить.

В ночи расходятся пути,
Мы плачем и поём.
Но тех, кого должны спасти,
Опять не узнаём.

Над океаном тает смех,
Я слышу божий глас:
— Ищите все, ищите всех,
Кто тоже ищет вас.

Держитесь в жизни, как в седле,
Делите с кровью кровь
И на летающей Земле
Рождайтесь вновь и вновь.

4. Эвридика

Я тебя не узнала. Прости.
Обернулась судьба пораженьем.
Через Лету и огненный Стикс
Я плыву за твоим отраженьем.

В окружении духов и фей,
Я — твоя — до последнего крика!
Ты — сбежавший из ада Орфей,
Я — летящая в ад — Эвридика.

Где ты, Господи? Миленький мой!
Что ты видишь под чёрной луною?
Я не знаю, что будет со мной,
Ты не знаешь, что будет со мною!

Я тебя не узнала! Держись!
Я люблю тебя зло и безбожно…
Что за сука придумала жизнь,
Где тебя отыскать невозможно?

5. Ланселот

Потёмки карточных колод,
Гаданье на столе.
А где-то рыцарь Ланселот
Скитается во мгле.

Опять расходятся пути
И в небе тает свет.

Я не могу его найти
Почти две тыщи лет.

И где теперь его душа,
Среди каких дорог?
Быть может, в тело алкаша
Его упрятал бог?

Я с детства пьяных не люблю,
Но, веря в волшебство,
Продам кольцо и похмелю
Пропащего его.

6. Вспоминая Блока

День — в миноре, ночь — в затворе.
Ворожит за далью даль.
Это я в церковном хоре
Пела русскую печаль.

Повинуясь воле Бога,
Внемля голосу любви,
Это я манила Блока
В храм, стоящий на крови.

Я стояла в белом платье,
Я во мгле светилась так,
Что в церквушку на закате
Он врывался, как сквозняк.

На мгновенье гасли свечи,
И казалось, что в отвес,
На его худые плечи
Вечность падает с небес.

В незадаче, богом данной,
Неизвестно для чего,
Я была Прекрасной Дамой,
Недоступной для него.

В небесах звучали трубы,
И в мерцании зеркал
Он глаза мои и губы
На другом лице искал.

Век проходит, но не спится,
Я шепчу, глотая мрак:
«Всё на свете повторится,
Повторится, но не так!»

И поэтому в миноре,
Недоступна и тверда,
Я пою в церковном хоре
Точно так же, как тогда.

Тот же голос, то же платье
Я ношу, как тайный знак,
Чтобы в церковь на закате
Он врывался, как сквозняк.

Чтобы снова пели трубы,
Чтоб светился краснотал,
Чтоб мои глаза и губы
Он до смерти целовал.

7. Душа

По улицам дура гуляет,
Опавшей листвою шурша,
Танцует, поёт и не знает
О том, как она хороша.

Мне полночь играет побудку,
И снова, застыв у окна,
Я слышу небесную дудку
В которую дует она.

С утра, у речного изгиба,
Где нет ни людей, ни оков,
Она, как летучая рыба,
Мелькает среди облаков.

Не знаю, что будет в итоге,
Но вижу чудесный пролог:
Какой-то дурак на дороге
Целует следы её ног.

Целует, и след пропадает,
С дороги ведёт в облака.
Смешно вам? А дура летает
По небу того дурака.

8. Ёлка

По мостовой, покрытой льдом,
Потом по лунному посёлку
Ты нёс меня в остывший дом,
Как будто срубленную ёлку.

И я, беспутная, без пут,
Стояла в стареньком халате,
Как ноль часов и ноль минут
На чёрно-белом циферблате.

Мы пили водку и ситро,
И я сияла из халата,
Как будто станция метро
Под снегом старого Арбата.

Я улыбалась и врала,
Кружилась в танце легковесно,
Забыв о том, что умерла
Вчера на выходе из леса.

Я всё забыла — боль и шок,
И то, как ты во тьме смеялся,
Когда под самый корешок
Топорик маленький вонзался.

Я ем фисташки и кунжут,
Курю и пью, и злюсь некстати…
И ноль часов, и ноль минут
Всю ночь стоят на циферблате.

9. Синица

Время пауз, время точек,
Время — делаться собой.
Этот поезд, словно прочерк
Между мною и тобой.

Тьма последнего укора,
Неуверенность и страх.
Месяц, с видом прокурора,
Торжествует в облаках.

За окошком дым клубится,
Ты вздыхаешь, как зола:
— Что же ты, моя синица,
Снова море подожгла?

— Успокойся! Что за жалость? —
Говорю из кулака. —
Это море умещалось
В сарафане от «кака»!

Ты безоблачен и светел,
Поезд мчится, как слепой.
И летит кричащий пепел
Между мною и тобой.

Поезд мчится, но не спится,
Ночь бессонницей сорит.
И постель твоя дымится,
И вагон уже горит.

Но ты спишь, лаская горе,
И с улыбкой дурака
Заливаешь спиртом море
В сарафане от «кака».

10. Благословение—68

Проходят годы ветровые,
Гуляет память по волнам…
Я помню день, когда впервые
Он налегке явился нам.

Ещё он хрупкий, как гитара,
Как голос ангела: «Держись!»
Благослови его, Самара,
На всю оставшуюся жизнь.

Пока он робкий и безвестный,
Как новобранец на плацу,
Благослови на подвиг крестный
Его святую хрипотцу.

Благослови его мятежность,
Слова и чувства на крови;
Его безудержность и нежность,
Благослови, благослови!

Наш век больной, наш век жестокий.
Но в облаках проснулся гром.
Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом.

Назло обманутой Державе,
Уснувшей, как девятый вал,
О чести, подвигах и славе
Он никогда не забывал.

Москва в иллюзии лазури
Грозит нам издали рукой.
А он, мятежный, ищет бури,
Как будто в буре есть покой.

Забыв нелепицы и святцы,
Когда нахлынет горлом кровь,
Отдайте всё ему, самарцы:
И жизнь, и слёзы, и любовь.

Свеча погаснет от нагара,
Повеет тьмою от реки…
Люби, люби его, Самара,
Всему на свете вопреки.

Сотри с чела его проклятья,
Люби, когда любить нельзя…
К нему от Крестного Распятья
Уже проложена стезя.

Смотри, смотри, Самара, в оба,
Навстречу вечности греби.
Люби, люби его до гроба,
Потом ещё сильней люби.

Пока звучит его гитара,
Пока он счастлив без гроша,
Люби, люби его, Самара,
Шалунья. Ласточка. Душа.

Моя любовь не станет старой,
Я с ней сливаюсь навсегда.
Над всей землёй, как над Самарой,
Гори, гори его звезда!

11. Плач Ярославны

Я на земле рождаюсь не впервые.
Живу опять над пропастью, во лжи,
Где век иной и витязи иные
Горят и тают, словно миражи.

И в перелётном облаке печали
Я понимаю тихо, как во сне:
Напрасно розу с жабой обвенчали
Стихи поэта, жившего на дне.

И мы потом, когда нам отчудилось,
Постигли суть запретного плода:
Америки из нас не получилось,
Но русский дух растаял навсегда.

Теряя память, мужество и силу,
Руслан навек уснул под лебедой,
И, торжествуя, юную Людмилу
Несёт по небу Карла с бородой.

Мороз, мороз — по Родине, по коже!
Мне за погостом видится погост.
Россия, Русь! Я бедствую, но всё же
Во мне живёт твой вещий Алконост.

И по ночам легко и осиянно,
К степной траве склоняясь головой,
Я обливаю мёртвого Руслана
Живой водой и мёртвою водой.

Пройдут года проклятого дурмана,
И я скажу, платочек теребя:
— Вставай, Руслан! Отчаиваться рано.
Людмила ждёт по-прежнему тебя.

Дом и река

Поэма

Первая часть

1.

Мы жили, прошлое верша,
Тая судьбу в душе.
Я был — плетёная верша,
Ты — рыба в той верше.

Вокруг мерцала водополь.
Как столб, стоял покой.
Мы пополам делили боль
И с небом, и с рекой.

Я в стане чёрных немереч
Был кровником лешне;
Я понимал тайгу, как речь,
Звучащую во сне.

Я не болел тогда, не чах,
Ловил в петлю гусей;
И нёс, как горы на плечах,
Оленей и лосей.

Я к моху гнулся во лузях,
Был с дебрями на «ты»
И приходил к тебе в груздях,
Огромных, как мечты.

Ты принимала мрак и гром
Без слёз и без докук,

И я, как тень, сидел потом
У ног твоих и рук.

И тишь ложилась, как плита,
Как травы под пятой;
И жизнь была, и лепота
Была у нас с тобой.

И боли не было в башке,
И я не стал бы пить,
Когда б не вздумалось реке
Со мной заговорить.

2.

А ты была во всём права —
В лесу и на лугу,
Когда мы жили однова,
На красном берегу.

Среди вселенской темноты,
Полярным льдом горя,
Река звала меня на «ты»,
Как бога и царя.

Она меня манила льдом,
Крошила в дробь шугу
И ненавидела наш дом
На красном берегу.

А дом, высокий, словно сны,
Мог прошлое беречь;
В нём стены были сложены
Из чёрных немереч.

В нём был всегда не ровен час.
В нём ты любила петь.
А я на дне долины пас
И жизнь свою, и смерть.

Я в той долине мёрз и мок,
Как каторжник святой.

Мне и не снился эпилог,
Придуманный тобой.

Я мог упасть с разбитым лбом,
Подставиться врагу…
Но у меня был синий дом
На красном берегу.

Тот дом любим был и желан,
В стекле и в серебре.
А в доме ты со мной жила,
Как муха в янтаре.

Нас снег закапывал зимой,
И я был словно тать.
Но ты любила сумрак мой
По рюмкам разливать.

До дна, до донца — ого-го,
Темней, ещё темней!
Ты не пьянела от него,
Но делалась моей.

Твоя рука — моя рука,
И лёд плывёт в огне.
И ненавидела река
Тебя тогда вдвойне.

Кричал на крыше козодой,
Скрывала дрожь Ташла.
Ты выходила за водой,
Как будто к плахе шла.

Тебе казалось, хоть ты вой,
Что я всё чаще лгу,
Что дом давно уже не твой
На красном берегу.

3.

В избе кричала ребятня,
Сушились их портки.
И ты глядела на меня,
Как щука из реки.

Прошла проклятая зима.
Не пожелать врагу.
Ты не сошла ещё с ума
На красном берегу.

Мы жили смерти вопреки,
Смотревшей из-под век.
И ночь не пили из реки,
А днём топили снег.

Мы жили где-то за чертой,
В неведомом кругу.
Творилось в доме чёрти что
На красном берегу.

Святые падали со стен,
Кричал за знаком знак.
А за горою рак свистел,
Вобрав в себя весь мрак.

Река стегала буераш,
Куражилась нагой
И подмывала берег наш,
Не трогая другой.

Кричал петух, и пёс брехал,
Молился дровосек.
Река дышала, как река,
Где тонет человек.

Река — напрасная напасть,
Катила вниз фольгу.
И я не пил, не ел, не спал
На красном берегу.

Я на мостках стоял, скорбя,
Не веря в комильфо,

Река стонала и себя
Ласкала, как Сафо.

Я видел плоть её, уста,
Потёмки, чаруса…
И терпкий запах воровства
Всходил под небеса.

Я ей шептал: «Молчи! Молчи,
Проклятая Сафо!»
И я рыдал над ней в ночи,
Как старенький Тифон...

И я бросал дрова колоть,
Впадал то в бред, то в сон.
И по ночам в речную плоть
Входил, как Иксион.

Качались в небе тучи лжи,
Рассвет глядел с тоской.
И я не знал, как надо жить
С тобою и с рекой.

Я нёс тебе боровики,
Я боль сгибал в дугу.
Но ты бледнела у реки,
На красном берегу.

И там, у старого моста,
Всё круче и длинней,
Бросала камни в омута,
Чтоб было побольней.

Ты знала, сердцу вопреки,
Что не горит асбест,
И то, что не было реки
На карте этих мест.

Ты знала, как коварен спирт
И путь через тайгу,
И как родимый дом горит
На красном берегу.

4.

Столетья стыли в тальнике,
На них была печать.
Я плыл к рассвету по реке
С желанием кричать.

На холмах лет лежала мгла
С обманутой луной.
Река могла и не могла
Расправиться со мной.

Я плыл рекой, как рыболов,
Пугая ночь веслом.
Но я и сам в речной улов
Попался, словно сом.

И снова окрик: «Не гляди!
Глаза твои горьки!»
И крест, сиявший на груди,
Упал на дно Реки.

Кричала милая: «Постой!»
Но крик летел вовне.
Я в темноте искал постой,
Как Лев Толстой во мне.

Я приникал к Реке душой,
Снимая боль и гнёт.
И жизнь моя была большой,
Но тонкой, словно лёд.

Вокруг качались топляки,
Репьи молились тле;
И шутовские колпаки
Гуляли по земле.

Качалась, плакала вода,
Кипела рыбой сеть.
И я взглянул тогда туда,
Куда нельзя смотреть.

Вторая часть

1.

Мыши играют в соломе,
Ворон столетья клюёт.
В старом потерянном доме
Добрый Емеля живёт.

Издавна светлый и нежный,
Пьёт он плохое винцо.
Будто бы камень прибрежный,
Мхом обрастает лицо.

Выйдет на улицу пьяный,
Встанет на старенький ял.
Слушает воздух туманный,
Падает там, где стоял.

Давнему мороку внемля,
Падает в пыль и гнильё.
Пальцы царапают землю,
Ноги врастают в неё.

Тут бы тебе и могила,
В этой туманной бели…
Только какая-то сила
Вырвет его из земли.

Вытянет тело по ветру
И, обогнув топляки,
Словно вечернюю жертву,
Бросит на берег Реки.

2.

Белых порогов изгибы,
Вечный фонарик в руке…
Все его годы, как рыбы,
Плавают в этой реке.

Знаки, приметы и связи
Спутались, словно в бреду.
Встанет Емеля из грязи.
«Господи! — скажет. — Иду!»

В реку войдёт осторожно.
«Господи! — скажет. — Держись!»
Долго, с тоскою острожной,
Смотрит в прошедшую жизнь.

В темень уходит глазами,
Дышит постылой виной:
«Я не пойму и не знаю,
Что происходит со мной.

Кончился срок водопольный,
Цапля сидит на гнезде.
Что же я, словно запольный,
Кланяюсь чёрной воде?

Вместе с форелью в улове,
С оводом в тёмной молве
Лодку держу наготове,
Словно стрелу в тетиве.

Есть ещё брага в стакане,
Смыты дождями следы.
Сколько же можно в тумане
Ждать неизбежной беды?

Может быть, путает лемба,
В омут ведут упыри…»
Голос послышится с неба:
«Лучше на Реку смотри!

Жди сокровенного срока,
Душу открой наиспод.
В сердце твоё от истока
Женщина в лодке плывёт!»

3.

В брызгах весенней капели,
Канув в ночной глубине,
Смотрит на реку Емеля,
Будто бы залубенев.

Пахнет золой и солодкой,
Шерстью убитой Муму…
Каждое облако лодкой
Видится снова ему.

В кружеве пены и сала,
Бросив на отмель пальто,
Шепчет Емеля устало:
«Что это, Господи, что?»

Входит он в реку по пояс,
В лунные брызги и дым…
Цапля взлетает, как совесть,
Кружит и кружит над ним.

Светятся Дева и Овен,
Вечность стоит за плечом.
«Господи! Я не виновен!
Я не виновен ни в чём!

Ведомо Шиве и Сиве,
Всадникам звёздных коней:
Не было лодки на сливе,
Не было женщины в ней!

Что это? Сны или сети?
Кто награждает виной?
С кем это было на свете
Так, будто было со мной?»

Только ещё сиротливей
Станет Емеле видней
Белая лодка на сливе,
Чёрная льдина под ней.

Словно дыхание Бога,
В сердце ударит засим
Грохот речного порога,
Рёв водопада за ним.

«Путаник! — крикнет сорока. —
Было с тобой искони!»
Вздрогнет камыш и осока,
Бездна расступится — и…

4.

Марево будто бы морфий,
Кольца удава крепки.
Скалами Крофи и Морфи
Стиснуто русло Реки.

Смотрят жрецы и друиды,
Как у китайской скалы
Слёзы богини Исиды
Падают с русской ветлы.

Мифы завязаны в узел,
И, в окружении фей,
Грудь и лицо Аретузы
Гладит волнами Алфей.

А на холмах Эридана,
Над отречённой тоской,
Нимфу Мензолу Диана
Делает горной рекой.

Полнится мукой и стоном
Давних замесов земля,
Где гелиады Тифоном
Превращены в тополя.

И на коленях у фавна,
В брызгах небесной свечи,
Плачет княжна Ярославна,
Меч обнажая в ночи.

А над пустыней Псалтыри,
Между святилищ и рун,
Мечутся Феникс и Сирин,
Падает в воду Перун.

Плещется красная рыба,
Утка кричит в камыше…
Всё, что ушло и погибло,
Вновь оживает в душе.

Вечность не знает урона,
Видишь? Гуляя по дну,
Мёртвая дочь фараона
Кормит собачку Муму.

А за холмом, за лесами,
Дальше — кругом и везде,
Словно круги под глазами,
Тают круги на воде.

Выйдет мальчонка из ночи,
Маленький, мокрый, седой:
«Что же ты, миленький отче,
Споришь с протёкшей водой?

Злой, как еловая лапа,
Что ты закрылся плечом?
Мы теперь ангелы, папа,
Ты не виновен ни в чём!

Что ты копаешься в иле,
Раки там да караси…
Все мы кого-то топили,
Что же ты плачешь, еси?

Сядем сейчас у камина
И у святого огня
Вылепим из пластилина
Маму, тебя и меня».

5.

Выйдет Емеля на берег,
Сына на руки возьмёт,
Словно ликующий Беренг,
К дому родному пойдёт.

Свечи зажжёт и лампадку,
В кухне найдёт леденец.
Сделает сыну рогатку,
Слепит людей и овец.

Будет играть до рассвета
Сын на коленях отца,
Тени былого навета
Тихо уйдут от крыльца.

Вздрогнут затоны осота,
Спрячется в тучи луна.
Женщина всхлипнет на фото,
Словно живая она.

Жизнь повторится сначала,
Тучи умчатся с лица.
Нет этим тайнам начала,
Нет этим тайнам конца.

Печка, свеча и полати,
Космос за правым плечом…
«Мы теперь ангелы, батя,
Ты не виновен ни в чём!»

6.

Молча взирая на Бога,
Снова проснуться боясь,
Выпьет Емеля немного,
Скажет, над сыном клонясь:

«Почки набухли на сливе,
Светятся искры ветвей…

Не было лодки на сливе,
Не было Аннушки в ней!

Господи! Строго и чутко
Сплю я от веку в ночи…
Видимо, это анчутка
Голосом милой кричит…»

И не узнает Емеля,
Нечет увидев как чёт,
Что в заколдованной бели
Белая лодка плывёт.

Разоблачённые сонеты

За мной, читатель! Стынет кровь!
Чума рыдает после пира!
Я — слёзы, мука и любовь
Непостижимого Шекспира!

Великой тьмы проходит срок,
Идут столетья на экзамен.
Мы будем плакать между строк
И видеть мир его глазами.

Звони в бессмертие, звонарь,
Во тьму угасших озарений;
Мы пишем заново букварь
Пером утраченных прозрений.

1.

Я вернулся к тебе, чтобы душу излить,
Чтобы вырвать мечту из чужого аркана.
Эти годы не могут меня изменить,
Как дожди не изменят лицо океана.

Золотые заветы сдавая в заклад,
Обрекая сонеты мои на сожженье,
Ты с коварной улыбкой глядишь в зеркала,
Но я вижу, как плачут твои отраженья.

Я вернулся — лелеять и оберегать,
Как хранят лебедей камыши и осока.
Только речка не любит свои берега
И всё дальше бежит от родного истока.

Твердят наши губы: «Всё сбудется завтра…» —
Но каждая речка, увы, безвозвратна.

2.

Молчанье — золото, а слово — серебро.
С тобой одной я злата не приемлю;
Ведь ты моё любимое ребро,
Из рая убежавшее на Землю.

Дорога вдаль размотана, как бинт.
Моя судьба, да будь она не ладна,
Закрыв глаза, ступает в лабиринт,
Где Минотавра любит Ариадна.

Молчанье — золото. Но хочется кричать
И ждать в плену великого исхода…
О, ангел мой! Последняя печать
Над тайной человеческого рода!

Сказал отец мне: «Жизнь — индейка!» —
А я добавил: «Иудейка!»

3.

Я не зря всё лучшее берёг.
Не бывает поздно или рано.
Я к тебе привит, как черенок,
Как богам неведомая тайна.

Кто-то нас преследует и врёт,
Кто-то прячет молнии в зените…
Даже друг скрывается, но рвёт
Между нами солнечные нити.

Я живу — в травинке и шмеле,
Я ликую в листьях и капели…
Хорошо, что снова на Земле
Мы с тобою встретиться успели!

Словно пешка, шагнувшая с клетки Е-2,
Я к тебе в эти дни прикасался едва.

4.

Былых надежд растрачена казна.
Твоё лицо мне видится нечасто.
Я сам себе решётка и узда,
И тайный блеск фальшивого пиастра.

Одну тебя я в памяти таю,
Я все ключи меняю на отмычки,
И крошки счастья птицам отдаю,
Уничтожая маски и привычки.

Мне не по нраву жизненный уклад,
Где для мечты откованы оковы…
Твоя душа таится, словно клад,
Во тьме никем не сказанного слова.

Умру и я, но я умру не весь.
В тебе заря рождается. Я Есмь!

5.

Пройдя по мукам и дорогам,
Страдая, веруя, скорбя,
Я лишь в тебе равнялся с богом,
В одной тебе любил себя.

Увы, напрасно сердце билось,
Напрасно пенился кураж.
Ты мне привиделась, приснилась
И обманула, как мираж.

Смешная роль, смешное действо,
Пейзаж, написанный углём…
Песком заносит королевство,
И меч дрожит над королём!

Я жив ещё. Но раб химер
Мне дарит перстень Эфемер.

6.

Ты видишь, ласточка промокла,
Открылся свет берестяной…
И снова киноварь и охра
Кричат о бренности земной.

Осенний дождь идёт по холмам
Походкой нищих и вдовцов…
Проходит всё. И мы проходим
По следу умерших отцов.

Но не погаснет наше солнце,
Судьба быльём не порастёт,
Когда под сердцем сердце бьётся,
А под душой душа живёт.

Падает на пол свеча и гребёнка.
Что же ты смотришь глазами ребёнка?

7.

Беспамятство жизнь исковеркало,
Нам тоже забвенье грозит.
Ужели одно только зеркало
Тебя на земле отразит?

Восстав над земными пороками,
Сливаясь в Едином навек,
Мы будем с тобою истоками
Идущих в бессмертие рек.

Всё будет — апрель и проталины,
Мы невод забвенья порвём,
И встанет король обезглавленный
Над плахой прошедших времён.

Помни, глупый человек,
Что истоки — глубже рек!

8.

Что жизнь, прошедшая на треть?
Что ты для вечности, синица?
В тебе я должен умереть,
Потом в тебе же возродиться.

Твой друг — проявленная ложь.
Но ты, любя чужие лица,
Мгновенья радости клюёшь,
Как золотые крошки — птица.

Пройдут угрюмые года,
Как каторжане по дорогам…
И что ответишь ты тогда,
Когда предстанешь перед Богом?

Молчи. Не гневайся. Не надо.
Одно лишь слово помни, чадо.

9.

Сжигают даль злословия вожди,
Любой болтун считается поэтом.
Прошли года — уныло, как дожди,
И темнота возвысилась над светом.

Трепещешь ты… Заплакано лицо…
Альфонс, как вор, на облако крадётся…
Ужель навек фальшивое кольцо
С твоим прелестным пальчиком срастётся?

Ужели наш завещанный родник
Утонет весь в болотине и тине,
И я умру, как умирает крик
Страдальца, вопиющего в пустыне?

Над тобою, как туча, нависла фата,
Неужели богине к лицу темнота?

10.

Снова полночь и снег декабря…
Ты с небес опускаешься строго.
Я смотрю и не вижу тебя
В сиротливом сиянии бога.

Выгибается радугой бровь,
Твои губы — истоки разлада.
Ты — глупая, слепая Любовь,
Райский сад, восходящий из ада.

Над заросшей быльём бороздой
Тает пар безнадёжного вздоха…
Хорошо мне, родная, с тобой,
Мне всегда хорошо, если плохо.

Слёзы, нежность, боль и честь…
Принимаю всё как есть.

11.

Полюбила пошлости и скверну,
Распахнула душу и кровать;
И тебя, как спящую царевну,
Кто угодно может целовать.

Мне остались цепи и вериги,
И слова, погибшие в мольбе…
Все дороги сходятся не в Риме,
Все дороги сходятся в тебе.

Я забуду мать свою и сцену,
Буду жить, как денди и холуй…
Но тебя, как спящую царевну,
Только мой разбудит поцелуй.

Поверь душе — любви раздетой,
Когда свята она, как свет твой.

12.

Я ни о чём не сожалею,
Всё так же верую словам.
Лишь тот становится нежнее,
Кто злобу в губы целовал.

В ночи рождаются рассветы,
И, полнясь бережным огнём,
Мои сонеты, как заветы,
Живут в дыхании твоём.

Дыши, любимая, мечтами,
А я всё так же, на краю,
В пространстве бога сочетаю
Любовь и ненависть свою.

Я жил в самом себе напрасно,
Но жизнь в тебе была прекрасна.

13.

Удивляясь, ревнуя, скорбя,
Как росинка в раскрытом бутоне,
Я полжизни бегу от тебя
По твоей безвозвратной ладони.

Бесконечен земной лабиринт,
Но не ведает сердце боязни.
Я — пустыня, верблюд, бедуин,
Ты вдали восходящий оазис.

Ты была и звездой, и бедой,
Что ни день, то навеки прощалась;
Становилась протёкшей водой
И грозою назад возвращалась.

Ты океан во мне, я остров.
Ты крест над церковью, я — остов.

14.

Сравню тебя с июньским днём,
С приходом запоздалой почты,
Когда неведомым огнём
Живут растерянные почки.

Когда темно в моей судьбе
И боль обуглена устами,
Рассвет рождается в тебе,
Как свет зари за облаками.

Горчит ли таинство мечты,
Звучит ли музыка истока,
Но тайну этой красоты
Никто не ведает до срока.

Как глас, потерянный в мольбе,
Продлится жизнь моя в тебе.

15.

Капал дождик в осеннюю жижу,
И звучало в конце декабря:
— О, родной! Я тебя ненавижу!
Я всю жизнь ненавижу тебя!

Побледнела. Ушла. Воротилась.
Стала листья к губам подносить.
Полчаса надо мной возносилась,
Чтобы, значит, совсем не добить.

Опустилась на лавку сырую,
На соседний пенёк забралась;
А потом отдалась поцелую,
Так, как будто бы вся отдалась.

Встала и вспыхнула, шарф теребя:
— Я ненавижу в тебе — не тебя!

16.

Мне бы жить в суете Двора,
Быть бы мне деловым и ушлым…
Но в кармане свистит дыра,
И стихи я пишу на конюшне.

Здесь великий царит простор,
Головою горит подсолнух…
Я для света — бродяга и вор,
А для Господа — лучший Олух.

Я лакаю родник, как зверь,
Прорубаю тропу в тумане…
Но неважно — кто мы теперь,
Важно — кем после смерти станем.

Над проточною канавой
Я смеюсь над вашей славой.

17.

Вращаются звёзды, пыля,
Во тьму рассыпая посевы.
Я должен любить короля,
Я должен бежать королевы.

Башка, как капустный кочан,
Не жаждет любви и свободы.
Я должен писать по ночам,
В поклонах согбенные оды.

И это не золота для,
Не ради угоды припеву.
Я должен любить короля,
Но я полюбил королеву.

Снова плачется мне и хохочется,
Но концы и начала не сходятся.

18.

Сведёт с ума предутренняя роздымь…
Окутан мир тоскою голубой…
В твоих глазах — украденные звёзды
И небосвод, украденный тобой.

Летят века, созвездия и сферы,
Предначертанья сводятся к нулю.
Я — Ланселот в объятьях королевы,
На верность присягнувший королю.

Я устаю под окнами шататься,
Подобно тени с криком на челе.
Я жду тебя и не могу дождаться,
Как будто ты живёшь не на Земле.

Томит мне душу столько лет
Твоя любовь, которой нет.

19.

Не суди меня, прозаик.
Я — пустыни не сужу.
Где я был во сне — не знаю,
Если знаю — не скажу.

Там, без маски и без грима,
Сквозь дожди и ковыли,
Я дорогой пилигрима
Уходил на край земли.

Там я звал и отзывался,
Согревал звезду в руках
И с богиней целовался,
Целовался с нею… Ах!

Много тайны в словесех,
Если тайна не для всех.

20.

Луна заливает окно,
Окно отзывается, млеет.
Невинно вино, что оно
Поэтов спасать не умеет.

И пусто, и грустно, и проч.
Родная! Я проклял разлуку!
Но день превращается в ночь,
А ночь превращается в муку.

И ночи, и дни — заодно.
Не движется время разлада.
Невинно вино, что оно
Кончается раньше, чем надо.

Я пью вино, но мне не спиться,
Уснуть пытаюсь, но не спится.

21.

Грустит на небе Волопас,
Стрелец узлы и путы рубит.
Опять нас Спас с тобой не спас,
А спас того, кто нас погубит.

Смеётся друг. Я не у дел.
Вся жизнь рассыпалась, как просо.
И возвращается удел —
Бояться утренних вопросов.

Идти бы вечно по тропе,
Долги созвездьям раздавая,
Не выдавая боль толпе,
Тебя всю жизнь не выдавая.

Приметы, символы и знаки —
Ещё пленительней во мраке.

22.

То день, то ночь. Мы снова врозь.
А я души в тебе не чаю.
Глаза, отвыкшие от слёз,
Чужой беды не замечают.

Так что же мне? Всё так же — стыть?
Кружиться в омуте злоречья?
Неужто ты смогла забыть,
Что говорил тебе Предтеча?

Ты видишь, ангел пролетел,
В окно стрекозы залетели,
И не смолкают струны те,
Что мы сто лет назад задели.

В кругу людей и в мире горнем
Не вырывайте память с корнем.

23.

Можно смириться, покаяться, выждать,
Но осторожность — ничтожный указ.
Это оплачено дважды и трижды,
Это оплакано тысячу раз.

Что же ты, девочка, сплетница, птаха,
Снова синицу сжимаешь в горсти?
Солнце сегодня восходит, как плаха…
Ты ещё можешь прийти и спасти.

Что же, я проклят тобою, как демон,
Что же душа и кричащая плоть?
Спросишь когда-то у Господа: «Где он?» —
Но ничего не ответит Господь.

На одну на тебя я всю жизнь променял,
Почему ты сумела забыть про меня?

24.

Я только тень утраченных годин,
Мой смертный час таится недалёко.
Один лишь я в твой домик заходил,
Подобно снам — без страха и упрёка.

Ты рвёшь сама связующую нить,
Но все поэты, связанные ночью,
Уже не смогут точкой заменить
Посеянное мною многоточье.

Я знаю мир: зачем он и каков?
В моей душе — небесные истоки;
Они всего лишь — тени облаков,
Черновиков зачёркнутые строки.

Прохожий след теряется во мгле.
И мы одни с тобою на земле.

25.

Я устал, безнадёжно устал.
День, и тот восходил в полнакала.
Ты шептала: «Вставай же, вставай!» —
Но во мне ничего не вставало.

То ли град, то ли смех сатаны
Раздавался, и думалось: «Ты ли?»
И сходились четыре стены
Надо мной, как четыре пустыни.

Ты пришла — выяснять и бранить.
Посмотрела чужими глазами.
И рвалась безнадёжная нить,
Та, что нас ненадолго связала.

Ты ушла в темноту, фонарём не светя,
Но в тебе всю дорогу светилось дитя.

26.

Опять к тебе уносится мой крик,
Горит огонь — и некуда деваться.
В тебе проснулся крохотный родник,
Который будет плакать и смеяться.

В осенний дождь и в ночь на Рождество
Мне на тебя без устали молиться…
Твой образ чище лика твоего,
В нём скрыто всё, что грезится и снится.

Мой звёздный час уносится, как дым.
Я сомневаться в истине не смею…
И выше тела, ставшего иным,
Твоя душа сливается с моею.

И верх, и низ, и смех, и стон…
И что есть жизнь, коль это сон?

27.

Я вспомнил ночь, твою походку,
Туман вуали, тайный зов…
Я взял коня и выбрал плётку
С тоской стреноженных ветров.

Я гнал коня! Но он устало
Косил назад раскосый глаз,
И на копыта налипала
Земля, забывшая про нас.

Был небосвод лучист и светел,
И я, планиду не кляня,
Летел к тебе быстрее сплетен,
Быстрее ветра и коня.

Я всё забыл: свой дом, достаток…
Но мне хотелось жить до ста так.

28.

Когда во сне почувствуешь ты боль,
Когда одна проснёшься на рассвете,
Я всем забвеньем выдохну: «Изволь,
Не вспоминать о преданном поэте!»

Не вспоминай! И всё-таки постой!
Ведь это там, где кружится и свищет,
В твоей душе, холодной и пустой,
Я становлюсь огнём и пепелищем.

Теряет осень огненный парик,
Теряет блеск растерянное солнце…
Но скоро, скоро — бронзовый родник
Из темноты сияющей прольётся.

В потёмках чудо закричало,
Нам нет конца и нет начала.

29.

Ужель теперь мне легче умереть?
Ликует боль, и торжествует злоба.
Твоя душа — единственная твердь
Среди воды Всемирного потопа!

Проходят дни кругами по воде,
Я твой портрет сжигаю и целую…
Мой жалкий чёлн болтается во тьме
И не заходит в гавань голубую.

Ты — боль моя! Кукушка без гнезда!
Чужим мечом подрезанное стремя…
Ты — вспаханная мною борозда,
Где прорастает брошенное семя.

Моя любовь не глубже сна,
Но бездна памяти — без дна.

30.

Святым огнём охваченная твердь
Опять готовит почву для посева.
Ты никогда не сможешь умереть,
Моя любовь, святая Приснодева.

Мои мечты потеряны во мгле,
Но оживут туманные страницы…
Чтоб встретиться с тобою на Земле,
Людьми мечтают ангелы родиться.

Мои стихи не смогут онеметь,
Раскроются сонеты и обличья…
А жизнь моя — лишь только монумент
Для твоего бессмертного величья.

Пройдут дожди преданий и времён,
Но я к тебе навек приговорён.

31.

Благословляя смерть Икара,
Молчит поэт, невольник грёз.
Но так молчат моря и камни,
Внимая свету звёзд и гроз.

Для крика собрана вся сила,
Кричу, как ангел в малыше:
«В чужой душе — твоя могила,
Не верь, не верь чужой душе!»

Не верь дождю, что скалы точит…
Гюрза, бессмертная лоза,
В твоих глазах и днём, и ночью
Другие светятся глаза!

Я не могу уже, сиречь,
Посев таинственный стеречь!

32.

Люби меня за боль злоречья,
За свет звезды и декабря,
За немоту, что станет речью,
За сердце — в сердце у тебя.

Люби меня за шорох леса,
За золотое забытьё,
Люби за солнечный привесок,
Где всё моё — теперь твоё.

Прости мой гнев… Я слабый, гадкий…
Но, ощутив огонь и лёд,
Лишь ты поймёшь мои загадки,
Что ходят задом наперёд.

Игра тогда не стоит свеч,
Когда нам нечего беречь.

33.

Я на твоём крыльце — подкидыш,
Я клоп, застывший в хрустале.
Любить, кого ты ненавидишь,
Не каждый может на земле.

Мои стихи — моя неволя…
Ломая злобою кадык,
Клещами верности и боли
Я вырву грешный свой язык.

Бросая жизнь свою пустую
Под ноги яду и вину,
Тебя, коварную, святую,
Я ни за что не упрекну.

Пустую смертную межу
Я, улыбаясь, прохожу.

34.

Я проклял всё — слова и сцены.
Но бог, сжигающий мосты,
Благословил твои измены
И новой страсти лоскуты.

Я встану ночью: где ж ты, где ж ты?
Я выйду в город — жалкий, злой…
Ты сквозь туман моей надежды
Летишь отравленной стрелой.

Твои обиды, боли, гневы
Живут в постыдном неглиже.
Ты есмь Лилит и похоть Евы,
Вкусившей яблоко уже.

Возможно счастье на земле,
Пока огонь живёт в золе.

35.

Буду резать, буду бить,
Буду длить своё страданье.
Как мне грех не полюбить,
Если грех — твоё созданье?

Что минуты? Что века?
Даль, таящая угрозу?
Жизнь не лучше червяка,
Поедающего розу.

Крик развязанной тесьмы,
Свет, утопленный в колодце…
Всё рождается из тьмы,
Даже ангелы и солнце.

Вскрикнет утро, как дитя,
Нас навеки осветя.

36.

Мы перед богом все раздеты.
Любая слава — на крови.
Твои грехи — мои приметы,
Твой срам — сомнения мои.

Извечно, в смуте и сумбуре,
Смерть уготована борцу.
И гибнет волк в овечьей шкуре,
Простив заблудшую овцу.

Ты эти сцены не забудешь,
Ты всё расскажешь малышу…
Ведь ты не то, что есть и будешь,
А то, что я сейчас пишу.

Пройдут года, растает пена,
И станет святостью измена.

37.

Всё повторяется на свете.
Весна — рабыня декабря.
Какой мороз, какие снеги,
Какая темень без тебя!

Судьба моя — дыханье прялки,
Слова, уснувшие в жреце.
Мне свет, сияющий на свалке,
Дороже света во дворце.

Рыдают вдовы. Длится осень.
Подать рукою до конца.
Мечта — распутница на сносях,
Не помнит имени отца.

Свершится истина в конце,
И мир узнает об отце.

38.

Я тобою у бога украден,
Я — твоих ожиданий капель.
Как слепец на чужом карнавале,
Плачет мой небывалый апрель.

Кто-то шепчется, кто-то смеётся,
Кто-то злится и смотрит вприщур.
Но встречает рождение солнца
Над тобою великий Сатурн.

Боже, боже! Искусаны губы…
Содрогается твой бугорок…
Я срезаю все розы на клумбе,
Чтобы вырос чудесный цветок.

Если явью становится сказка,
Не твоя ли была там закваска?

39.

Очнись, очнись, забывчивая Муза,
Возьми перо, отброшенное мной…
Я отраженьем собственным не узнан,
Я предан небом, солнцем и луной.

Сотри, о, Муза, горе и морщины,
Лепи из снов любимое лицо,
Не дай взойти отчаянью мужчины
Травой забвенья, бросовым словцом!

О, Муза, верь, что вера не ослепла,
Что верность неизбывна и крепка…
Моя любовь, встающая из пепла,
Переживёт грядущие века.

Глаза любимой смотрят с изразца
В святую даль ушедшего отца.

40.

Чувствуя великую пропажу,
На земле — протяжной, словно крик,
Выставляет чувства на продажу
Плесенью покрытый ростовщик.

Мало стало нежности и веры,
Пеной разливается бедлам.
Там и тут продажные гетеры
Обещают каждому: «Я дам!»

Люди ждут печального исхода,
Крика труб и праведных огней.
Но в петле ночного небосвода
Разрывает сердце соловей!

В моей душе не гаснет свет,
Я пью за то, что смерти нет!

41.

Отзвучала во мне высота, отзвучала,
Умирает в походе неведомый бард.
Это Муза моя до конца обнищала,
Золотое перо положила в ломбард.

Я не ем и не сплю, задыхаюсь и чахну,
Мне не могут помочь костюмер и гримёр…
Это — глупое сердце восходит на плаху,
Это — голая правда идёт на костёр.

На осколки, в песок! — рассыпается сила,
И под богом, под небом, под чёрной луной
Всё, что счастье моё до небес возносило,
На прощание рушится вместе со мной

Всё равно я люблю эти руки и губы:
На проклятой земле ещё есть однолюбы.

42.

За три зимы от нас, на донце
Бокала, полного вином,
Всё так же всходит наше солнце
И счастье ходит босиком.

Мой мир рассыпан по бумаге,
В нём наше горе не беда,
И ты светла, как светел ангел,
В тебя вошедший навсегда.

Измены, ссоры, переделки —
Всё это было невпопад…
Назад вращаются все стрелки,
И время движется назад.

Мы сможем жить ещё светлей,
Как внуки собственных детей.

43.

Таится свет во тьме укромной,
Но скоро грянет звёздный час!
Я буду с верою греховной
Молиться, милая, за нас.

Пусть рухнут крепости обмана,
Бегут сомнения слоны.
Пусть выйдет месяц из тумана,
Из лона плачущей луны!

Моя надежда больше сердца,
Пророк той ночью не соврал.
Лицо крылатого младенца
Я сам в ночи нарисовал!

Я первый раз целую землю.
Что жизнь? Что смерть? Я всё приемлю!

44.

Над осколками глупых сердец,
За чертой мирового разврата,
Отчужденью приходит конец,
Наступает эпоха возврата.

Тает вечный беспамятный лёд,
Разрываются петли и сети.
Это юность по крыше идёт,
Как Ромео ходил к Джульетте.

Мне не нужен покой и уют,
Мне не надо ни славы, ни хлеба.
О, Любимая! Дай мне приют
На окраине вечного неба!

Свет и потёмки. Но дороги мне
Звёзды на небе и звёзды на дне!

45.

Растаяло облако духа,
Увяло дыханье наяд.
В богине скрывается шлюха,
С наливкой венчается яд.

Не надо вина мне, не надо,
Я нынче без яда в огне.
Бежать бы из этого ада,
Но ад полыхает во мне.

Что делать, далёкий дружище,
Как жить одному и во тьме?
Я отдал ей душу! Я нищий,
Два года живущий в дерьме!

Нет сил никаких у поэта,
Когда его песенка спета.

46.

Потерял я святые бразды,
Я не слышу священного гласа.
Только свет прогоревшей звезды
Мне дороже, чем стрелка компаса.

Я, подобно пловцу на волне,
Не могу ни уснуть, ни проснуться…
Всё сгорает во мне, как в огне,
Но любовь и душа остаются.

Оживает чудесный эфир,
Раскрывается даль без предела,
И опять возрождается мир
Из того, что во мне не сгорело.

Я не один, я есмь везде:
И на душе, и на звезде.

47.

Погасло сиянье в окошке,
Смеюсь я и плачу без слёз:
Как будто живу понарошку
И гибель зову не всерьёз.

Боясь несусветной отравы,
Надежды сдавая в архив,
Я пью золотые отвары
Любови твоей супротив.

Но синие капли апреля
И струи слепого дождя
Опять превращаются в зелье,
Кипящее ради тебя.

На прощанье мне ангелы дали
Золотые надежды и дали.

48.

Мой дворец подожжён и разрушен,
Все ромашки и розы в парше…
Но чем хуже бывает, тем лучше
Почему-то теперь на душе.

Не бывает потока без пены.
Не грусти, одинокий ходок!
Пусть от веры твоей до измены
Рассыпается жизнь, как песок.

Над долиною тучи нависли,
Чьи-то лодки по морю скользят…
И мои безутешные мысли,
Как ослепшие птицы, летят.

Растут сонеты, словно травы,
Им наплевать на грядки славы.

49.

Мой друг (проклятое знакомство!),
Я принял всё: и смех, и ложь.
Но, сея ветер вероломства,
Ты бурю ярости пожнёшь!

Я жил, внимая и прощая,
Но хватит! Истина проста!
Я в нашу дружбу превращаю
Весь свет распятого Христа!

Ты был чудовищем со мною,
Я буду вечно сам собой,
И мир разрубленный умою
Живой и мёртвою водой!

Любовь — чиста, душа — крылата,
Судьба — ни в чём не виновата.

50.

Мои грехи, как миражи,
Уроду видятся любому…
А я другую знаю жизнь,
Я свят и грешен по-другому.

Я презираю ваш дурман,
Я лишь любви и света жажду.
Идёт в пески мой караван,
Чтоб испытать тоску и жажду.

Мой след — трава и родники,
Живые отзвуки стихии…
А что у вас, клеветники,
Уроды, сплетники, витии?

Я пью росу, я ем ботву,
Но я вас всех переживу.

51.

Пусть жизнь моя идёт на убыль,
Но счастлив я, что мой цветок
Не станет жить на вашей клумбе,
Смеясь и плача возле ног.

Назло плебеям и повесам,
И принцам в пошлой мишуре,
Он будет сниться всем принцессам,
Как алый парус на заре!

Пусть сплетни бегают, как мыши,
И в щели смотрит болтовня,
Он будет выше вашей крыши,
Как дуб, растущий из меня!

Выйду на улицу — даль бесконечна!
Смейся, мой маленький! Ныне и вечно!

52.

Сластолюбец! Ты пасквили пишешь,
Доверяя свой дар белене;
Ты рванулся туда, где погибнешь
В золотом беспощадном огне.

Берегись, окаянный доносчик!
Я не стану отныне терпеть
Изверженье отравленных строчек,
Порождающих ужас и смерть.

Жди расплаты, стяжатель, отныне,
Трепещи под осиной, бандит!
Вязнет муха в твоей паутине,
Но насквозь её шмель пролетит.

В презренном промысле нелепом
Ты тоже станешь вечным… пеплом!

53.

Я пасу своё вечное горе,
Сторожу в небесах облака.
А когда-то в туманное море
Я впадал, как большая река.

Но увяли святые побеги,
Надо мною кружит вороньё;
И другие какие-то реки
Устремляются в море моё.

Мне бы жить без обид и без жалоб,
Мне бы память топить в коньяке…
Но душа превращается в жабу
В пересохшей до срока реке.

Теперь я пью не за влеченье,
А за свободное теченье.

54.

Не верю приметам обманным
И свету чужого огня.
Я был твоим первым, желанным,
И сын твой похож на меня.

Живёшь суетой, пересверком,
Внимаешь любой болтовне…
Но как ты сумела отвергнуть
Весь мир, просиявший во мне?

Всё кончено! Господи боже!
Мне слышится траурный гимн.
Но я среди множества множеств
Останусь великим — одним!

Эта жизнь предстаёт в беспощадной красе…
Я такой же, как все… Я такой же, как все…

55.

У горящих прощальных рябин,
У берёз, что стоят без одежды,
Обмани ты меня, обмани,
Подари мне былые надежды.

Не стихают во тьме бубенцы,
И уныло — в земное мерцанье
Мои мысли идут, как слепцы,
За такими же злыми слепцами.

Но не тает заснеженный взор,
Не светлеют владенья Эреба.
Я сегодня напьюсь, словно вор,
Потерявший отмычки от неба.

Когда в ночи ты врёшь безбожно,
Мне шепчет ангел: «Всё возможно…»

56.

Не размыкай свои объятья,
Не разводи руками мрак.
Люби меня, не скинув платья…
Хотя бы так, хотя бы так!

Не веря снам, не веря чуду,
Люби за то, что я люблю.
Люби, как Бог любил Иуду,
Уже связавшего петлю.

Люби, смежив глаза и очи,
Кричи всю ночь: «Дурак! Дурак!»
Люби всё злее, всё короче…
Хотя бы так! Хотя бы так!

Я честь от пошлости не скрыл.
Живу в тебе, как раб, бескрыл.

57.

Я изменил предначертанной славе.
Ты изменила — с кем только не лень.
Но всё равно я считаться не вправе:
С тьмою ночной не считается день.

Как же мы стали с тобою похожи!
Оба покрыты неверия мхом.
Грешен я, грешен я, Господи Боже,
Грех убиваю таким же грехом.

Я не истец и не стану виною.
Вместе мы в солнечный терем взойдём.
Чёрная туча плывёт надо мною,
А проливается светлым дождём!

Не верь, поэт, пустыне прозы,
Люби в себе слонов и розы.

58.

С беспечным азартом ребёнка,
Опять, как наседка, во мгле
Ты ловишь и ловишь цыплёнка,
Не думая о журавле.

Конечно, я тоже не Будда,
Но ты почему-то, бог весть,
Всё ловишь цыплёнка, как будто
Он сделан из золота весь.

Кричит во дворе жеребёнок,
Расходится совесть, как дым…
Я брошен тобой, как ребёнок,
Рождённый тобою слепым.

Ты ещё мной до конца не угадана,
Что же ты дышишь дыханием ладана?

59.

Девочка. Распутница. Гусыня.
Быстрая протёкшая вода.
Ты — Богиня, бросившая сына,
Чтоб отца он проклял навсегда.

Вкруг тебя не образы, но рожи,
Дьявольские правила игры…
Ты мои мученья перемножишь,
Чтобы я летел в тартарары.

И когда сгорит последний факел,
Оборвётся в небе корешок,
Ты поплачь, развенчанный мой ангел,
Над моей пропавшею душой.

Не сбылись мечты поэта —
Не про то и не про это.

60.

Тает, тает образ вешний,
Бьются блюдца-чудеса…
Ангел мой! Ты только внешность,
Дом, что снят на полчаса.

Сколько я всего наметил,
Как лепил в ночи мечты!
А теперь на белом свете
Я не Я и Ты не Ты.

Гаснет день, но снова Лира
Плачет чисто и светло…
Откажись, душа, от мира,
Брось под ноги барахло!

Что будет? Мне не всё равно.
А в жизни Бога — всё равно.

61.

Мы эту боль не перемелем,
Наш стыд гуляет по рукам.
Не ты спала с моим апрелем
И свет дарила облакам.

Моя тоска непоборима,
Она вопит и вопиит.
Я врал тебе. Ты не Богиня.
Богиня с дьяволом не спит.

Осенний дождь стучит о крышу,
Безмерна боль, безмерна ночь…
Я третий день тебя не слышу
И не могу тебе помочь.

Моя надежда сбилась с круга.
Ты снова спишь в постели друга.

62.

Ненавижу тебя, ненавижу,
Только, слыша божественный глас,
Я ненастьем земным не обижу
Глубину удивительных глаз.

Я рисую твой образ не горем,
Не слепой, словно дождик, тоской.
Я рисую бушующем морем
И грохочущей в небе грозой.

Но проходят и грозы, и грёзы…
О, скажи мне, родной человек,
Не мои ли вчерашние слёзы
Носят по миру Ноев Ковчег?

Скажи мне не слово, скажи полуслово,
И я буду верить в бессмертие снова.

63.

Когда тебя призрел весь свет,
Когда при всех ты села в лужу,
Я завернул в пушистый плед
Тебя, как утреннюю стужу.

Я в дом вбежал, сорвав крючки,
Закутал всё, что было, в шали…
Но пальцы, словно ручейки,
Ко мне текли и замерзали.

У печки, возле батарей,
Вся жизнь была на перекосе.
— Я так замёрзла! Обогрей!
А то они остынут вовсе…

Всё возвратится на круги своя…
Ты возвратилась ко мне — не моя.

64.

О, дай мне, бог, другое зренье,
Развей навеки этот дым,
Чтоб к ней возникшее презренье
Предстало светом неземным!

О, дай мне, бог, другие уши,
Чтоб я не слышал пошлость слов
И от испуга не разрушил
Тот мир, что выстроил из снов.

О, дай мне, бог, беспечность сказки,
Отраду лучших перемен…
Я так боюсь плохой развязки
В кругу нечаянных измен!

Нежностью сердце больное охвачено,
Значит, напрасно ничто не истрачено.

65.

Ты перед ним развяжешь пояс,
И, клад меняя на гроши,
Твоя любовь бросает совесть
В огонь сгорающей души.

Я рано встал, но было поздно,
Ты пала в городе Содом,
Который я когда-то создал
Из страсти, смешанной с грехом.

Не ты ли ангела раздела,
Не я ли отпер эту дверь,
И не моё ли это тело
С тобою тешится теперь?

Ты существуешь не во сне,
Ты только то, что есть во мне.

66.

Стучит по дороге слепой посошок.
Зима как дыхание ада.
Как больно и грустно, что я пастушок
Большого заблудшего стада.

Грехи и сомнения бродят во мгле,
Витает не дух, а потреба;
И нас прижимает к холодной земле
Высокая ненависть неба.

Опять поднимаю заблудших овец,
Мне большего в жизни не надо…
Куда мне вести это стадо, Отец,
Куда мне вести это стадо?

Как жалок мир! Но вижу — в трепете
Летят по небу гуси-лебеди!

67.

Услада вечного разлада,
Всё те же — бренные круги…
Не упрекай меня, не надо,
Отцы и дети не враги.

Над этой чёрной городьбою,
Над этой чёрною водой
Мы крепко связаны с тобою
Одной потерянной звездой.

Горят глаза, и носик задран,
Ярится чуб наискосок…
За всё, что будет с нами завтра,
Давай помолимся, сынок!

Сын подаёт мне руку, как милость.
Помнится ночь, когда всё получилось.

Укоренение как будущее русской поэзии

Всюду беда и утраты,
Что тебя ждёт впереди?
Ставь же свой парус косматый,
Мечь свои крепкие латы
Знаком креста на груди.
А. Блок

Вам стыдно мастера дурманить беленой,
Как карфагенского слона перед войной.
Н. Гумилёв. «Молитва мастеров»

…В моей жизни распогодилось. И мне захотелось сказать слово, которое поможет молодым русским литераторам разобраться в том, что такое хорошо и что такое плохо в современной русской поэзии.

Я хочу, чтобы меня понимали совсем молодые поэты, потому что взрослые люди, а тем более те что называют себя мэтрами и литературоведами, вовсе не способны воспринимать истину и занимаются только тем, что сбивают с толку других. В их мире не осталось ничего живого. Все эти «литературоведы» желают во что бы то ни стало узаконить мир таким, каким он им кажется; узаконить раз и навсегда. У них нет сил на вымыслы и фантазии, потому что все свои силы они направляют на то, чтобы оставаться такими, какие они есть. Они уже растеряли мужество, они живут в реальности прямых углов, которых нет в природе, и считают, что в этой реальности должны жить все точно так же, как они. Они не выносят никаких посягательств на свою фанерную реальность и потому делают всё возможное, чтобы изгнать, а ещё лучше — уничтожить всё, что посягает на их мир.

Сегодня речь пойдёт о двух поэтах самарской земли — Евгении Семичеве и Евгении Чепурных.

Первый из них — известный на всю Россию поэт, лауреат Большой Литературной премии России, лауреат Всероссийской Лермонтовской премии, лауреат Всероссийской Гамзатовской премии и т.д., и т.п.

Именно Евгения Семичева многие критики называют первым поэтом России. К этому хору голосов присоединяется и голос умного и неоднозначного Максима Ершова, рецензирующего книгу «Великий верх».

«Когда поэты скучились в кухне, а плащ Первого Поэта висит на вешалке в прихожей, утратив тепло последнего, кто осмеливался его носить, кто-то должен выйти из ряда, превозмочь ощущение комка холодной немоты в собственной гортани, надеть этот слишком длинный и тяжёлый плащ и отправиться гулять в нём по России. Кто-то должен. Даже если потом окажется, что в нём больше смелости, чем роста, — должен. И, если такой нашёлся, уже одно это говорит о многом. Поэты поймут, о чём я. Можно писать тонко и красиво, изящно и умно, филологично, можно благоухать своей культурностью, вызывая на себя «огонь» снобистских аплодисментов и премий… Но кто-то должен именно говорить, а не писать. Видит Бог, как трудно это, ведь слишком многие готовы критиканить, готовы к неприятию этого шага из ряда, но шага в другой ряд — сделанного при жизни и полного ответственности. Бог видит. Увидеть бы и нам, и, может быть, больше ничего не надо говорить о Семичеве».

Вот так — ни больше, ни меньше.

Я не имею ничего против, чтобы Евгений Семичев надел на себя этот мистический плащ с чужого плеча; пусть даже это будет не плащ, а хитон или шинель, снятая с Акакия Акакиевича Башмачкина. Пусть. Разве мало у нас было и есть ряженых героев?

И всё же, прислушиваясь к Павлу Флоренскому, я повторяю великие слова: «Везде надо смотреть надвое, ибо всякая вещь двоится».

Доказательством этого становится даже статья «Русь уходящая», где, с одной стороны, Максим Ершов превозносит поэзию Евгения Семичева, а с другой стороны, допускает весьма коварную оплошность, когда пишет следующим образом: «В каждом ряду нам важно различать лица. Семичев-то — левофланговый, причём я говорю здесь не только о «росте», но и самоощущении, подвигающием занять это место — впереди».

Странная штука! Ведь даже детям известно, что «левофланговый» — это тот, кто замыкает ряд или шеренгу.

Впрочем дело вовсе не в этом.

Я признаю, что в нашем мире много миров. Мир Евгения Семичева напоминает мне улицу, перегороженную баррикадой, где неведомые герои сражаются за раз и навсегда провозглашённые истины, при этом даже не замечая, что эта улица и все они существуют только на бумаге и давно уже не имеют никакого отношения к настоящей подлинной жизни. Да, такой мир существует. Но существует и другой Мир, где действительность ещё не отторгнута от потенциальных возможностей; где человеческие чувства, не познавшие железных клеток норм и определений, кружатся в невероятном танце, нежно обнимаясь и прижимаясь друг к другу; где они испытывают непередаваемое блаженство и разлетаются в разные стороны только для того, чтобы обрести нового партнёра, обнять его, расцеловать и потерять навсегда. В этом мире расплавленный хаос человеческих чувств ещё не разлит по привычным формам, а значит, в том мире ничто ещё не привыкло само к себе, ничего ещё не найдено, но ничего ещё и не потеряно. Такой мир существует под знаком Хаоса, и жить в нём герои Евгения Семичева конечно же не смогут, поскольку они созданы по неким лекалам его собственных взглядов и убеждений. Но истинная поэзия рождается именно в том мире, что существует под знаком Хаоса, поскольку этим миром правит не ограниченный и зачастую жалкий человеческий ум, а её величество Неожиданность, дарующая любому человеку возможность быть другим и жить по-другому. На мой взгляд, самое большое человеческое счастье человек обретает тогда, когда не желает тратить все свои силы на обоснование собственного, созданного раз и навсегда образа. А именно это происходит в поэзии Евгения Семичева. Он всё чаще и чаще забывает, что «дело поэта — говорить то, что думается, а не то, что он *положил* себе думать. А стать бессмертным сможет лишь тот, кто вовсе выкинет из головы всякую заботу о том, что *должно*».

Я могу привести в пример десятки стихотворений, которые Евгений Семичев написал с равнодушием фрезерного станка с программным управлением. Картина просто завораживающая: режущий инструмент, подчиняясь изгибам невидимого лекала, с яростным визгом вгрызается в металл, мечется раскалённая стружка, падают «свежеиспечённые» детали в лоток для готовой продукции. При желании в этом тоже можно увидеть поэзию, но даже тогда фрезерный станок вряд ли будет претендовать на звание поэта.

Евгений Семичев, в отличие от фрезерного станка, не жалеет сил, целиком и полностью отдаваясь борьбе за звание первого поэта России, и эта великая канитель не оставляет ему ни сил, ни желания обливаться слезами над небесными вымыслами и пылинками дальних стран. Тогда он начинает создавать рифмованные тексты, подобно мальчику, играющему в конструктор «Лего».

И вот уже на бумаге появляется совершенно мёртвый город Пенза. Невозможно пройти по его улицам, потому что этих улиц не существует. Невозможно заглянуть в его старинные дворики или посидеть на его скамеечках, потому что двориков и скамеечек тоже нет. В этом городе вообще ничего нет. Есть только профессионально зарифмованный текст, а в нём — ни одной живой приметы, ни одной живой детали.

Хотя любовь по-прежнему декларируется и провозглашается поэтом, но всё это не любовь, а «о любви».

Евгений Семичев, как любой широко признанный поэт, уверен, что каждая строчка, рождённая им, должна жить и радовать людей. «Вы говорите, нет любви? Ну, что же! Будет любовь!»

И вот уже на бумаге рождается целый свод доказательств, призванных убедить читателя, что в груди поэта всё-таки существуют естественные человеческие чувства: *«Не чужая я птица средь родного двора», «Поля и деревья не забыли меня», «Как-никак не чужие. Вы сородичи мне», «Я приехал не в гости, а к соотичам, брат. Здесь, на сельском погосте, мои отичи спят», «Здесь, на родине нашей, у отчей версты мне лопатами машут в огороде браты», «Я родниться не против, не залётный сквозняк»*.

Хорошо бы научиться говорить правду, будучи безразличным к ней. Ведь любая эмоциональная окраска делает правду по меньшей мере подозрительной. Тогда она выглядит словно президент с накрашенными губами.

Слова, слова… Такие красивые слова!

Но мёртвый город Пенза всё равно не оживает. Даже ещё больнее, ещё печальнее: вслед за Пензой умирает «любимое» село Лопатино, умирает, не в силах вынести бремя косноязычных перлов своего поэта: *«Ибо в нашей деревне, безотчётно любя», «Потоптал я немало другие края»*.

Евгений Семичев чувствует, что стихотворение не удаётся, ему бы бросить перо!

Но вместо этого в который раз прибегает к помощи своего любимого приёма, когда почти мёртвый текст он пытается оживить с помощью сакральных слов, излучающих собственный свет.

Теперь реанимацией бабушки-Пензы должен заниматься не кто иной, как Александр Сергеевич Пушкин!

Гениальнейший Пушкин этот тракт уважал. Вдоль моей деревушки в Оренбург проезжал. В придорожном трактире пил крутой самогон. Доброй пензенской лире свой отвесил поклон. И впервые озвучил он на весь белый свет: — Есть у Пензы поручик перед Богом — поэт! Вся вселенская бездна по колено ему. Да, прославится Пенза по сему, по всему!

Беда здесь не в том, что слововосочетание «гениальнейший Пушкин» — образец вопиющей пошлости и тавтологии, а в том, что, услышав столь невразумительные слова, Пушкин так и не смог вспомнить, где находится «бабушка-Пенза»; так же он не совсем понял слова про «крутой самогон», который якобы пил в придорожном трактире, а к тому же Александр Сергеевич очень долго не мог успокоиться и поверить, что это он когда-то давно озвучил столь восхитительную фразу: *«Да, прославится Пенза по сему, по всему!»*

В результате всего случившегося Пушкин готов был совсем уже разочароваться в «лучших поэтах России», но не разочаровался, а, напротив, очаровался, прочитав стихотворение, написанное на ту же самую тему другим самарским поэтом — Евгением Чепурных.

И лишь потом любовью здравой
Тихонько любим милый край,
Как отрабатываем право
В нём жить, родившись невзначай.

Но те могучие мгновенья
В душе, как в глубине земли,
Живут, на крайний случай, верно,
Чтоб разлюбить мы не могли.

Прекрасные, могучие мгновенья!

Рискну предположить, что прекрасных неповторимых мгновений Евгений Семичев в Пензе не переживал. Для чего же он пишет столь длинное и столь плохое стихотворение? Не знаю. Возможно, это заявка на памятник, который «толстопятые пензяки» воздвигнут ему в недалёком будущем, возможно, что здесь есть какой-то другой расчёт…

Может быть…

И всё-таки я стою на том, что любая концепция поэта, если она не совместима с побуждениями чистой любви, — полная чушь!

Опровергая меня, Евгений Семичев создаёт новые и новые строки, про которые маркиз де Сад говорил, что они холодны, как

семя дьявола, а Святое Писание выражалось ещё точнее. Помните: «Ибо ты не горяч, не холоден, но тёпл»? А тут ещё один голос доносится: «И ничто души не потревожит, и ничто её не бросит в дрожь. Кто любил, любить уже не может, кто сгорел, того не подожжёшь».

И сразу же вспоминается, как сам Сергей Есенин возвращался в родные края после долгой разлуки. Да, порой он тоже был прохожим русским горлопаном и растрачивал золотой запас своего сердца на совсем не обязательные для истинного поэта восклицания. Но это случалось с ним крайне редко. Как бы то ни было, но я не могу представить Есенина, нелепо и заполошно кричащего о своей любви. Разве нужно морю доказывать, что оно — море? Разве может опуститься небо до того, чтобы объяснять всем и каждому, что оно — небо? Гром и молнии, снег и дождь, тьма и просвет над горами — вот оно, небо!

Точно так же и поэт. Он не будет доказывать с пеной у рта вещи простые, очевидные и сами собой разумеющиеся.

Есенин возвращается в свою юность, и мурашки, бегущие по его коже, начинают бежать по моему телу тоже.

Хочешь, пёс, я тебя поцелую
За пробуженный в сердце май?

Две строчки, всего две строчки.

И хорошо, и грустно.

Так же у Юрия Кузнецова — одна поющая половица встаёт вровень с загадкой славянской души и сразу же делает поэта бессмертным. «Раздражённо скрипят половицы, а одна половица поёт». О, это великая правда! Так всегда жил, живёт и жить будет русский человек: на одной половице с судьбой без последней страницы. Вот так — по одной половице — ведущей то ли к погибели, то ли к вселенскому торжеству. Всего одна строчка!

О «бабушке-Пензе» написано семьдесят две строки, и любая из них становится откровенной неудачей поэта. Но беда конечно же вовсе не в том, что Евгений Семичев написал неудачное стихотворение. Дело не в отдельных неудачах тех или иных стихотворцев, а в страшной тенденции современного поэтического мира, когда стихосложением занимаются люди, очень умело имитирующие человеческие чувства, хотя сами они никогда в жизни этих чувств не испытывали или перестали испытывать на каком-то этапе своей жизни.

Конечно, Евгений Семичев хорошо знает, что любое возвращение на родину обусловлено обострением всех человеческих

чувств; он знает, как должна кружиться голова, но у него голова не кружится. Он знает, что нужно говорить в подобных случаях, и говорит складно и пылко, но забывает при этом, что повторяет слова, сказанные до него миллионы раз.

Ещё больше «повезло» Самаре. Этот город Евгений Семичев решил воспеть словами «Богатырской песни», но дальше складывания слов в рифму дело у него не задалось. Я готов утверждать, что даже поэты-производственники, воспевающие Байкало-Амурскую магистраль, умели придавать своим виршам эмоциональную и даже чувственную окраску. Евгений Семичев штампует строки о Самаре, ничего не ощущая и не чувствуя. В результате «Богатырская песня» становится апофеозом мёртвой поэзии, которая, однако, в силу каких-то непонятных мне причин, претендует на народное признание.

Ты своею могутной пятой Путь-дорожку врагу заступил.
И сияет твой век золотой, Словно храм, до небесных стропил.
И молитвенно Волга-река Твой вселенский читает псалтырь,
Где Создатель вписал на века: «Мой самарский народ-богатырь!»
Здесь святитель Алексий-пророк, На валун водружая просвирь,
За два века до срока предрёк Мой самарский народ-богатырь.

Вот так — бездарно, неуклюже и даже неграмотно.

Именно поэтому слова Евгения Семичева не мечутся, не плачут, не смеются, они просто застывают в каркасе стихотворения, как застывает цемент, вылитый в деревянную опалубку монолитного здания.

А вот у Евгения Чепурных беда-незадача совсем другая. Помните, как Пушкин сетовал на то, что слишком часто его строчки вовсе не принадлежат ему и, восставая против воли и замыслов поэта, живут своей собственной жизнью?

У Евгения Чепурных строчки тоже живут своей собственной жизнью, и любая, даже недописанная строка, может, если ей вздумается, убежать на улицу через открытое окно — только отвлекись! И поэт не знает, какой она вернётся в его дом и вернётся ли вовсе.

Говоришь ей: «Дорогая…»
А однажды вдруг придёшь,
А она уже другая,
Непонятная, как дождь.

Евгений Чепурных пишет как дышит, а дышать ему, в отличие от деревьев и трав, тяжело и больно. Складывается ощущение, что все незримые токи Вселенной, таящие в себе тысячелетнюю

человеческую память, пронизывают его тело, мерцают в нём, как сполохи, невидимые постороннему взгляду. Каждое его стихотворение похоже на дверь в каморке папы Карло. Ленивый и не пытливый читатель видит только старый холст с нарисованным очагом и котелком, подвешенным над ним. Большая часть людей довольствуется этой картинкой и ощущает тепло, исходящее от нарисованного огня. Конечно, нужен огромный талант, чтобы нарисованный огонь согревал человеческую душу. Но происходит это вовсе не от того, что Евгений Чепурных — большой мастер живописных мазков, а по другой, чисто мистической причине: за каждым стихотворением Евгения Чепурных, словно за закрытой дверью, живёт ещё одно стихотворение, и оно, в свою очередь, становится дверью, ведущей в другие пространства, в другие миры…

Я понимаю и верю, что именно от того, какая создаётся литература, зависит то, каким будет наш мир в будущем. Вот почему великие провидцы древности настаивали на том, что поэтов-чернушников необходимо приговаривать к смертной казни.

Евгений Чепурных, будучи ещё совсем молодым поэтом, хорошо понимал, что такое поэтический дар, и писал так:

Ни огня во мраке длинном,
Где и зрячий — как слепой.
Спит коробка с пластилином,
Спим в коробке я с тобой.

Поутру, как замаячит
Проблеск дня в щелях дверей,
Снова слепит тихий мальчик
Дом, деревья и людей,

Солнце, брёвна на запруде,
Нас, коляску и дитя.
Если ж ныне позабудет,
Слепит тыщу лет спустя.

В каждом герое Евгения Чепурных словно задремали мифические герои и события.

Складывается ощущение, что любой странный герой его стихотворений, будь то прожжённый пьяница, философствующий бомж или человек, живущий в трамвае, знает, что наш мир — странное, намного более странное, чем кажется нам, место… Не от того ли все они так дорожат случайными встречами и скупыми словами-жестами, соединяющими их в огромном и яростном

мире, что все они являются родственными осколками одной великой души, когда-то давно торжествующей во Вселенной, а потом — расколотой и рассеянной по земле?

Не оттого ли любая мелочь, любая случайная встреча, оклик, отзвук, всхлип, смех, дыхание, эхо — всё это не затихает, не кончается, не перестаёт быть в поэтическом мире Евгения Чепурных, а напротив — чертит в душе его такие невероятные траектории, по сравнению с которыми орбиты созвездий кажутся ничего не значащими просёлочными тропинками.

А в этом окне — девятнадцатый век,
А в этом — девятый.
А в этом идёт серебрящийся снег,
А в этом — лохматый.

Не бойся, издёрганный в кровь человек.
И будь ты хоть трижды распятый,
Из нашей любви — серебрящийся снег,
Из нашего детства — лохматый.

Ложись на подушку поближе к стене,
Под утро теплее укройся.
А если себя назовёшь ты во сне,
То я не услышу. Не бойся.

Антон Чехов всю свою жизнь мучался от невозможности постичь тайны человеческой души. Он не может объяснить, отчего несчастны его герои, что мучает их, раздражает, разрывает на части чистые их сердца? Кто виноват? Что делать? Почему продают вишнёвый сад? Зачем убивают чайку? Герои Чехова живут в измерении и изменении одного дня, не понимая, что они могут быть съедаемы своей прошлой жизнью, и, что, стреляя в професора Серебрякова, дядя Ваня стреляет в самого себя, а потому промахивается буквально с двух шагов. Представляете, если бы после этого фарса дядя Ваня, уподобляясь Гамлету, произносящему сакральную фразу: «На мне играть нельзя», — произнёс бы не менее страшную и восхитительную фразу: «Нет, нет! Теперь я знаю точно: себя убить нельзя!» Жаль, что Чехов так и не произнёс эту фразу, хотя самоубийства своих героев он устраивает таким образом, что зритель всё равно должен подойти к этим мыслям, ведь смерть Треплёва вовсе не повод для того, чтобы прекратилась игра в лото! И, может быть, только после наложения друг на друга этих фактов — смерти и игры — мы можем правильно истолко-

вать стоны вечных трёх сестёр: «Если бы знать! Если бы знать!» Похоже, что Евгений Чепурных знает.

Знает, как больно жить в теле проститутки богине Леде, а в теле погибающего от тоски алкаша — Гераклу; вот почему в его мире до сих пор продолжается Троянская война; вот почему, спускаясь к Волге по заляпанной рекламой улице, он слышит свист половецких стрел, продолжающих полёт сквозь призрачные времена.

А вот у Евгения Семичева принадлежность к узко обозначенному временному отрезку очевидна, и даже поэма, рассказывающая о временах Алексея Михайловича Романова, несмотря на все поэтические изыски, напоминает мне фигурное катание на заданную тему. А великое множество специальных терминов тотчас же высвечивает поэта, старательно выписывающего из чужих книг знания, не ставшие для самого поэта болью, страданием, счастьем. Когда-то Владимир Солоухин говорил, что авторы подобных произведений похожи на планеры: будучи вознесёнными в небо, они могут выделывать сверхсложные трюки и фигуры, но своего мотора у них нет.

Такой серьёзный недостаток Евгений Семичев пытается компенсировать длительностью полёта на планере. Может быть, он действительно удерживается в воздухе дольше всех остальных пилотов, но при этом одни и те же штучки ему приходится повторять снова и снова, что лётчику, скрепя сердце, можно простить, а вот поэту — простить нельзя.

Начиная писать, Евгений Семичев впадает в грех многословия, и почему-то это ему очень нравится. «Шапку» до конца дочитать просто невозможно, о «Вагоне для некурящих» разговор особый.

«Я отдаю предпочтение «Вагону некурящих», — пишет Максим Ершов, — где мы отчётливо видим у Евгения Семичева следование творческому методу Юрия Кузнецова и все лучшие приметы этого метода: сильные, символические образы, художественная условность, сюрреалистичность происходящего в смешении с обытовляющими подробностями, композиционные повторы, динамика действия, острота конфликта и глубина темы-идеи, наконец, суровая крепость слога и проч. — присутствуют в исполнении его достойного последователя. А концовка демонстрирует семичевскую индивидуальность, его непобедимый лиризм, о котором так хорошо сказал в предисловии к книге Вячеслав Лютый».

На мой взгляд, всё, что здесь сказал Максим Ершов, — морок и обман, это — если мягко. Не знаю, что именно вынудило столь интересного литератора выдавать желаемое за действительное, но

я убеждён, что баллада «Вагон некурящих» не имеет отношения к поэзии вообще.

Герой баллады, уснув, попадает в странный трамвай, где тихо и мирно в своё прекрасное далёко едут мертвецы.

Всех их с миром Господь успокоил. Честь по чести я их схоронил. А по жизни свиданье такое И в тяжёлом похмелье не мнил.

Ну, что же, зачин как зачин. Хотя с первых же строк становится ясно, что поэту выпал редкий случай сна-инициации, такой случай выпадает только тем людям, что готовы умереть и возродиться для новой жизни — более осознанной и зрелой. Как раз об этом замечательно написал Евгений Чепурных в стиховорении «Тринадцатая строка».

...А когда задрожал в руке
Леденистый фужер, искрясь.
На тринадцатой на строке
Кровь невинная пролилась.

Обожгла. Обратилась в суть,
Испаряя животный страх.
Я не знал, что кого-нибудь
Будут резать в моих стихах.

Отвернулся на два глотка.
Думал: выпью — и все дела,
А тринадцатая строка
Кровью жертвенной истекла.

И теперь в тишине крутой
Я тянусь через все стихи
Окровавленною рукой
До четырнадцатой строки.

И всплеснёт она, как волна,
И уколет, как остриё.
И отмоет меня она
От всего, что есть не моё.

То же самое, неизведанное что-то, таинственное, должно было произойти с героем пьяной баллады, но он, что очень странно, даже не пытается протрезветь. В мистическом потустороннем трамвае он ведёт себя как обыкновенный пьяница-обыватель среди таких же пьяных собутыльников. Поведение его просто разит шутовством и полнейшим отсутствием понимания или хотя бы осмысления столь необычной ситуации. И хотя баллада полна

тавтологии и никчёмных пустых слов, всё равно любой человек немедленно протрезвел бы, услышав страшное обвинение в свой адрес: *«Мы давно уже все не живые — те, которыми был ты любим. Видишь раны у нас ножевые — это ты нас беспечно сгубил».* Казалось бы, вот он, переломный момент, когда никуда уже от ответа не сбежать, когда просто необходимо понять, что происходит! Но вместо этого шутовство продолжается и далее. В ответ на обвинения поэт восклицает*:*

Мрачно шутите, я вам не верю! И уже, распалившись на нет, Я тому, кто стоял возле двери, Предложил: «Предъявите билет».

И далее:

Вы, наверное, вовсе сдурели, — Застонал я, как филин в лесу, — Если мне не откроете двери, Я по кочкам трамвай разнесу.

Между прочим, к этому моменту написано уже пятьдесят шесть строк! И до сих пор поэт не смог подарить своему герою ни одной человеческой черты. Сразу же вспоминается великое стихотворение Николая Гумилёва «Заблудившийся трамвай». Посмотрите, сколь разительно отличается истинная поэзия от подделки и имитации.

Мчался он бурей тёмной, крылатой,
Он заблудился в бездне времён…
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон.

Эти слова, эта мольба вырываются из груди героя Гумилёва, несмотря на то, что «Заблудившийся трамвай», как когда-то Сатана Иисусу Христу, готов подарить ему весь мир — от Невы до Сены и Нила и далее — до самой Индии Духа! Здесь с героем стихотворения происходит то же самое, что произошло с Есениным: «Если крикнет рать святая: кинь ты Русь, живи в раю, я скажу: не надо рая, дайте родину мою». Но если строки Есенина не поднялись к вершинам поэзии, так и оставшись «красивым лозунгом», то у Николая Гумилёва человеческое чувство поднимается к звёздному небу и согревает его своей любовью, замешанной на отчаянии и чувстве вины. Какие ещё царства? Какой Нил? Какая Индия? Ведь вот, вот, за окном трамвая отдаляется уже и тает в густом тумане то, без чего жить на земле нельзя!

А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон…
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон.

И тут с героем суровым, как камень, и бездушным, как ростовщик, происходит самое главное, что, увы, не происходит с героем Семичева: он становится живым! Всё, что делало его мёртвым, разлетается в пыль и прах! Живая душа в тот же миг возвращается в его тело, и это волшебное слияние рождает великие строки:

Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковёр ткала.
Где же теперь твой голос и тело,
Может ли быть, что ты умерла?

Как ты стонала в своей светлице,
Я же с напудренною косой
Шёл представляться императрице
И не увиделся вновь с тобой.

«ПОНЯЛ ТЕПЕРЬ Я! — кричит герой Николая Гумилёва. — ПОНЯЛ!»

И вот только потому, что наконец-то ОН ПОНЯЛ, происходит чудо преображения, и Человек вырывается из кошмара чужой жизни, сбрасывает с себя путы и оковы и бежит туда, где ещё существует в пространстве и во времени тот самый переулок и тот самый дощатый забор, и тот самый дом в три окна, где плачет и молится за него Машенька.

И всё ж навеки сердце угрюмо,
И трудно дышать, и больно жить…
Машенька, я никогда не думал,
Что можно так любить и грустить.

Вот он и катарсис! Вот вам и эмпатия! Самовлюблённый франт и повеса начинает чувствовать «чужую» боль сильнее, чем свою собственную, и, таким образом, рождается бессмертное стихотворение. У героя Семичева не то что катарсиса, у него даже зачаточных человеческих чувств нет. Тот же умный и наблюдательный литератор Ершов после прочтения «Вагона» с восторгом скажет, что далее в книге начинается парад стихотворений. О том, какой это парад штампов и словоблоков, мы поговорим позже. Пока же я отмечу, что практически все стихотворения Семичева, вышедшие на парад, просто задыхаются от слов любви к людям и Родине; так и кажется, что они вот-вот поумирают от этой великой любви.

Но отчего же герой «некурящего вагона» не способен на проявление человеческих чувств? Здесь, в отличие от «парада стихотворений», с предельной ясностью видно, что у этого «героя», кроме

его тела и желания покурить, ничего нет. У него нет Родины, нет Бога, и, самое страшное, у него нет Машеньки, ради которой можно жить и умереть. Что остаётся ему? Только одно: «вскрывать» карманы в поисках курева и повторять бессмысленные строки про ангелов с татуировками на крылах, при этом ещё неправильно расставляя ударения в словах. К примеру, слово «искристый» встречается в книге очень часто, но каждый раз оно произносится неправильно. Жаль. Ведь даже цыгане в своих песнях очень дорожат этим необыкновенно красивым словом и даже взяли за правило долго вытягивать первую ударную букву «и».

А баллада всё длится и тянется, напоминая холодные стальные рельсы, которым нет ни конца ни начала. Поэт уже вовсе не владеет ситуацией, говорит косноязычно, бездумно, на каждой второй шпале противореча сам себе.

Возразил мне угрюмый водитель: — Никаких остановок здесь нет. Если вам выходить, выходите. Всем родным и знакомым — привет!

Казалось бы, устами вагоновожатого говорит сама любезность, но герой Семичева уже закусил удила, «попёр в дурь» и явно не способен понять слова, обращённые к нему. И вот что следует далее:

Я разинул гортань, как ворона. А по телу рассыпалась дрожь. Потому что он был на Харона Неприступностью скорбной похож.

Какая неприступность? Откуда? Разве об этом говорил вагоновожатый? Не знаю. Может быть, эта строфа возникла только потому, что Семичев больше всех других слов любит слова «ворона» и «Харон», рифмуя их к месту и ни к месту?

Тем временем странная поездка продолжается. Пьяный герой ведёт себя как пьяный герой. Не зная, что ему делать и что сказать, он начинает повторять-рэпировать одни и те же слова, что-то вроде припева.

Среди рельс, монотонно звенящих, Среди жалобно стонущих шпал Мне достался вагон некурящих. Слишком долго я, видимо, спал. В запредельном кромешном кошмаре, Проклиная себя и тот свет, В третий раз я карманы обшарил. И опять не нашёл сигарет.

Впереди — ещё более ста строк: двенадцать трамвайных остановок! Но на просвет уже надеяться смешно и глупо.

Никакие дальнейшие события никоим образом не задевают и не затрагивают автора баллады. Даже, когда *«в вагоне, заполненном мраком» «ребёнок заплакал, как надрывный трамвайный звонок»*, — герой Семичева ничего не понял. И даже тогда, когда мёртвые пассажиры начинают бросать ему в лицо страшные обвинения, а

ещё — написанные им книги, он всё равно, как попугай, повторяет свой любимый припев про татуированных ангелов и про то, как они летят в розовой мгле, «*помывая крылами трамвай*».

Конечно же Евгений Семичев — искушённый поэт, и в какой-то момент он понимает, что его баллада — всего лишь бессмысленный набор слов… и тогда он пытается исправить положение, но у него снова ничего не выходит. Остаётся только расписаться в собственной беспомощности да свести огромное количество строк к плоской шутке:

Только вы обо мне, как о чуде, Не спешите взахлёб говорить. Если есть на земле ещё люди, Дайте кто-нибудь мне закурить.

Вот так! Полная беспомощность в раскрытии темы.

А вот, например, Олег Чухонцев, побывав в таком же «трамвае», начинает думать глубоко и точно:

И всех как смыло. Всех до одного.
Глаза поднял — а рядом никого,
ни матери с отцом, ни пониманья,
лишь я один, да жизнь моя при мне,
да острый холодок на самом дне —
сознанье смерти или смерть сознанья.
И прожитому я подвёл черту,
жизнь разделив на эту и на ту,
и полужизни опыт подытожил:
та жизнь была беспечна и легка,
легка, беспечна, молода, горька,
а этой жизни я ещё не прожил.

На мой взгляд, во всей балладе «Вагон некурящих» есть только одна настоящая строчка: «*Если есть на земле ещё люди*». Но у Семичева эта строчка родилась явно случайно. Он даже не заметил, какая бездна скрывается в ней. А вот Евгений Чепурных мимо такого богатства пройти не сможет. И потому совсем не удивительно, что его гуманоиды гораздо человечнее героев Семичева.

Оно ходит по серой метели,
Трёхглазое инопланетное существо.
— Поздно, — говорит, — прилетели.
Нету, — говорит, — никого.

Мокрая такая слезища…
И передёрнулся весь.
— А может, — говорит, — поищем?
Может быть, кто и есть?

А ещё у Евгения Чепурных тоже есть свой трамвай, но двери его открываются далеко не для всех.

Ах, ничего не понимая,
Легко в пути. Легко в пути.
Я тут живу в одном трамвае.
Так, ради Бога, заходи.

В окно посмотрим, поскучаем.
Сквозь воздуха и влаги смесь
Деревья, листья посчитаем:
А вдруг одно родное есть?

Ведь даже у любой собаки
Есть покровитель в небесах.
Вдруг отразится жизнь, как факел,
В случайно-любящих глазах?

И вот тогда — не будь в обиде
Душа к душе. Наедине.
Убей меня, чтоб я не видел
В них сострадания ко мне.

Читая это стихотворение, я завидую поэту Чепурных; завидую потому, что он овладел той самой магией единства паузы и слова, о которой с таким восхищением говорили древние поэты, барды и алхимики.

И что из себя представляют знаменитые паузы Станиславского по сравнению с безумными паузами этого стихотворения?!

И вот тогда
Не будь в обиде
Душа к душе
Наедине
Убей
Меня
Чтоб я не видел
В них сострадания
Ко мне.

Огромное белое безмолвие отделяет здесь одну строку от другой целой бездной вероятностей.

Бездна бездну призывает.

И поэтому сами строки становятся подобны безднам, призывающим друг друга.

Конечно же написать так может только человек, познавший, что такое быть песчинкой в пустыне и каплей воды в океане. И только такой человек мог написать золотые строки двадцатого века:

И стояло песочное время,
Упираясь в песчинку одну.

Порой мне кажется, что поэтический мир Евгения Чепурных даже в самые холодные времена обогревает лёгким и чистым дыханием необыкновенная девочка, имени которой он не знает и узнать боится. К тому же об этой девочке он до сих пор не произнёс ни одного слова. Наверное, он прав: потому что любой человек, посмевший написать о своей сокровенной любви, непременно потеряет её и никогда уже не сможет отыскать её на земле. Написать о своей любви — всё равно, что раньше времени сжечь шкурку Лягушки-Царевны.

Мне кажется, что я знаю имя этой девочки. Иногда она тоже приходит ко мне, и тогда я бываю счастлив.

Светлую необыкновенную девочку зовут Впечатлительность. Именно она живёт в сердце поэта и становится источником истинной поэзии. Пока Впечатлительность жива, пока поэт не убил её, она неустанно комбинирует прекрасные мгновения, обрывки, обломки, запахи, мелочи, случайные обстоятельства, оттенки, и поэт сам не понимает, как легко он создаёт те или иные произведения. Это и есть сотворчество. Убивает необыкновенную девочку гордыня и жажда славы. И тогда поэт вынужден имитировать то, что когда-то было истинным, живым и настоящим. Сергей Есенин хорошо это знал, когда писал своё стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу…».

Стерн говорил, что поэт остаётся поэтом, пока в нём есть две составляющие: впечатлительность и вдохновение. Наверное, так оно и есть. Умер же живописец Франчиа от восхищения после того, как увидел картину Рафаэля!

Истинный Поэт умирает сразу же после того, как его покидает Впечатлительность. Остальные живут долго, пользуясь услугами проституток.

А теперь снова о Евгении Семичеве.

Похоже, что, замороченный восторгами столичных и сельских литературоведов, наш бедный поэт действительно мнит себя спасителем России. И в этом нет ничего удивительного. О великом своём предназначении Евгений Семичев знал с самого детства, поскольку он «был отчаянный лунатик в свои пятнадцать юных

лет». Несмотря на то, что состояние лунатизма ни в коей мере не соотносится с «отчаянностью», Евгений Семичев и впрямь становится необыкновенным мальчиком на фоне своих сверстников, которые занимались лишь тем, что «в снах эротических метались», а наш герой, как и все великие люди, «был на сирых не в обиде» и, «небесным светом облучённый», «понял через много лет, что был с рожденья обречённый на кличку звонкую — «Поэт!». Видимо, именно там, на лунной крыше, мальчик Семичев научился смотреть свысока на обычных людей, а теперь он просто испепеляет взглядом паскудных и подлых обывателей:

Для них моё сердце открыто На этом промозглом веку… А те, кому снится корыто, Пусть в лавку идут к мяснику.

Не щадит Евгений Семичев и своих певчих собратьев:

Обо мне не жалейте, Я вас должен жалеть. Мне в похмельном бессмертье С вами песен не петь! …Среди без вести павших Погружаясь во тьму, Антологии ваши Я с собой не возьму.

Я понимаю, что Юрий Кузнецов, ставший Великим Посвящённым России, имел право говорить: *«Я один. Меня звать Кузнецов. Отстальные — обман и подделка!»* — но откуда у Евгения Семичева эта спесь и этот гонор? Дело вроде бы ясное: ему очень хочется занять место великого поэта, несмотря на то, что сам Юрий Поликарпович не оставил после себя ни одного ученика и преемников не назначал. Но народная мудрость гласит: свято место пусто не бывает, его тут же занимает нечистая сила.

Молю Георгия Святого Меня зачислить в ту же рать. Ведь надо после Кузнецова Кому-то небо подпирать.

Вот так — ни больше, ни меньше!

Хотя, если разобраться, вряд ли плечи бутафорского поэта смогут выдержать эдакую тяжесть. Да и к основным поэтическим воззрениям Юрия Кузнецова претендент на его место не имеет никакого отношения. Вот, скажем, Юрий Кузнецов много раз обращался к символике «тени». Евгений Семичев, оказывается, тоже не лыком шит, но зато каждое кузнецовское лыко он может положить в свою строку. Например, вот так:

Оглянусь на промозглом ветру И швырну свою шапку на ветер. Только тень я с собой заберу, Это всё, что имел я на свете. Остальное бери, вороньё! Кроме тени моей, остальное… Побредём мы с ней в царство её, Промотав моё царство земное. И, когда в роковой Судный День Я предстану пред Богом несмело, Бог воскликнет: «Зачем тебе тень? Я отвечу: — В ней женщина пела. И клубились созвездья Твои, И слезою душа умывалась… Это тень

от небесной любви, Это всё, что мне в жизни досталось. Тень свою и в небесном раю, Как подарок, сгребу я в охапку…

Интересные вещи получаются! В поэме «Золотая гора» Юрий Кузнецов пишет:

На повороте роковом
Далёкого пути
Отсёк он тень свою ножом:
— О, верная, прости!

Великий мистический поэт понимает, что взойти на Золотую гору может только тот человек, что не отбрасывает тени, и потому, чтобы Аполлон не смог низвергнуть его вниз, герой поэмы должен навсегда расстаться со своей тенью.

А вот Евгений Семичев, противореча своему учителю, делает всё с точностью до наоборот. Он цепляется за свою тень, как утопающий за соломинку, не желая расставаться с ней даже в «небесном раю». Создаётся ощущение, что именно в ней скрыт смысл всей жизни Евгения Семичева.

Интересно, знал ли Евгений Семичев о символике слова «тень», когда писал стихотворение «Оглянусь на промозглом ветру»? А может быть, он потому так крепко держится за свою тень, что пытается таким образом усидеть на двух стульях разом? С одной стороны — патриот до мозга костей, проклинающий Москву, которую «попутал чёрт»; с другой стороны — слаб человек, и порой очень сильно хочется ему успехов, известности, наград, пусть даже из рук того самого чёрта.

За последние двадцать лет нынешней олигархической властью России нанесён ущерб, превышающий все батыевские, польско-шведские, наполеоновские и гитлеровские погромы вместе взятые.

Таких темпов истребления коренного населения не ведали даже американцы, уничтожая индейцев. Россия стала исполинской мясорубкой, гигантским Освенцимом; нацистским преступникам и не снились такие темпы решения «славянского вопроса».

Выступать с чтением стихов перед этой властью русскому поэту просто невозможно. Лучше умереть. Это ведь всё равно, что Твардовскому читать своего «Василия Тёркина» генералам вошедшей в Москву гитлеровской армии.

Евгений Семичев не особо щепетилен в этих вопросах. Он пьёт водку в Госдуме, поскольку он *«литературный крутой ав-*

торитет» — как-то это по-блатному звучит. Потом он пьёт водку в Кремле и при этом сочиняет стихи:

Но я не шибко гордый, Когда в стакан мне льют, Хотя моею мордой О стол казённый бьют.

Вот так! Одной рукой оккупационная власть наливает водку в рюмку поэта Семичева, а другой в то же самое время стирает с лица земли столь горячо любимый «крутым авторитетом» русский народ.

И в это же самое время где-то на окраине Самары, где живут пропадающие русские люди, вершится совсем другое действо, проходящее через сердце Евгения Чепурных:

Осушив одним махом,
закусив наугад,
рядом с мусорным баком
это полный отпад.

Обнялись бескорыстно
на задворках кафе
мальчик в форме пятнистой
и старик в галифе.

Молча двинули к рынку,
словно к центру земли.
Так вот дружно, в обнимку,
в новый век и вошли.

Словно в яму из ямы,
где кресты да кресты,
где ни папы, ни мамы,
только ночь да менты.

В Новый — жирный, как боров.
Жалкий, как недород.
В этот новый, который
их обоих сожрёт.

Не взгрустнув, не оплакав,
не признав никого.
Возле мусорных баков,
вероятней всего.

За такие строки я и люблю Евгения Чепурных. Он вообще пишет только о том, что хорошо знает…

Даже если вернуться к разговору о символике, то и здесь Евгений Чепурных сотворяет мудрое и очень глубокое стихотворение.

Твои рассыпанные зёрнышки
Дыханьем чистым сквозь дымы
Всходили вновь на самом донышке
Переполнявшей душу тьмы.

Скорбящее за человечество,
О, как ты терпишь каждый день,
Моё Небесное Отечество,
Свою поруганную тень?

Да, меня радует поэзия Евгения Чепурных.

Но я очень хорошо помню, как за ранними стихотворениями Евгения Семичева виделось и скрывалось удивительное мировоззрение, словно родившееся в стихии тех самых волшебных блоковских строк:

Случайно на ноже карманном
Найдёшь пылинку дальних стран,
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман.

Именно к такому Семичеву можно с уверенностью отнести слова Леонида Костюкова: «Его поэтическая система работает только в состоянии полного напряжения души и сердца, только абсолютно всерьёз, как ружьё, которое не способно стрелять холостыми патронами. Признак настоящего поэта — пока находишься внутри созданного им мира, нет нужды в альтернативных мирах».

Но вот в мире, что раскрывается в книге «Великий верх», мне жить не хочется. Задыхаюсь я. От прежнего Евгения Семичева там уже ничего нет.

Однажды поэт Глеб Горбовский получил письмо от юной поклонницы; она написала: «Поэт, вы стали толстым. И потому я не хочу читать ваши новые книги».

Что же случилось с Евгением Семичевым?

Почему, даже возвращаясь в родное село Лопатино, он не может стать живым человеком? Почему он смотрит, но не видит? Почему говорит слова, которые поэту говорить нельзя даже под страхом смерти?

Ты куда, душа, ходила? С кем в чужом шалалась сне? Ты опять, душа, блудила, Словно кошка по весне. В том краю тебя, блудницу, Больше видеть не хотят. Ты стихи в мою светлицу Натаскала, как котят. Хватит их на многотомник. Не проймёшь тебя никак. Превратила дом в питомник, Обратила жизнь в бардак.

Вот так — ни больше, ни меньше. Бедная душа! По воле Евгения Семичева она превращается в волейбольный мяч, в блудницу-кошку и в чёрт знает во что ещё!

Когда-то Николай Гумилёв написал замечательное стихотворение:

Сады моей души всегда узорны,
В них ветры так свежи и тиховейны,
В них золотой песок и мрамор чёрный,
Глубокие, прозрачные бассейны.

Растенья в них, как сны, необычайны,
Как воды утром, розовеют птицы,
И — кто поймёт намёк старинной тайны? —
В них девушка в венке великой жрицы.

Глаза, как отблеск чистой серой стали,
Изящный лоб, белей восточных лилий,
Уста, что никого не целовали
И никогда ни с кем не говорили.

И щёки — розоватый жемчуг юга,
Сокровище немыслимых фантазий,
И руки, что ласкали лишь друг друга,
Переплетясь в молитвенном экстазе.

И вот, создав такое чудо, Николай Гумилёв долгое время боялся прочитать это стихотворение своим друзьям. Представляете! Идти на расстрел с улыбкой на устах — не боялся, а прочесть великое стихотворение не решался, поскольку ему казалось, что о таинствах своей души нельзя говорить даже очень красивыми словами.

Так же Евгений Чепурных опасается любоваться красотами своей души, как Бог не может любоваться красотами Вселенной, ибо он Сам и есмь то, что есмь.

Суть поэзии Евгения Чепурных, как мне кажется, скрывается только в том, что каждая строчка, рождённая поэтом, никогда ранее не существовала на земле, не существовала ни в одной из галактик, и потому даже самую простую строчку, рождённую поэтом, можно считать не только прекрасной, но и равной творению Бога, хотя сам поэт боится назвать свою Душу по имени.

И медленно-медленно тянется снизу
Душа, облачённая в смутную ризу,
Душа, не привыкшая к тяжести ветра,
Скрывая смущенье своё.

И машет руками — нет-нет! — не руками.
И смотрит глазами — нет-нет! — не глазами.
И плачет слезами — нет-нет! — не слезами.
И видят слепые её.

Юрий Кузнецов с ужасом и восторгом пророка ощущал вселенские катаклизмы всего лишь потому, что душу его зацепила бабочка. Евгений Семичев превращает свою душу в волейбольный мяч, лупит её, швыряет над забором в пределы такого же безумного ангела, как и он сам, — и ничего не боится! Он не понимает и не хочет понимать, что всё прошлое, всё, что было, всё, что есть, и всё, что будет, находится в нашей душе, сама природа человеческого существа предполагает святость наших незримых пределов… Душа, убившая в себе какую-то свою часть, никогда не оживёт в последующей действительности, случись она в родном селе Лопатино или на соседней звезде. Конечно, даже войдя в форму волейбольного мяча, душа всё равно остаётся бескрайней и вселенской, сохраняя свою врождённую Полноту, но при этом она уже может не пожелать снова войти в телесную форму Евгения Семичева.

«Отпущу свою душу на волю и пойду по широкому полю», — писал Юрий Кузнецов.

«Моя душа сбирает милость», — пишет его ученик.

Между первым и вторым — целая пропасть, и мосты над ней подожжены самим Юрием Кузнецовым.

Сатпрем говорил, что всякое переживание, любое знание какого угодно порядка начинается с самого материального уровня и заканчивается метафизическим высотами, познание идёт через интуитивное подсознательное отождествление, и поэт, как никто другой, должен отдавать себе в этом отчёт. Мы все являемся тем, что познаём. Истинное знание достигается не путём мышления. Грибоедов был прав, утверждая, что всё горе — от ума. Не нужно быть Плотиным, чтобы достичь вселенского духа. Наоборот, чем менее развит ум, тем легче достичь переживания космического сознания — у пастуха под звёздным небом, у старика-рыбака посреди моря для этого больше шансов, чем у всех философов мира, вместе взятых.

«Тогда к чему всё это развитие человеческого сознания, — задаётся вопросом Сатпрем, — если природный мистицизм эффективнее? Тогда следует признать, что либо мы находимся на ложном пути, либо мистические уходы не являются всем смыслом эволюции. С другой стороны, если предположить, что эволюционный путь проходит через вершины человеческого сознания, достигнутые Леонардо да Винчи, Френсисом Бэконом, Бетховеным,

Сервантесом, Данте, Пушкиным, тогда мы вынуждены будем признать, что ни одна из этих высот не способна преобразовать жизнь. Необходим другой принцип сознания. Но этот иной принцип должен быть неразрывно связан с предшествующим, ведь если рвётся эта связь, всё тотчас летит к чёртовой матери или прямиком в тартарары. Мы должны выйти из этой комнаты, не входя в неё».

Истинное знание — это то, чем является ваша душа, это то, чем она была, что она есть, и чем она будет. Без этой ослепительной тождественности, без этого основополагающего тотального единства человек не может быть родным для мира и Бога. Евгений Чепурных хорошо понимает, что Душа — это кровное единство всех вещей. Об этом он пишет так, как не пишет ни один из известных мне современных поэтов.

Не укоряй меня, ибо,
Век свой кончая в нужде,
Я, как летучая рыба,
Ближе и ближе к воде.

Не улыбайся так худо.
Ведь, выбиваясь из сил,
Может, не Знанья, а Чуда
Я в этой жизни просил.

Чудо! Лицо молодое.
Чудо! Всегда и везде.
Чтоб поднялось над водою
То, что должно быть в воде.

Евгений Чепурных талантливо и мудро, не произнося высокопарных слов, подводит своего читателя к мысли, что духовная жизнь не является чем-то, что можно чётко зафиксировать или сформулировать, или связать каким-то правилом, или втиснуть её в рамки Евангелия или Корана. Тот, кто вошёл в такое учение и не вышел из него, подобен человеку, нырнувшему в воду и не вынырнувшему назад. Духовная жизнь больше напоминает летучих рыб, пытающихся познать другую реальность. Духовная жизнь — это необъятное поле эволюции, грандиозное царство с сотней провинций, где можно найти тысячи типов, стадий и форм духовного идеала и так же много ступеней духовного переживания, и, притулившись на любой из этих ступеней, поэт может увидеть во сне или наяву свой знак, данный только ему одному, и этот знак на одно мгновение озарит путь, которого не было минуту назад, и которого не будет уже в следующую минуту.

Нужно только слушать ветер
На ветру, не взаперти.
В старом парке на рассвете
Очень медленно идти.

И дышать синичьим пеньем,
И возвышенно стареть.
И над собственным кипеньем,
Улыбаясь, пальцы греть.

Пространство, в котором живут герои Евгения Чепурных, имеет свойство быть конкретным и живым даже тогда, когда оно создано из собственного воображения; при этом оно насыщено такой бесконечной болью и тревогой, что действительно начинаешь верить, что в мире любого истинного поэта край света сияет за каждым углом. И каждый раз, приближаясь к такому краю, Евгений Чепурных чувствует потребность войти в прямую связь с новым, только что сотворённым миром, и при этом все его лирические герои начинают с беспризорной тоской-кручиной переживать чувство полной открытости перед людьми и Богом, в результате чего они становятся выше любых идей и восклицаний.

Читая Евгения Чепурных, я думаю о том, что каждое слово, написанное этим поэтом, заслуживает восхищения. Слово! Где существовало оно до того, как его нашёл поэт? Может быть, нигде? Разве это не чудо?

А вечная боль поэта состоит в том, что сам он вовсе не является чудом и то, что он совершил, как бы только пришло через него, но им самим вовсе даже не является. Тысячи людей входят в прекрасный, таинственный мир поэта, а сам поэт в это время стоит в стороне или того хуже — погибает от тоски и чувства кромешной безысходности, граничащей с ощущением собственной ничтожности и никчёмности.

Истинный поэт, поставив точку в своём произведении, нисколько уже не связан с этим произведением, поэтому успех и провал оного для него не имеют никакой ценности.

Тайна Евгения Чепурных видится мне ещё в том, что, в отличие от многих других, даже гениальных поэтов, он населяет свои произведения явно больными словами, и они, так же как люди, плачут, стенают и скорбят. Истинное произведение, считает Евгений Чепурных, не может состоять из вполне здоровых, упитанных слов с температурой крови, равной 36,6.

Болезнь слов это и есть истинная литература.

Можно сколько угодно смеяться над малохольными и нелепыми героями стихотворений Евгения Чепурных, но они, даже слыша наш смех, продолжают стоять на берегу Мирового океана и, подобно герою великого Юрия Кузнецова, на вопрос людей: «Зачем вы бросаете в воду сахар?» — отвечают: «Меняем океан!»

Читая стихотворения Евгения Чепурных, я чувствую хрупкость этого мира, чувствую, что, если я немедленно не прочту это стихотворение, оно может погибнуть от своей собственной боли и я никогда не смогу найти его в томике поэта в следующий раз. А ещё я понимаю, что поэт нуждается не в идеях, а в пространстве, которое может скрываться не только в бесконечной пустыне, но и в одной песчинке, упираясь в которую, стоит и не движется «песочное время».

А вот читая книгу Евгения Семичева «Великий верх», я понимаю, насколько узкими и лживыми могут быть ум и память. Дальше — больше: возникает ощущение, что поэта Евгения Семичева наделили чужой жизнью, что он живёт в темноте, натыкаясь на всевозможные предметы и препятствия, что он нигде не дома, что всё ложно — слова, идеи, чувства, что везде подделки и имитация, везде разлад. Всё это не То, всегда не То и не ЭТО, всегда около, приблизительно, недостаточно и неточно. Но вместо того, чтобы, подобно сказочному Иванушке, нырнуть в котёл с этой кипящей бедой и вынырнуть из неё живым и обновлённым, Евгений Семичев продолжает работу над новыми стихотворениями, которые всё так же напоминают слепки с истинных человеческих чувств. И тогда мастер уступает святое место бесталанному ремесленнику-имитатору, который заполняет строки мёртвыми прилагательными: «*За ним увязалась крикливая стая ворчливых драчливых чванливых ворон*»; и тогда в виршах большого русского поэта «Небо начинается с земли и восходит в космос выше крыши»; и тогда о своём сердце можно написать следующее:

И разорвётся на части оно, Служащий морга со вздохом Бросит в открытое настежь окно Сердце моё кабысдохам. Ах, ты, сердечный мой, мать твою так! Верным ты ведаешь средством. Ведь прикормить можно лютых собак Лишь человеческим сердцем.

Несмотря на то, что «загнанный бедный Пегас» уже не возносит Евгения Семичева к небесам, он даже не тоскует о чём-то ином, о более истинной жизни, о более истинных знаниях, о более истинной связи с миром и существами…

В стихотворении «Мои читатели» Гумилёв писал:

Я не оскорбляю их неврастенией,
Не унижаю душевной теплотой.
Не надоедаю многозначительными намёками
На содержимое выеденного яйца,
Но, когда вокруг свищут пули,
Когда волны ломают борта,
Я учу их: как не надо бояться,
Не бояться и делать, что надо.

…А когда придёт их последний час,
Ровный, красный туман застелет взоры,
Я научу их сразу припомнить
Всю жестокую, милую жизнь,
Всю родную, странную землю
И, представ перед ликом Бога
С простыми и мудрыми словами,
Ждать спокойно его суда.

Вот так пишет истинный поэт: спокойно и мужественно.

Евгений Семичев, говоря о тех же самых вещах, так и норовит разорвать рубашку на груди.

Я согласен на смертные муки. И сгорю на гееннском огне. Но в райской небесной разлуке Не хватать будет Родины мне.

Даже разговаривая с Богом, Семичев не перестаёт быть артистом. Он умоляет возвернуть его в ненаглядную любимую Русь. Но зачем возвращаться туда, где ничего нет? Родина с большой буквы не может видеться человеку, сгорающему на гееннском огне. А Машеньки у Евгения Семичева нет…

Чувство меры (читай — красоты) вообще не свойственно Евгению Семичеву, стиль его стихотворений напоминает походку пьяного человека, воображающего себя моряком.

Иисусу Христу и во сне не привидится, как поэтично и красиво можно нести крест на Голгофу. Крестный путь Евгения Семичева начинается с того, что ему «жалостно крестит мама спину», а он, ничего не отвечая маме, сиротливо оглядывается окрест и судьбе безжалостно навстречу начинает смиренно нести священный тяжкий крест. При этом он вовсе даже не падает под тяжестью страшного атрибута казни, а даже наоборот — гордится сам собой и сам себя воспевает:

Не печальтесь, дорогие люди! Извини, великая страна, Что не пру на мир широкой грудью: Сгорблена от тяжести спина. Может, и иду походкой шаткой, Может, и не праздничный видок.

Но зато под левою лопаткой Ощущаю счастья холодок. Кланяюсь соседскому забору И степному солнцу-колесу.

Да, ребяты-акробаты, хорошо жить на этом свете, когда нам и Крестный путь осилить — что поле перейти, кланяясь соседскому забору и степному солнцу-колесу!

Ряженая поэзия — без боли, без души и сердца.

Ну, ладно, нет большого таланта, его у многих нет, но ведь можно добиваться успеха за счёт усердия и мастерства. Можно работать над словом «с тщательностью и терпением средневековых цеховых мастеров-златокузнецов и гранильщиков, резчиков и ювелиров».

Нет, работать над словом живому классику тоже не хочется.

Привычка лежать на облаке и любовь к Родине с большой буквы лишили Евгения Семичева чуда наблюдательности, постижения и фиксации примет, штрихов, деталей, нюансов, красок, оттенков, звучаний и отзвучий, свойственных живой материи мира.

Орёл встрепенулся двуглавый, Трескучей фанерой звеня… — Земляк, из какой ты державы? — Прохожий спросил у меня.

Ну, скажите, как может «трескучая» фанера звенеть? Где можно найти прохожего, говорящего столь невразумительно-чудовищную фразу?

И всё это не случайность. В книге «Великий верх» появляется великое множество громких и патетических слов, а вот зримые, реалистически точные детали отсутствуют полностью.

В одном из стихотворений Евгений Семичев, как обычно, клянётся в любви к России, как обычно, ругает «кромешных чёрных чертей», искушающих его «кровавой блудной смутой», и заканчивает стихотворение так:

Но никакие блудни С пути нас не собьют, Пока играют лютни и лютики цветут.

Заморские лютни, о которых русский народ слыхом не слыхивал, и лютики-цветочки — вот и всё, что становится символами Родины с большой буквы. Жалкое бездарное стихотворение, да, к тому же Евгений Семичев, ничтоже сумняшеся, пишет в этом стихотворении, что *«лютики-цветочки лазурно голубы»*, когда на самом деле лютики — цветы жёлтые.

Евгений Семичев просто неудержим в своём тяготении к большим и изрядно потрёпанным словам. Может быть, поэтому он бессилен в эпитетах: *«из чистых, искристых, безгрешных — оброненных ангелом слёз», «Для милой, любимой и нежной несу я лиловый букет»*.

Право, слишком мало назвать Русь «*колдовской, любимой, таинственной*», а высь — «*горней, высокой, ясной*», чтобы обыкновенные прилагательные превратились в эпитеты, как это бывает с куколками гусениц, когда они становятся бабочками. И слишком вычурно — придумывать историю про кошку, которая якобы и есть главная причина воскресения Христа.

Римские солдаты на посту видели, Хотя и были пьяны: Приходила кошка ко кресту И Христу зализывала раны. Презирая воинскую власть псов, Что на расправу шибко рьяны, На Голгофу кошка поднялась И Христу зализывала раны. Первой проложила кошка след Грешным Божьим чадам во спасенье… А потом уже пришёл рассвет. А за ним пришло и Воскресенье.

Если бы это действительно было так, то вряд ли бы католическая церковь стала уничтожать катаров, обвиняя их в том, что они боготворят кошек и целуют их в зад.

Дело здесь, наверное, в другом. Евгений Семичев, в отсутствии истинного поэтического вдохновения, пытается привлечь к себе внимание любым доступным для него способом, завлекая неискушённого читателя своей протоистичностью. И тогда Голгофа становится бутафорской, а Крестный путь пролегает по сцене, где торжествуют ярко намалёванные декорации, риторика, ходульность, актёрство и сусальные красивости.

Чтобы быть поэтом, нужно уметь разрывать силки разума, заблуждений и знаний, дабы не попасть в ловушку записного мыслителя или не угодить в рабство какой-нибудь красивой Идеи. Раб внутри нас, о котором когда-то говорил Чехов, только и ждёт возможности, чтобы обнести дух творца стеной форм, но поэт всегда должен идти за пределы этого, всегда отвергать меньшее ради большего, конечное ради Бесконечного; поэт должен идти от озарения к озарению, от переживания к переживанию, от одного состояния души к другому… А также для поэта смерти подобны вечные привязки к тем истинам, которые люди, окружающие поэта, считают самыми надёжными.

Поэзия — это переход из прошлого в будущее по ступенькам настоящего.

Душа поэта может гладить волосы любимой женщины, может топить на море корабли, может быть циклоном, рождённым в просторах Великого океана, может быть речкой, протекающей через родное село, спрятанными сокровищами, городами, исчезнувшими с лица земли, а может быть кошкой, орущей на ночной мартовской крыше, или вороной, залетающей чуть ли не в каждое

стихотворение Евгения Семичева. Каждый здесь выбирает по себе.

Я и сам по глупости мирской, Как верблюд, в гордыне непристойной С рабскою презренною тоской Харкал на небесный свод престольный.

Наверное, именно после таких слов умирает чудесная девочка Впечатлительность. А без неё поэт способен только на то, чтобы строить мёртвые города и ходить по их улицам, притворяясь живым.

Неужели Евгений Семичев уже никогда не услышит чудный голос, льющийся с неба?

Евгений Чепурных, в отличие от своего певчего собрата, слышит этот глас и пытается создать мир, где его любимой девочке непременно захочется жить и любить.

Когда окончу Университет —
А это обязательно случится —
Я научусь сквозь плотные ресницы
Смотреть на то, чего на свете нет.

Пройдусь перед чертой и за чертой,
За все загадки знаньем отомщённый.
И мне протянет лапу кот учёный,
Позвякивая цепью золотой.

Когда окончу… (А когда — Бог весть)
Воскликну изумлённо и уныло:
— Ого! Вот значит, как оно всё было!
Ага! Вот значит, как оно всё есть…

И разграничу свет и пустоцвет,
Трещотки и Божественные громы.
Когда окончу Университет,
Мне будут ни к чему уже дипломы…

Наверное, кто-то из людей, близко знающих Евгения Чепурных, может подумать, что здесь поэт всего лишь красиво оправдывается за то, что так и не смог приобрести высшее образование. На самом же деле я слышу голос Бога, обращённый к нему: «Не грусти, поэт! У Меня ведь тоже аттестата о среднем образовании нет!»

Сегодня миллионы людей считают себя истинно верующими людьми. Но мало кто из них умеет изъясняться на всех человеческих языках. Мало кто из них может держать в руках ядовитых змей. Мало кто из них может выпить смертельный яд и даже не

поперхнуться. А ведь Христос воскресший сказал: «Кто будет веровать и креститься, спасён будет; а кто не будет веровать, осуждён будет. Всех уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы».

Судя по этому критерию, в нынешней церкви верующих совсем не густо.

Зато истинно верующим поэтом предстаёт перед читателем поэт Евгений Семичев.

Уснул я у самого края В раю и упал с небеси. Но нет ностальгии по раю, А есть только боль по Руси. Ушибся я шибко башкою И вывихнул крепко мозги. Как жить мне с болезнью такою? Господь, вразуми, помоги! И Бог мне ответил тревожно: — Мой агнец небесный, прости…

Вот уж действительно — «ушибся я шибко башкою»!

Каждый раз, когда Евгению Семичеву нечего сказать, он тут же тащит в свои стихотворения религиозную атрибутику, тащит, словно кошка котят, рождённых от разных приблудных котов. Эта болезнь, в отличие от свиного гриппа, очень опасна, ибо многие начинающие поэты могут взять поэзию Семичева за высокий образец и, проанализировав её, тоже поймут незамысловатый рецепт успеха. И начнут плодиться плоские горние выси, райские кущи с фанерными листьями и ангелы с наколками на алюминиевых крылах.

Более 250 раз в книге «Великий верх» повторяются слова: «Бог», «ангелы», «архангелы» и тому подобное. Действие книги развивается не иначе как «над вселенской бездною». Кажется, что герои Евгения Семичева даже в туалет ходят «по-над пропастью, по самому краю».

И здесь действительно начинается парад оловянных солдатиков с православной символикой. Опять прошу прощения у читателя, но он должен понять тайные тайны поэтической кухни Евгения Семичева.

Листаю книгу «Великий верх», содрогаясь, выписываю*: «Сотворённый высшей волей, Божьей милостью боец», «Он царил в миру высоком, Божьей милостью храним», «Соколиная Держава Божьим промыслом тверда», «Небосвод — Господний сокол — распахнул свои крыла», «Восседает Божий сокол — Грозный русский государь», «И царит над Божьей бездной нерушимый русский дух», «Русский дух — Господний сокол, шестикрылый серафим!», «Слово царское и дело укреплялись на Руси. Пресвятая Божья*

Дева вся в слезах на небеси», «Светом праведным объята, навсегда прозрела вдруг. Потому что Боже святый снял с неё глухой клобук», «И на Трифоновке стольной воссиял Господний храм», «Белый храм — Господний сокол — Божьей волею храним», «И царит над Божьей бездной нерушимый русский дух», «Небосвод — Господний сокол — распахнул свои крыла», «Соколиная держава Божьим промыслом тверда!», «Звон плывёт по небу лавой, высь Господняя светла», «ясны соколы Господни — шестикрылые кресты», «Шестокрылый ясный сокол, Божий ангел серафим», «Про тебя говорят старики, как про высшее Божее чудо», «Когда милости Бог раздавал», «Бог сверх меры плеснул серебра», «Горько плакал на небе Аллах», «Моя душа забыла обо мне и в бороде у Господа ночует. Ей хорошо в Господней бороде купаться в сизом ладане и млеке», «А вдруг Господь в задумчивой тоске», «То не ангельский призрачный свет», «Трижды крикнул: «Ибн Сина!..» Ангел в солнечной дали», «Трижды Божий промыслитель известил весь белый свет», «Свет твоих небесных строчек, твой бесценный Божий дар», «Ангел нежным дуновеньем в жизнь твою вдохнул рассвет», «Спит усталый Саади, словно ангел в Гулистане», «В том саду среди ветвей воспевает рай нетленный», «Всякий Божий день в году», «В этом парке средь ветвей прославляя рай нетленный», «Улыбка благодатная слетела с Божьих уст», «Оглаживает холку речную Божий день», «Вспыхнуло копьё, как луч господний, воздух содрогнувшийся запел. А в глубокой мрачной преисподней Дьявол от удушья захрипел», «Как зарок, воспринял Божье слово», «Кто возлюбит истинного Бога, тот любого недруга сразит», «Всех их с миром Господь успокоил», «И в глазах прояснить Божий свет», «И во всём солидарные с ними, в заповедный заоблочный рай плыли ангелы в розовом дыме, помывая крылами трамвай», «Птичьим клином в свободном скольженьи плыли ангелы в розовой мгле. И наколка лазурная «Женя» на одном красовалась крыле», «За окошком шесть ангелов плыло, млечных крыл распластав парусин», «И во всём солидарные с ними, в заповедный заоблачный рай плыли ангелы в розовом дыме омывая крылами трамвай», «В силуэтах крылатых печальных было нечто от огненных стрел. Плыли ангелы в скорбном молчаньи», «И тогда я проснулся-очнулся, погостить не успевши в раю», «Когда вас увидел впервые, проснулся в душе моей рай», «Я понял, что рай ещё помню. И поля шатровый овал, как щедрую руку Господню, создавшую вас, целовал», «Мои молчаливые братья, мы встретимся в Божьем раю», «Всем живущим рай небесный в золотой

маячит мгле. А поэту ад кромешный выпадает на земле», «Ангел Божий, друг любезный предстоит у райских врат. А поэт парит над бездной — чёрту лысому не брат!», «Он на меня обрушил гром и молнии метал из рая», «грешный дольний мир», «пылающие Божьи выси», «пока ты буйствуешь в раю», «На крестный престол, на небесный простор Господь расстелил полотенце. Два ангела в небе ведут разговор. Услышать их может лишь сердце», «Когда Млечный Путь упирается в грудь, сердца открываются чуду. Друг другу они говорят: «Не забудь!». И вторят в ответ: «Не забуду!», «Я и сам по глупости мирской, как верблюд, в гордыне непристойной с рабскою презренною тоской харкал на небесный свод престольный», «Всех нас выделяя из толпы, каждому, кто на его дороге, как Христос учеников стопы, небо омывает наши ноги», «Коротка из рая в рай дорожка. Праведник любой дорожке рад. Можно удлинить её немножко, завернув по ходу в смертный ад. Можно наломать грехов, конечно, и хлебнуть гордыни через край. Только и чистилище не вечно. Из него ведёт дорожка в рай. Всё известно грешнику заране на крутой поверхности земли», «Своей слезой одной Бог омывает горний свет», «О чём печалится Господь в Божественном раю», «Мы все на горестной стезе, страдаем за грехи. Но только в Божеской слезе рождаются стихи», «Жалостно мне мама крестит спину и вздыхает: «Господи, прости!», «И судьбе безжалостной навстречу понесу смиренно тяжкий крест», «Все ангелы на небе плачут вместе», «Один среди земной горючей битвы», «Ворона племянница Харона. Её архангелы не пустят в рай», «Кому-то с неба — Божья манна и соловьиный райский сад», «Покуда райские ворота от нас скрывает злая тьма», «В наших краях и чужих видел картину я схожую. Щедрость правительств земных меркнет пред милостью Божию», «И молитвенно Волга-река твой вселенский читает псалтырь, где Создатель вписал на века: «Мой самарский народ-богатырь», «Уснул я у самого края в раю и упал с небеси. Но нет ностальгии по раю, а есть только боль по Руси. Ушибся я шибко башкою и вывихнул крепко мозги. Как жить мне с болезнью такою? Господь, вразуми, помоги!», «И Бог мне ответил тревожно: «Мой агнец небесный, прости…», «В небесной поёт галерее рыдающих ангелов хор», «Этот мир искрист и светел. И блажен из века в век», «Сполохи мирной рассветной зари к горним возносятся весям», «Все перед Родиной нашей равны и перед Богом едины», «И пребудет Россия на все времена, потому что на вечные лета светом Божьим вселенским омыта она и дыханьем Господ-

ним согрета», «В космической пыли клубится русский воздух. В шестую часть земли упёрся Божий посох», «Россия — третий Рим, другого быть не может. Крылатый Серафим целует посох Божий», «Все мы в этом мире прихожане и зашли случайно в Божий храм», «И всё же по смерти по воле Харона Шекспир был отправлен в пылающий ад», «В райской кущe золотистой, в Божьем радужном саду», «В жару и холод лютый, как ад кромешный чёрн, кровавой блудной смутой нас искушает чёрт», «Поэты, как самоубийцы, не попадут по смерти в рай», «В аду на коленях у главного чёрта сидит с кошельком грамотей — такая нехитрая с виду работа оплачивать козни чертей», «Но требует всё же крутые повадки и жёсткий ревнивый догляд, ведь ушлые черти на денежки падки», «И светятся счастьем чертовские рожки, как лампочки в полный накал: Христос омывал казначейские ножки и крепко уста целовал», «За что грамотею такая награда и пышный особый почёт? Поганое грязное золото ада ему ляжки хилые жжёт. Неисчетное это богатство откуда? С тернового брызжет куста. А кто Казначей тот? Паскуда Иуда, Торгующий кровью Христа», «Когда ночь над Московским Кремлём стелет ангелам Божьи полати», «А одна голова или две — это Господу Богу едино», «Архангел громогласно ахнет, твердь сотрясая кулаком. Опять в раю небесном пахнет паскудным русским кабаком», «Но встрепенётся Рать святая во имя Господа Отца», «Бог мне скажет: «Не за ради корысти Ты явился... А в суме чего?», «Перед Всевышним грешен я», «Приказал жить стараться. На вокзал указал. Как до рая добраться, ничего не сказал. я до рая едва ли доберусь наугад», «Туды их в душу, богомать!», «Душа — она голубка Божья», «Так Иисус, по крайней мере, встал против мира на земле», «Катапультирует душа в объятья ангела небесного. А он её через забор вновь возвращает мне из рая», «В коленках дрожь. В мозгах темно. Заглазно черти строят рожки. Мой ангел, не разбей окно в глухой кладбищенской сторожке. Мне посылай точнее пас, иначе проигрыш нам светит... О, Господи, помилуй нас, поскольку все Твои мы дети!», «Крестя троеперстием рот», «Безбожные Божии твари — душа яко храм на крови», «А им душегуб-абортарий превыше всевышней любви», «Как ангелы, плачут в раю», «Прости их, Господи, прости!», «Ведь все блаженные пути ведут убогих в рай», «Берегом Родины тяжко ступаю... Может, хоть так отмолю я грехи», «Нас, как потомков Адама и Евы, Бог не делил на своих и чужих. Нет у Него ни случайных, ни лишних. Не оттолкнул Он ещё никого. Бог не делил на богатых и

нищих, а говорил: «Чти Отца своего!..» , «ВСЕ мы подвластны житейскому блуду. Грех омываем озёрами слёз. Но и продавшего веру Иуду на растерзанье не выдал Христос», «Бог не делил нас на левых и правых», «Молит Пречистая Дева Мария денно и нощно Иисуса Христа», «Не иначе, как по воле Божьей», «В Гефсиманском радужном саду», «Под окошком Господа пройду», «В мир Божий на расшитом рушнике», «И архангелов хмурый конвой ослепляет глаза фонарями», «Аборигенам жарких стран при жизни — райский свет», «Иному ангельская твердь и светлый Божий лик», «Приходила кошка ко кресту и Христу зализывала раны», «На Голгофу кошка поднялась и Христу зализывала раны», «Кошка безбоязненно прошла по Голгофской праведной дорожке», «Первой проложила кошка след грешным Божьим чадам во спасенье», «Из небесного Божьего рая я сбежал», «Ведь земля на ладони у Бога, что держава на длани царя», «Русский космос, как ангел в пике», «Всё равно я у Бога в руке», «Вряд ли в рай после смерти вернусь», «У руки моей одесный, за моим стоит плечом, неусыпный страж небесный — Ангел с огненным мечом», «Ты куда, душа, ходила? С кем в чужом шалалась сне? Ты опять, душа, блудила,словно кошка по весне», «Бог, душа, тебе судья!», «Недаром цветок этот вешний на стылой лужайке пророс из чистых, искристых, безгрешных — оброненных ангелом слёз», «Поэзия небезопасна… Помянем Божьего раба!». «На крестный престол, на небесный простор Господь расстелил полотенце. Два ангела в небе ведут разговор. Услышать их может лишь сердце. Когда Млечный Путь упирается в грудь, Сердца открываются чуду. Друг другу они говорят: «Не забудь!», И вторят в ответ: «Не забуду!». И свет невечерний звезды вновь и вновь Простор озаряет небесный».

Ангелы Евгения Семичева разговаривают как горькие пьяницы, раз за разом повторяющие одни и те же слова: «Ты меня уважаешь?» Невозможно понять, о чём идёт речь. А хочется, очень хочется узнать, что именно клянутся не забыть ангелы. Конечно, бывают туманные стихотворения, где смыслы только намечаются, сразу же переходя в пространство ассоциаций, и тогда только душа читателя может дорисовать то, что намеренно не прорисовал поэт. Мне сразу же вспоминается стихотворение Владимира Соколова «В почерневшем снегу полотно бесконечной железной дороги. Боже, как это было давно! Ничего не осталось в итоге». Я могу очень долго летать по орбите великого стихотворения Александра Блока и потом ещё очень долго ощущать его тайну и очарование.

День поблек — изящный и невинный.
Вечер заглянул сквозь кружева.
И над книгою старинной
Закружилась голова.

Встало в лёгкой полутени,
Заструилось вдоль перил.
В голубых сетях растений
Кто-то медленный скользил.

Тихо дрогнула портьера,
Принимала комната шаги
Голубого кавалера
И слуги.

Услыхала об убийстве —
Покачнулась, умерла.
Уронила матовые кисти
В зеркала.

«Это удивительно! — восклицает здесь Евгений Головин. — Ни одного местоимения! Можно предположить, что речь идёт о какой-то женской субстанции. Совершенно непонятно, происходит ли это с так называемой героиней стихотворения или она это вычитала в старинной книге. Реальность пропадает, остаётся голая эмоция, которая не связана вообще ни с чем. Блок употребляет одни акцентированные глаголы без личных местоимений. Возникает специфическое движение без объекта (об объекте мы можем только догадываться). И движение это рождает совершенно удивительные, мечтательные миры. Я не хочу сказать, что Блок — поэт-маньерист, просто в нём сильны черты маньеризма. Меня всегда поражали наши горе-литературоведы: кого угодно в нём видели, только не последнего русского барда-трубадура. А ведь многие его стихи удивительно напоминают бретонскую и провансальскую поэзию XIII–XIV веков».

Голая эмоция — это не совсем верно. Она становится голой только в тот момент, когда сможет избавиться от чудодейственной магии самых обычных слов: день-вечер, молчанье-книга, полутень-кружева, портьеры-сети, перила-шаги, умерла-зеркала, а освободиться от этой магии не так-то просто.

На убывающей луне
Всё меньше домиков песчаных,
Всё меньше холмиков туманных
В лучах, протянутых извне.

И, исчезая без следа,
Рыдают жёлтые зверюшки,
Рыдают лунные старушки,
Проваливаясь в никуда.

Такая дикая игра,
В которой вряд ли заскучаешь,
Звучит: «Пора, мой друг, пора...»
И ты внезапно исчезаешь.

И не осознанно людьми
И не измерено доселе,
Куда у них там, чёрт возьми,
Всё исчезает в самом деле?

Нет сомнения, что Евгений Чепурных *узнаёт этот мир*, принимает и приветствует *«звоном щита»*. Но нет сомнения и в том, что он постоянно задаётся вечными вопросами: к чему эта Тьма, почему Он, кого мы считаем извечно чистым и совершенным, стал этим миром, столь мало похожим на мечты человеческие? Зачем ему понадобились Смерть, Ложь и Страдание? Если это только маска, то к чему ему такая маска? Если это только иллюзия, то почему так жестока эта игра?

В статье «Интеллигенция и революция» А. Блок писал: «Великие художники русские погружались во мрак, но они же имели силы пребывать и таиться в этом мраке, ибо они верили в свет. Они знали свет. Каждый из них, как весь народ, выносивший их под сердцем, скрежетал зубами во мраке, отчаянье, часто злобе. Но они знали, что рано или поздно всё будет по-новому, потому что жизнь прекрасна».

Евгений Чепурных, несмотря на жуткую неустроенность своей жизни, остаётся верен светозарным заветам Блока. Поэтому никогда и нигде он не опускается до проклятий того, что уже тысячи раз проклято «властителями наших дум».

Князь заходит, хромая, с клюкой,
Несуразный и злой человечек.
Вот такой, вот такой, вот такой —
И отец, и судья, и ответчик.

Держит в памяти крепче всего,
Как народ прокричал ему славу,
И как плечи дрожали его,
На себя принимая державу.

Он испуган, коварен, жесток,
Обернётся то тигром, то змеем.
Он один. Пожалей его, Бог.
Мы другого пока не имеем.

Конечно же в этом испуганном и жестоком человеке, принявшем на себя всю непомерную тяжесть великой русской вселенной, мы без труда можем увидеть Ивана Грозного и Иосифа Сталина. Они оба до сих пор не дают ненавистникам России чувствовать себя победителями над нашим многострадальным народом.

Несмотря на то, что пришедший к нам от Бога митрополит Ладожский и Санкт-Петербургский Иоанн считал Ивана Грозного высшим проявлением русского духа, всё равно нет числа попыткам опорочить наше великое прошлое.

Может быть, противореча самому себе, я всё же должен сказать нечто важное для меня. Дело в том, что многие современные критики и литературоведы не хотят понимать, что как бы ни было написано литературное произведение — хорошо или плохо, на самом деле оно не является чем-то плохим или хорошим, поскольку всегда возникает как нечто необходимое для жизни всего человечества, ибо никто, кроме Бога, не знает, что вырастет из этого сора в будущем. И если именно из этого сора взойдёт прекрасный и небывалый цветок, то не надо ли поклониться не цветку, а этому так называемому сору, поскольку заслуги цветка в данном случае, собственно говоря, совсем немного?

Зачастую посредственное произведение только кажется таковым, как айсберг, плывущий по морю, кажется крошечным по сравнению с тем, что скрывается в водной пучине. Неудача одного автора неизбежно выливается в удачу следующего, сумевшего увидеть то, что недостаёт этому неудачному произведению. Кто знает, сколько прекрасных произведений сумели создать другие поэты, отмечая и анализируя неудачи своих собратьев? И, не будь этих неудач, многих поэтов, наверное, просто-напросто никогда бы не было, поскольку они не смогли бы написать нечто, уже написанное до них.

Кто знает, может быть, «неудачное» произведение говорит лишь о том, что писатель становится другим. А тот, кто читает и считает это произведение неудачным, остался прежним?

В «неудачном» литературном произведении необходимо увидеть, чем это произведение хотело быть, и чем оно не стало в силу тех или иных обстоятельств.

Если из многих прочитанных книг некий писатель создаёт новую книгу, все предыдущие книги должны быть счастливы, как мать, родившая долгожданного ребёнка. Если считать преображение уже известного плагиатом, то каждый человек тоже такой же плагиат, ничего, кроме презрения, не заслуживающий. Но от кого может исходить такое презрение, если все слеплены по одному образу и подобию?

Величие книги, таким образом, заключается в её способности или неспособности быть беременной следующей, никому до поры до времени неведомой книгой. Книга, не породившая другие книги, напоминает прекрасную, но бесплодную женщину, ибо она рано или поздно умрёт. Вот почему так важно писать новые книги с того места, где обрываются уже написанные. Наверное, не просто так Горький мечтал, чтобы лучшие русские писатели заново переписали шедевры мировой литературы.

Казалось бы, Евгений Семичев тоже понимает это, но в поэме «Аргуван» он просто-напросто зарифмовал материал, прочитанный им в чужих книгах. Там есть удачи, но нет самого главного — души самого поэта. А именно она, душа, вобрав в себя плоть и кровь восточной поэзии (а не поэтов!), должна была подняться выше этой самой поэзии. Не поднялась, осталась лежать где-то в сторонке — забытым волейбольным мячом.

В поэме «Аргуван» обилие фактического материала похоронило под собой воображение поэта Семичева. И потому новая поэтическая реальность, которой Евгений Семичев мог одарить мир, осталась сокрытой от нас. Да, он вроде бы сумел поднять со дна мёртвого моря прекрасный артефакт, но сам при этом не ощутил никаких человеческих чувств — ни радости, ни боли, ни восхищения. И тогда эти чувства ему пришлось имитировать.

Соловьи распевают рулады, И тюльпаны дрожат на ветру… Ничего мне для счастья не надо. Я за песни Шираза умру! Кротких глаз потаённая нежность Обжигает сильнее огня. Если глотки неверным там режут — Пусть в Ширазе зарежут меня.

Всё в этом тексте очень неточно. Казалось бы, наоборот: поэт должен считать счастьем смерть во имя своей возлюбленной. Например, так: «*Я люблю эту русскую стужу и не верю, впадая в хандру, что, смешав восхищенье и ужас, я за песни Шираза умру*». И если уж он действительно не может жить без потаённой нежности кротких глаз, то и умирать так страшно — от ножа! — надо не потому, что ты не обращён в мусульманскую веру, а по другой, более значительной причине. И тогда строки Евгения Семичева должны приобрести иной вид. Например, такой:

Там, где дали за далями брезжут,
Я гоню по равнине коня.
Если глотки влюблённым там режут —
Пусть в Ширазе зарежут меня.

Конечно, вот так, экспромтом, я тоже не способен написать хорошие строки. Но мне кажется, что из своих собственных подстрочников поэт обязан создавать истинные поэтические тексты. Порой достаточно одного слова, чтобы стихотворение стало живым…

Но, видимо, в задачу Евгения Семичева не входит быть живым. В конце концов, он и всю свою незадачливую поэму зарезал без ножа, завершив её такими жалкими строчками:

Разлилось по Руси половодье. Разошлось, как круги по воде, Воровское блатное отродье… Разве Родину бросишь в беде? В понедельник, во вторник иль в среду… Для себя я усвоил одно: Ни в какой я Шираз не уеду. Вышла замуж Гульнара давно. Разметалось кромешное эхо. А Шираз ослепительный мой не дождался меня, сам приехал и на рынке торгует хурмой.

Вот так! И стоило ради этого огород городить? Причём даже изгородь этого огорода сколочена Евгением Семичевым на скорую руку из кривых и подгнивших досочек. Посудите сами. Разве может огромная стихия половодья разливаться по земле, подобно кругам по воде? А зачем появляется в восточной поэме *«воровское блатное отродье»*? Только — для рифмы? Так же как совершенно мёртвая строка: «*В понедельник, во вторник иль в среду…*»

Когда-то Сергей Есенин написал великое восточное стихотворение, которое, несмотря на свой малый рост, перевешивает всю огромную поэму Евгения Семичева:

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому, что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Потому, что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий,
Потому, что я с севера, что ли.

Даже представить невозможно, что Сергей Есенин, будучи он даже трижды пьян, сможет в одном из своих стихотворений послать Шаганэ на рынок — торговать хурмой!

Евгений Семичев может всё.

В поэзии Евгения Семичева «великий верх» низвержен с высоты и находится явно ниже пояса поэта.

Шекспир избежал этой чаши позорной И всё же по смерти по воле Харона Шекспир был отправлен в пылающий ад.

Не в том беда, что Евгений Семичев не знает, что к слову «ад» эпитетов не существует, а в том беда, что эти залихватские площадные стихи, замешанные на зависти и злобе, могут прочитать хорошие люди, отравиться ими и даже умереть. Так, впрочем, и происходит в жизни, о чём сам Евгений Семичев пишет с великой гордостью:

Читал стихи мои и плакал, Печаль не в силах превозмочь. Спать не давал своим собакам — Стихами их травил всю ночь. К утру его подушки взмокли. Постель насквозь проволгла вся. Собаки от волненья сдохли, Печали не перенеся. Как пошутила беспристрастно Над ним насмешница-судьба! Поэзия небезопасна… Помянем Божьего раба!

С каждой новой страницей количество отравы в стихотворениях Евгения Семичева увеличивается. И вот уже Пушкин занимается тем, что сколачивает (топором?) стихи, сигает в окошко, прорубленное Петром на запад, потом прыгает то ли волейбольным мячиком, то ли солнцем российским, снова «сигает», на этот раз в окно, открытое Натали, а после всего этого занимается тем, что с завиднейшим постоянством презирает придворную шваль и почему-то *«гордится своим дворянством, а не тем, что стихи марал»*.

После Пушкина очередь доходит до Хемингуэя.

В это время на далёкой Кубе На груди любовницы, как крест, Тяжело лежал в цветочной клумбе Человек по имени Эрнест. Говорят, что это был писатель, Всем известный в тутошнем краю. Приключений всяческих искатель На хмельную голову свою. Он кричал любовнице в угаре О своей возвышенной любви… …Он корил свою мулатку грубо: «Я плевал на климат ваш морской! На фига нужна мне эта Куба Вместе с её славой никакой?»

Классик русской литературы Андрей Платонов предстаёт перед нами в таком виде:

Выбежал мужик в халате сером на порог сторожки босиком. И, взревев, стал черпать ошалело Воздух оловянным черпаком.

А —

…В это время городу Парижу Снится сон на утренней заре… И кричит: «Париж я ненавижу!» — В этом сне блистательный Андре!.. …Я художник, я имею право видеть Сердцем несказанный свет. На фига мне мировая слава?

Блистательный классик французской литературы мечтает о том, чтобы пить *«и под водку выставляли рожки всем великим выскочкам судьбы»*, а ещё он хочет петь песни, утирая слёзы кулаком, и судьбу — заезженную клячу — погонять русским матерком. А посему:

Улицы парижские дрожали. Гасли на бульварах фонари. Хлопали в ладоши парижане И кричали: «Браво, повтори!» В небеса парижские бесстрашно Голуби срывались с мокрых крыш. И летело с Эйфелевой башни Эхо: «Я плевал на ваш Париж!..» От таких похмельных тяжких стонов На далёком русском берегу Задохнулся вдруг Андрей Платонов И — остановился на бегу. Он бежал через московский дворик По осколкам острым босиком — Этот неуёмный русский дворник В шутовском халате с черпаком.

Если всё это — современная русская поэзия, то не надо, не надо поэзии вовсе!

Уж лучше читать канцелярские документы давно прошедших времён, чем поэзию многократных лауреатов таких, сяких и эдаких литературных конкурсов!

Вот как, например, писал никому не известный чиновник, составляя параграфы и статьи древнефризского права: «Вторая нужда такова: если год выпадет грозный, и бродит по стране лютый голод, и вот-вот дитя умрёт с голоду, пусть тогда мать продаст с торгов наследство ребёнка и купит ему еды разнообразной. Третья нужда такова: если дитя вовсе без крова и голо, и близится суровая мгла и зимняя стужа, всяк спешит ко двору своему, в дом свой, в тёплое логово, лютый зверь ищет полое дерево и тишь под холмом, где он может сохранить свою жизнь, тогда плачет, кричит беспомощное дитя, и оплакивает свои босые ноги, свои голые руки, свою бесприютность, своего отца, коему надлежало защищать его от голода и мглистой зимы, а он лежит, погребённый, так глубоко и в такой тьме, под землёю, за четырьмя гвоздями, под дубовою крышкой».

В этом юридическом документе больше боли и поэзии, чем во всей книге Евгения Семичева «Великий верх».

О том же самом пишет Евгений Чепурных.

И кружилась птичка Божья,
И кидал ей крошки в снег
Обессилевший прохожий,
Тоже Божий человек.
У него очки как окна,
За которыми тепло.

У него нога промокла
И на сердце тяжело.
И, кусая от кусочка,
Птичка думала: Бог весть,
Может, маленькая дочка
У него в деревне есть.
И живёт она как птичка,
И не знает ничего.
Вьётся по ветру косичка
Дочки маленькой его.
Потому он птичек кормит
И кидает крошки в снег.
— Плачешь?
— Плачу.
— Помнишь?
— Помню.
Помни, Божий человек.

Евгений Чепурных творит мир, который почти что равен ему самому. Он ощущает всю полноту бытия даже тогда, когда жизнь его рассыпается на крошки. Чем дальше его герой уходит от своего идеала, тем он ближе делается к нему. Так Колумб, оставив за кормой мечту-Индию, верит, что вскоре увидит её прямо по курсу своего корабля. Призывающий поэта идеал находится не впереди, а позади, как та самая девочка, живущая как птичка и иногда прилетающая к поэту, чтобы он застыл посреди снежного города и услышал это вечное: «Помнишь?»

Вечные вопросы мучают каждого русского поэта.

Евгений Семичев тоже пытается задаваться «вечными» вопросами… Этого у него не отнимешь. Но восхождение сознания — это не только покорение времени, но и обретение радости, любви и безбрежного бытия. Более четырёхсот лет власть и властители дум в России занимались только тем, что дробили и уничтожали космос русской души. Дробились на кусочки память, гордость, честь, достоинство, время, пространство. Всё усиливающийся закон дробления стал главным законом Новой России, этот закон управляет безвозвратным нисхождением сознания и Духа в материю, вплоть до песчинок, пыли… Происходит дробление радости, дробление знания и видения. В конечном счёте всё обращается в массу крошечных трюизмов, туманную пыль сомнамбулического сознания, уже не являющую собой поиск Света и Радости.

Неужели поэт Евгений Семичев не понимает, что участие в таком процессе чревато гневом Божьего Суда? Неужели он не может понять очень важное правило подобия человеческих грехов? Его главный постулат состоит в том, что любой человек, попрекнувший другого человека, тут же и сам погружается в грех осуждаемого, а любой человек, попытавшийся унизить брата своего, немедленно будет унижен и сам.

Евгений Семичев яростно бранит представителей «тёмных сил». Браниться Евгений Семичев вообще очень даже любит. И тогда, *«разинув гортань, как ворона»*, он начинает походя расправляться с живыми и мёртвыми, восклицая при этом: *«Потому с руки моей одесный, за моим стоит плечом, неусыпный страж небесный — Ангел с огненным мечом»*. Московские критики и критики местного самарского розлива восхищаются этими стихами, называя их классикой русской поэзии. И здесь сразу же вспоминается Елена Боннэр, которая тоже вместо «одесную» с ударением на последнем слоге говорила это слово так, словно рекламировала «одесскую» полукопчёную колбасу. То же самое происходит у Евгения Семичева, даже больше, поскольку выражения «одесный ангел», а тем более «с руки моей одесный» в русском языке не имеют смысла.

Несмотря на это, Евгений Семичев продолжает сражаться с «исчадием ада»: *«И светятся счастьем чертовские рожки, Как лампочки в полный накал»*:

Христос омывал казначейские ножки И крепко уста целовал. За что грамотею такая награда И пышный особый почёт? Поганое грязное золото ада Ему ляжки хилые жжёт. Несметное это богатство откуда? С тернового брызжет куста. А кто Казначей тот? Паскуда Иуда, Торгующий кровью Христа.

По меньшей мере — странное стихотворение. Мне очень не нравится, что Христос целует уста своего ученика, словно педераст — крепко. Мне не нравится, что Иуда в аду до сих пор торгует кровью Христа и, судя по всему, нечистая сила с удовольствием причащается святых тайн. Если это не болезненый бред, то, видимо, Евгений Семичев посвящён в самые жуткие тайны христианской религии.

А я снова читаю его жалкое стихотворение и снова не могу понять, как «несметное это богатство» может брызгать с тернового куста. Я вообще ничего не понимаю в этой поэзии! Но больше всего меня огорчает ограниченность поэтического мира Евгения Семичева, где проявляется только то, что возникает из общих мест. Истины, которые он проповедует, как места общего пользования, мне

не интересны, хотя теперь всё больше людей во всём мире торжественно отмечают Всемирный день туалетов (под эгидой ООН!).

Хотя у Евгения Семичева есть строки пострашнее самых омерзительных праздников. Когда Евгений Семичев говорит: «Мне не снится заграница, снится Родина моя!» — хочется встать на четвереньки, завыть и убежать куда-нибудь подальше от эдакой поэзии. Да как же это может сниться Родина с большой буквы? Это что — географическая карта России? Тогда так и надо писать: «По ночам мне снится географическая карта России!»

Я понимаю, что Евгению Семичеву очень хочется быть первым поэтом России.

В поэзии всё тайное становится явным. А Евгений Семичев не пытается скрывать своих сожалений по поводу того, что «*Государственных нету премий и правительственных наград*», и по поводу того, что «*В Переделкино нету дачи, и в Малеевке дачи нет*».

И хоть я не последний писатель, А довольно известный в стране, Только что-то особых симпатий Не питает начальство ко мне.

Чего же он хочет ещё? Может быть, только новые и новые премии позволяют ему поверить, что он ещё есть? Отсюда бесконечные признания в любви к Родине с большой буквой.

Для этого ничего не нужно: ни выдумки, ни настроения, ни мысли, ни подлинного изящества решений, ни серьёзности, ни юмора. Надо только открыть поэтический сундук. И тогда всё становится общим местом — Родина и Бог. Родина и Бог превращаются в китч, в гламур, который Семичев вроде бы так не любит. Ничего! Побольше восклицательных знаков! Есть строки, где восклицательные знаки вообще не могут выжить, но они всё равно стоят. Множество стихотворений, собранных как бы из детского конструктора «Лего». И всё это делается с такой уверенностью, что страшно становится. Чудесные образы и волшебные слова, найденные тридцать лет назад, извлекаются из поэтического сундука и снова идут в дело, несмотря на едкий запах нафталина и проплешины от деятельности моли. Снова оживают надежды, что эти слова способны на чудо, но они морщат старческие личики и не желают излучать свет давно минувшей старины. Надежда на то, что чувства, пережитые когда-то давно, можно оживить, что прошлое снова станет настоящим, чаще всего не оправдываются. Даже если вывесить подержанные слова на бельевую верёвку в саду, дабы они напитались лунным светом, запахом цветов и шуршанием листьев…

Когда поэт начинает любить идею, чувство меры покидает его, рассудок замутняется. Любить Родину с большой буквы — это значит любить мнимость, абстракцию, любить несуществующее и, подобно сказочному музыканту, уводить сначала крыс, а затем и детей — в погибель. Этим объясняется огромное количество невнятицы. Когда поэт пишет стихи, обращаясь к Родине с большой буквы, он воображает себя Пророком…

И тогда навязшие в зубах поучения Церкви он подаёт как артефакты, извлечённые им из морских глубин. Ну, ладно бы он постарался добавить к своей религиозной уверенности немного жути и тайны, но нет, этого не происходит, и его Бог по-прежнему остаётся лишь словом из трёх букв.

И тогда истово и пламенно Евгений Семичев отстаивает самые нелепые воззрения, лезет из кожи вон, чтобы поразить читателя или слушателя своими инвективами… В споре с невидимым соперником некогда работать над словом, отсюда — лишь бы не молчать! — бесконечные ряды прилагательных, так и не ставших эпитетами. Евгений Семичев может плавать в капле воды, будучи совершенно уверен, что это — океан. Однако перед штампами он устоять не может. Его любовь к Родине с большой буквы столь нелепа, что только вредит тому делу, которому Семичев, судя по его откровениям, посвятил свою жизнь. Кто он? Ведь ни один поэт-либерал или писатель, восклицающий: «Россия — сука», — не может добиться того, чего могут добиться неумеренные похвалы и восторги, высказываемые вот такими поэтами. Каждый раз, когда я произношу строки «снится Родина моя», мне кажется, что все физические карты России съёживаются от ужаса и, подобно шагреневой коже, становятся меньше, меньше, меньше. Любовь Семичева к Родине с большой буквы не имеет аналогов в мировой поэзии.

Зачем эти громыхающие любовные признания? Зачем? Ведь одна из самых невероятных радостей земной любви — служить любимому существу так, чтобы оно об этом ничего не знало.

Известно, что обычный ум видит всё шаг за шагом, последовательно, линейно. Он не может сделать скачок, не оставив бреши в своей логике, из-за чего этот ум сразу же теряется и всё становится для него пугающим, несвязным или туманным. Одновременно он может видеть только что-то одно, иначе неизбежно впадает в противоречие. Принимая какую-либо истину или факт, он автоматически отвергает всё, что отличается от этой истины или факта. Всё, что не попадает в объектив его фотоаппарата, выглядит для него заблуждением, ложью, тьмой, сатанизмом. Всё у него делится на

противоположности: белое и чёрное, истина и ложь, Бог и Сатана. Обыкновенный ум дробит пространство на кусочки и фрагменты.

Молодые русские поэты должны встать над «вчера» и «завтра», они должны научиться видеть одновременно прошлое, настоящее, будущее, белое и чёрное, истину и то, что кажется её противоположностью, ибо все «да» и «нет», все взаимоисключающие вещи и события являются результатом дробления времени.

В жизни истинного поэта не бывает противоречий, потому что они выглядят только как взаимные дополнения.

Высшая истина не будет полной без своей низшей половинки.

Евгений Семичев ищет свои озарения под ярко горящим фонарём.

Не стоит ли поискать в каком-то другом месте? Может быть, именно в темноте скрываются все противоречия между духовной жизнью и реальной жизнью мира сего? Может быть, именно эти противоречия поэт должен обратить в гармонию — именно через эту пропасть ему надлежит возвести мост?

Кажется, что Евгений Семичев уже нашёл всё, что искал.

Поэты, находящиеся в поиске, даже про «паскуду Иуду» пишут иначе.

Вдруг Иуда почувствовал с дрожью,
Что без этих вчерашних монет
Был бы просто какой-нибудь дождик,
Был бы просто обычный рассвет.

Неужели всё это навечно
И нельзя ничего доказать,
Чтобы дома проснуться беспечно,
Протирая ладонью глаза…

Интересно, что Евгений Семичев чувствует себя спасителем России не только по ночам, когда видит во сне Родину с большой буквы, но и там, где бронзовая напыщенность совсем неуместна, и тогда он пишет пародии на самого себя:

Жена грозит разводом. Дочь зыркает, как тать. Ну, как с таким народом Россию подымать? Мои родные бабы, На чьей вы стороне? Подумали б хотя бы, Как тяжело стране!

И вот, после этого стихотворения, где впервые появляется женщина, я назову главную причину, по которой я не могу верить Евгению Семичеву.

Истинная любовь — любовь к Богу — проявляется через избранное для этого существо, так же — и к России.

Я не верю, что поэт может любить Родину, Бога, людей, если он не любит женщину.

Очень хорошо сказала об этом Диана Кан:

Клянёшься: «Я жизнь за Россию отдам!
Я верности ей не нарушу!..»
Но вновь узнаю по червивым плодам
трусливо-трухлявую душу.

Божишься умножить российскую честь
и крестные мечешь поклоны.
Но строчки твоей невозможно прочесть,
чтоб не покривиться со стоном.

О, как незаметны порою, ей-ей,
поджатые хищные когти!
И я не однажды печёнкой своей
познала твоё чувство локтя.

Мне тошно смотреть, как ползучая ложь
в ходячую рядится правду,
и прячет за спину предательский нож,
и клятвами манит в засаду.

Ты, чтобы России в несчастье помочь,
собрал все последние силы
и — бросил жену и трёхлетнюю дочь…
А разве они не Россия?

Главная Тема поэзии, считали Великие Барды, — отношения мужчины и женщины, а не мужчины и мужчины, представляющих себя чем-то другим.

Любой мужчина и любая женщина, даже если они не понимают причин своего вечного внутреннего разлада, остаются живыми только до тех пор, пока надеются на главную встречу своей жизни, а может быть, и многих своих жизней на земле. Всё, что в этом мире тревожит нас, не даёт успокоиться, закостенеть, всё, что тревожит по ночам, всё, что чудится и мерещится, — всё это знаки обещанной нам встречи с любимым человеком. Ибо только эта встреча искупает всё — даже самое мерзкое и страшное, что было и случалось по дороге, ведущей к ней.

В книге Евгения Семичева нет женщины, ради которой можно жить и умереть. Нет даже мечты по такой женщине.

О, как же зло и хорошо крикнула в согбенные спины пропадающих поэтов Светлана Сырнева:

Может, снятся им вещие сны,
Может, ангел встаёт у порога.
«Ты поэт? Убегай от жены,
Убегай, ради Бога!»

И Земля не закружится вспять,
И где надо лучи просочатся.
Можно долго бежать и бежать,
Задыхаясь от счастья.

А ещё у Евгения Чепурных есть удивительное стихотворение, в котором его читатели, как правило, видят прощание поэта с любимой женщиной. А я в этом стихотворении увидел прощание с женщиной-жизнью.

Уходит. Легкомысленна и зла.
И влюбчива. И противоречива.
И если бы сегодня не ушла,
Ушла бы завтра. Слишком уж красива.
Её и криком не воротишь вспять.
Пусть ей в пути фонарики мерцают.
Тут главное — стоять себе,
Стоять.
Иные, стоя, даже умирают.

У Евгения Семичева даже смерть ничтожна, как запах перегара изо рта алкоголика.

Душа, тебя отбелят в морге И в вольный выпустят полёт. Но даже едкий запах хлорки Мой русский дух не отшибёт. Архангел громогласно ахнет, Твердь сотрясая кулаком. Опять в раю небесном пахнет Паскудным русским кабаком. Но встрепенётся Рать Святая Во имя Господа Отца, Не новобранца обретая, А — смерть видавшего бойца. Такой сгодится в рукопашной. Его учуешь за версту. Пусть знают все, как пахнут наши, — Аж всем чертям невмоготу.

Я не понимаю, почему Евгений Семичев возводит в высшую степень нашу страшную беду — пьянство; я не понимаю, как в морге можно «отбелить душу»; я не понимаю, как можно возводить в ранг доблести умение вонять и смердеть, я не понимаю, как можно видеть в СМЕРТИ только буквы: С, М, Е, Р, Т, Ь — и ничего более!

Все русские поэты очень серьёзно относились к вопросам жизни и смерти. Стеная и мучаясь, обливаясь слезами, в предчувствии скорой смерти, написал Афанасий Фет самые великие свои строки:

Не жизни жаль с томительным дыханьем.
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем
И в ночь идёт. И плачет, уходя.

Кто-то из великих сказал, что Смерть вместе с нами производит в мире свою работу: это она очеловечивает природу, возводит существование к вершинам бытия; она — самое человечное, что есть в нас самих; только в мире она — смерть, поскольку только человек знает о ней, потому что он — человек, и он — человек — становится поэтом тогда, когда всю свою жизнь думает о женщине по имени Смерть, и, даже если очень боится её, то всё равно качает её на руках и согревает на собственной груди, а за это она дарит ему восхитительные строки о земной жизни.

Евгений Семичев, словно храбрый оловянный солдатик, плывущий на бумажном кораблике, о таких вещах не задумывается…

Но кто знает, что ждёт этого солдатика за ближайшим поворотом реки?

Кто знает, может быть, за этим самым поворотом его ожидает Русский бог, который снова сделает его живым, вернёт его душе всё, без чего поэт не может быть поэтом…

«Соборно и преемственно *лицемерит* Человек, — говорил Вячеслав Иванов, — поглощённый устроением и украшением людского общежития, называя «Человеком» свою личину и «человечностью» — её показное благообразие. Он неизмеримо больше, сложнее и страшнее того, что кажется другим и за что принимает себя сам, в душевной рассеянности своей и рассудочной ограниченности, — носитель многих принудительно согласованных, но далеко не согласных между собою миров, замкнутых в его предустановленное единство, — погружённый всеми своими корнями в летаргию, как бы стоящий по горло в Летейских водах демон, подобный сторукому богоборцу Бриарею, — вмещающий в себе *ангела и зверя, и лики всех стихий*. Тесен круг, озарённый разумным сознанием Человека, в сравнении с огромной областью бессознательного, которое однако — он Сам. В этой последней, как в бездне морской, таятся бесчисленные сокровища, неведомые их владельцу, но там же и тёмный гнездится ужас, и шевелится мятежный хаос. И, подобно водной пучине, которая из гладкого зеркала Афродиты Небесной внезапно превращается в бушующие безвидные хляби, — душа Человека рвётся разрушить внешнее подобие *святыни строя*, наложенное на него поверхностно, как возлагается на лицо чужая личина, и отдаёт свою свободную ру-

ководительную волю во власть буйственному наваждению, как паруса *прихоти ветров*».

Есть одна очень красивая русская легенда. Когда-то очень давно Русский Бог подарил на прощание молодому безвестному поэту драгоценный сосуд и сказал: «Возьми этот сосуд и наполни его, но не подходи при этом ни к одному источнику воды, будь это подземный источник или небесный дождь». Молодой поэт предался размышлениям, но так и не понял, что ему надо сделать. Тогда Русский Бог взглянул на него и сказал: «Есть только один способ наполнить этот сосуд — твоими слезами. Я вернусь только тогда, когда ты поймёшь, что любишь меня настолько, что не мыслишь без меня дальнейшей своей жизни; когда ты не сможешь продолжать существовать, если не видишь Меня; когда ты готов убить себя, если я не предстаю перед тобой; и когда ты плачешь, плачешь, плачешь, пока сосуд не наполнится твоими слезами; только тогда я вернусь — не раньше. Но и это ещё не всё. Когда сосуд наполнится, ты должен вскипятить его содержимое на костре, не знающем дров». И опять молодой поэт растерялся и находился в растерянности до тех пор, пока не услышал голос Русского Бога: «Пока твоё сердце не окажется объятым огнём, пока ты и все твои потомки не сожгут себя дотла, пока вся Россия не станет пламенем — до тех пор я не смогу вернуться».

Я знаю, что и сегодня есть много русских поэтов, наполняющих драгоценный сосуд своими слезами. И если чудо возрождения до сих пор не случилось, так это только потому, что артистические слёзы кипят при комнатной температуре…

Вот так, как у Евгения Семичева:

А я стою и хлопаю глазами, Бесчувственный безмозглый остолоп, Весь по макушку залитый слезами…

Максим Ершов, заканчивая свою статью о самарских поэтах, задаётся самым главным вопросом: «Хочу спросить поэтов: когда они желают написать стихи, нет ли у них ощущения, что занятие это равноценно высаживанию помидорной рассады в пляжный песок? Поэзия утратила культурную почву, а того, что осталось, ей не хватит даже на регенерацию. Эта утрата равносильна смерти, ведь поэзия без нации невозможна. А если «нация» — феномен конкретно-исторический, конечный, то и поэзия — тоже».

«Издаётся и переиздаётся сегодня кто угодно, — говорит А. Гелескул, — были бы деньги. Стихи высокой пробы захлёбываются в потоке графоманских, любительских и просто подзаборных, сочинённых шпаной, не обязательно литературной. И всё это

вкупе — чистейшей воды лирика, детский лепет и казарменный мат — одинаково глохнет, тонет, уходит куда-то на дно. Хотелось бы сказать — в безответную глухую бездну, но как-то не по чину красиво. Просто в болотную топь. Да, «странная страна и временные времена», но всё же есть ощущение, что какая-то стихийная воля выносит поэтов на поверхность и заставляет говорить о времени и о себе наперекор тому, что их не слушают и не слышат».

«О польской поэзии говорили, что она долго была для поляков единственной родиной. До этого мы пока не дошли и, верится, не скоро дойдём. И всё же в России сейчас рождаются стихи, быть может, лучшие на всём европейском — простите, евразийском пространстве».

Почему-то А. Гелескул боится именно того, о чём я думаю чаще, чем о смерти.

Да, у нас больше нет класса рабочих и крестьян, народ наш, кажется, уже безвозвратно превращён в единый класс потребителей, где ликующие мальчиши-плохиши готовы за пачку печенья и бочку варенья продать не только совесть, но и душу. Да, теперь, когда орда колорадских жуков скрежещет зубами, подтачивая, сжирая основы Великой Империи, бороться с ними уже поздно. На Русь пришла не болезнь, а смерть. Смерть нельзя арестовать, запугать, уничтожить… Да, всё это так и даже ещё горше, ещё страшнее. Но нет худа без добра. Не означает ли это, что именно новая русская поэзия станет единственной родиной для вымирающих русских людей? Не означает ли это, что совсем скоро русские люди с помощью своих поэтов смогут сами создать своё будущее?

Для этого чуда ведь ничего не надо, кроме истинной поэзии.

Величие России и русской поэзии не в том, чем они являются сегодня, а в том, что вызревает в их спящих глубинах.

Вадим Карасёв

«В моей душе — одна любовь...»

О творчестве Михаила Анищенко

После того как Евгений Евтушенко дал высокую оценку творчества самарского поэта Михаила Анищенко, сказав, что его стихи — лучшее, что появилось в отечественной поэзии за последние тридцать лет, и включил его произведения в «Антологию русской поэзии», это имя оказалось на слуху у любителей изящной словесности.

Правда известность ныне приобретает странные формы. Один самарский журналист после встречи с Евтушенко написал, что пообещал найти Михаила Онищенко (в газете было написано именно так — Онищенко) и прославить его. По мне, уж лучше никак, чем так.

Один американский экономист сказал: в нынешнем потребительском обществе продаётся не товар, а этикетка от товара. Миром правят мода и реклама. Человек программируется: какой фильм он должен сегодня посмотреть, обувь какой фирмы купить и проч. Дети в школе оценивают друг друга в зависимости от того, насколько круто они одеты, насколько накрученные у них мобильники и т.д. В общем, как писал Давид Самойлов:

Видимость важнее сути.
Видно, нет другой приманки
Для великосветской суки
И для нищей оборванки.

К сожалению, с культурой дело обстоит таким же образом. Чтобы писателю стать известным, вовсе не обязательно, чтобы кто-то прочёл его. Достаточно того, чтобы его имя постоянно мелькало на телевидении, радио и интернет-сайтах, и чтобы кто-то, ещё более известный, похвалил его.

Для большинства наших современников Михаил Анищенко, даже если они и слышали о таком, всего лишь — модный бренд, предложенный популярным когда-то «дедушкой»-шестидесятником.

А между тем, задолго до признания Евгения Александровича, Анищенко был уже далеко не новичком в самарской поэзии. Он достаточно много печатался ещё в восьмидесятые годы. Оставаясь при этом не узнанным.

«Оберег»

Не кто иной, как Евгений Евтушенко, написал для российского читателя краткую биографию самарского поэта.

«Михаил родился в рабочей семье, — писал Евгений Александрович в «Новых Известиях». — Родители были литейщиками, да и он сам — поначалу. Но крестьянская кровь предков сказалась в характере, потянула к природе, к народным песням, а потом уже и к собственным стихам. В 1977 году его приняли в Литинститут. В 1979-м вышла в Самаре первая книга — «Что за горами». ЦК комсомола дал ему премию Николая Островского. Комсомольским боссам требовались поэты, которых можно было бы выставить против шестидесятников. Но Анищенко не давался в руки, как, впрочем, и Рубцов, с которым у меня была самая братская дружба.

Но, как Есенина и Рубцова, московская псевдобогемная воронка закрутила, завертела Мишу. Его трижды исключали из института — за что, объяснять не надо, и он получил диплом лишь в 1988 году. Каким-то образом во время перестройки стал одним из помощников самарского мэра. Но, увидев, как люди не выдерживают испытания властью и деньгами, проникся идиосинкразией к политике. Уехал в деревню, несколько лет пытался жить одним огородом. Раздражал своей откровенностью и непохожестью тех, кто любит паханствовать. Из зависти и в отместку его начали преследовать, даже избили. Когда я дозвонился до него и спросил, чем он занимается, невесело ответил: «Бомжую…» А потом прислал мне две дискеты со стихами — одно лучше другого. Я тут же составил его книгу, назвал её по одному из стихотворений — «Оберег».

Удивительно порою складываются поэтические судьбы. Помню, как-то в восьмидесятых Михаил рассказывал о том, как в юности был «болен» поэзией Евтушенко. Как вслед поездам, идущим на восток, в сторону станции Зима, где родился Евтушенко, Михаил кричал любимые строчки поэта. Мог ли он тогда подумать, что спустя годы тот протянет ему дружественную руку? Сам Анищенко пишет в своей автобиографии «Что-то было», что дни, проведённые вместе с Евтушенко в Переделкино, во многом спасли его в трудный период жизни.

Впрочем биографические строчки, написанные Евтушенко, лишь внешняя канва жизни самарского поэта. В его жизни много тайны, мистики, много легенд. Он и сам создаёт о себе легенды, подобно Сергею Есенину и Сергею Довлатову.

И то бомжевание поэта, о котором пишет Евтушенко, скорее носит мистический характер:

Всё на нитку, на живую,
Сшито ветром и дождём.
Где ты, Боже? Я бомжую
В мироздании твоём.

«Мы с тобою всё начнём сначала»

Мне повезло. Во второй половине восьмидесятых я работал в газете «Волжский комсомолец» в её лучшую пору — вместе с удивительными и талантливыми людьми. Все вместе мы были командой. И я с удовольствием вспоминаю о том времени и о той редакции, в которой было гораздо больше весёлой вольности, чем корпоративной чопорности. Мы дружили, спорили до хрипоты, дурили, играли в футбол, устраивали праздники с совместными чаепитиями и песнями под гитару. Проводили шахматные турниры, порою даже забывая о статьях в номер. И писали о тех переменах, которые стали происходить в обществе. Одним из самых ярких и азартных «игроков» в этой команде был Михаил Анищенко, тогда — корреспондент отдела рабочей и сельской молодёжи. Громкий, порою занозистый, но никогда не державший камня за пазухой и беззащитно открытый. Боец по натуре, он всегда включался в редакционные битвы, борясь за то, что считал справедливым.

Распад команды совпал с распадом государства. Кто-то стал известен на всю страну (как редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов), кто-то уехал за границу, кто-то ушёл в бизнес, кто-то продолжает работать журналистом, а кого-то уже нет на белом свете. Но каждый из этих людей остаётся для меня отдельной планетой.

Мне кажется, раскол в обществе и в душах отразился и в стихах Анищенко — трагических, порою безысходных стихах, заставляющих вспомнить о судьбе таких поэтов, как Есенин и Рубцов. И это мироощущение совпало с мироощущением многих людей переломного времени. Что и требуется от большого поэта.

И в то же время, как Есенину и Рубцову, Анищенко удалось раствориться в российских просторах, слиться с ними, стать частью природы.

В жизни обычно ценишь лишь то, что исчезает. Воду — когда она стекает сквозь пальцы. Солнце — когда оно, багровея, сползает за го-

ризонт. Михаил Анищенко — как мало кто другой — смог передать печальную пронзительную красоту мироздания.

Его поэтический мир пропитан запахом трав и речной воды возле причала. Этот мир наполнен небом и безбрежными российскими просторами:

В моей душе одна любовь,
Одна, но вечная зарница!
Мне отдают сегодня кровь
Ромашки, бабочки и птицы.

Во многих его стихах — трогательная, почти безнадёжная попытка достучаться до сердца человека, оказавшегося в кабале цивилизации, чтобы освободился он от шелухи буден и оказался один на один с огромным, бесприютным, но свободным миром природы:

Забудь слова, приметы, лица
И, счёты с миром не сводя,
Попробуй взять и раствориться
В холодных капельках дождя.

Попробуй тихо, неумело
Войти в деревья и ветра.
Пусть без тебя побудет тело
На мокрой лавке до утра.

И грядущий уход из мира природы не страшит Михаила Анищенко — человека, чувствующего дыхание земли, поэта с крестьянскими корнями:

Выйду в студёные росы,
Тихо растаю во мгле.
Так вот и кончится просто
Время моё на земле.

В его мире Волга становится пограничной рекой, за которой «вековой разлад», и возникает ощущение, что заплутал человек в погоне за призрачными благами, очутившись в кабале города.

Характерно, что в своей автобиографии поэт вспоминает о том, как в детстве переплыл Волгу, и что для него это было неким знаком инициации, свидетельством его избранности. Характерно и то, что спустя тридцать лет он повторил этот опыт и снова переплыл Волгу, о чём он вспоминает в автобиографии.

В 1997 году поэт ушёл со службы в городской администрации, покинул Самару и жил потом в Шелехмети. В автобиографии он пишет, что, уезжая в Шелехметь, он переплыл через Волгу, словно через Лету…

Тема бегства, отъезда, прощания — одна из ключевых в его поэзии:

От квартир унылых и от буден
Выбросили верные ключи.
Жить теперь по-новому мы будем?
«Будем!» — откликался я в ночи.
Тополя шумели у причала,
Теплоход спасительный кричал.
Мы с тобою всё начнём сначала?
«Да, начнём!» — тебе я отвечал.

Дон Кихот и Шелехметь

Его неожиданный отъезд в Шелехметь, разрыв с семьёй, уход с работы в городской администрации — всё это вызвало немало домыслов в кругу людей, которые его знали. Поговаривали, что он строит в Шелехмети какую-то коммуну, объединяя вокруг себя преданных ему людей, и что вообще сознание его помутилось. Много несуразицы говорили.

На самом деле, когда Анищенко, бросив всё, переехал из Самары в Шелехметь, человек и поэт в нём совпали. Реальная отрешённость Михаила Анищенко от быстро текущей жизни с её страстями стала не поэтическим образом, а правдой. В этом его спасение и судьба.

Враки, что кончилось счастье,
Что подступает беда.
Просто в такое ненастье
Мало кто едет сюда.

Сам Михаил пишет о том, что в этот период жизни тоска и отчаяние сменились в нём ощущением, что он должен выполнить своё предназначение.

Философское занятие, заметил однажды замечательный грузинский философ Мераб Мамардашвили, начинается тогда, когда «перейдён край отчаяния и начинается трагическое осмысление, возникает ровное и спокойное расположение духа». Думаю, то же самое зачастую можно сказать и о литературном занятии, которое по своей сути — тоже философское.

У Дон Кихота ведь тоже было ощущение своей избранности. Он чувствовал себя рыцарем, который восстановит справедливость на Земле. Михаил Анищенко в своей автобиографии не скрывает подобного ощущения в собственной душе. Дон Кихоту были нужны ветряные мельницы. Так и Михаилу Анищенко, мне кажется, требуется ощущение неприятеля, с которым борешься.

Михаил может быть запальчивым, может ошибаться, особенно на политическом поле, пускаясь в битву с ветряными мельницами. Помню, сколько страсти и сколько донкихотства проявил он во время самарских мэрских выборов, борясь со ставленниками олигархов и создавая былинного народного героя в лице одного из кандидатов — Олега Киттера.

Как и Дон Кихота, Михаила Анищенко ждали синяки и разочарования. Но, думаю, он никогда не предавал в себе то идеальное начало, которое жило в нём с детства. В своей автобиографии «Что-то было» Михаил Анищенко пишет, что с молоком матери впитал в себя русские сказки, мифы, легенды. Он как будто погружает себя — своё творчество и свою биографию — во всё это.

В его жизни и творчестве есть какая-то игра, правила которой непросто разгадать. Но, наверное, во всём настоящем есть волшебные и неразгаданные правила игры. В жизни, лишённой этих правил, есть что-то циничное. Когда же волшебство — летучее, неуловимое — превращается в догму, аромат развеивается, и остаётся лишь жёсткий, железный каркас условностей, которым ограничена человеческая жизнь. И тогда любовный напиток выпит и вкус его забыт. А взамен — спитой чай повседневности, быта, регламента, условностей.

Какая-то неведомая чудесная сила выталкивает Михаила Анищенко из общего потока жизни наших современников, занятых в основном потреблением и жонглированием условностями.

Александр Блок писал в дневнике, что поэту всегда нужно ставить перед собой невыполнимые задачи: только тогда из-под его пера может выйти что-нибудь путное. Мне кажется, Анищенко живёт по этому принципу. Дотянуться до высокой планки не всегда в силах человеческих. Отсюда, мне кажется, возникают новые приливы тоски, которая разлита по его стихам.

«Бесконечная печаль»

Уже первая строка его автобиографических заметок «Что-то было» звучит так: «Бесконечная печаль».

Тоска, спутница космического одиночества, повсюду сопровождает поэта. И в столице, и в деревне, и в дороге. И среди людей, и в уединённом размышлении.

Судьба для него — как дворняжка, которая ненавидит жить в своей конуре. И, развивая этот образ, поэт заканчивает одно из своих стихотворений таким образом:

И не знают собаки, откуда
К ним приходит ночная тоска.

Эта тоска соединяется с российской тоской, разлитой по всей стране, как во время половодья:

Живу судьбе наперекор.
Отпела Русь, отговорила.
Под каждым деревом — топор,
Над каждым облаком — могила.

Куда ни взглянешь — всюду топь.
Шагнёшь на мост, а он сгорает.
Как будто это речка Злобь
По всей России протекает.

Бескрайняя российская тоска — то, что объединяет его с соплеменниками.

Смеяться. Петь. Тужить.
Дрожать от слёз, как небо.
В больной России жить
Нескладно и нелепо.

В опале, взаперти
Не думать о свободе,
С восьми до девяти
Копаться в огороде.

Так большинство из нас и живёт. И чувствует себя при этом прекрасно. Михаил Анищенко, человек метафизического полёта к небу, человек, которому важно меняться, двигаясь по жизненному пути, не может жить так. И не может иначе. И снова возникают приливы вселенской тоски. И желание утопить её по-русски в стакане горькой.

И вдали от города и его страстей нет покоя человеческому сердцу:

Старый дом. Нелепый случай.
Ничего здесь не найти.
Есть куда податься тучам.
Небу некуда пойти…

Как всё пусто и нелепо
На любом земном пути.
Вот и всё. И мне, как небу,
Больше некуда пойти.

Поэт космически одинок. По определению. А стихи Анищенко — своего рода онтология одиночества:

Судеб разорваны звенья,
Писем любимым не слать.

В горечи, в горе, в забвенье
Некому руку подать.

Или вот ещё:

Страшно пить, но жить страшнее,
А тем паче — одному.
Я скулю, склоняю шею,
Как Каштанка и Муму.

Строчки его, кажется, напоены отчаяньем…

Я родился в счастливой рубашке,
Но куда она делась потом?..

Эта мука длится, длится,
Точит камень, не спеша,
Но не может отделиться
От страдания душа…

И даже телефон у него в стихах грустит, как собака на холоде.

Его личное одиночество — это то, что роднит его с другими русскими людьми:

Память — базарная площадь.
Сердце — холодное дно.
Русские русским не помощь,
А наказанье одно.

«Сживают поэта со света…»

Стихи Михаила Анищенко наполнены кровью. И рифма «любовь» и «кровь» появляется в них естественно, как естественно рождение живого существа. Порою даже возникает ощущение, что он специально бередит свои душевные раны, чтобы наполнить стихи вытекающей оттуда кровью.

То и дело в них появляется ощущение собственного изгнания из этого мира.

Одно из стихотворений так и начинается:

Сживают поэта со света…

Порою возникает ощущение, что поэт культивирует тему гонения на себя. Мне иногда представлялось, что Михаил мифологизирует силу врагов, которые, как казалось ему, окружали его. Помню, как в «Волжском комсомольце» он написал критическую статью о концерте Розенбаума в Самаре. А потом по журналистской командировке Михаил оказался в Москве на слёте афганцев, которые боготворили этого исполнителя. Розенбаум вышел на сцену. «И тут в зрительном зале раздался гул, — рассказывал потом Михаил. —

Я сидел там же. Укажи он на меня пальцем — они тут же порвали бы меня!»

Иногда Анищенко, говоря о своём изгнании из мира, называет себя бомжом. Анищенко вспоминает в автобиографии странную историю о том, как некие загадочные люди лишили его дома и чуть не лишили жизни. Сколько раз подобным опасностям подвергался Дон Кихот... Он же тоже был своего рода бомжом — с тех пор, как превратился из добропорядочного идальго в странствующего рыцаря.

Думаю всё же, что Поэта в нынешнем мире убивает не столько ненависть завистников, сколько равнодушие.

Ощущение неприкаянности, ненужности в этом мире сквозит во многих стихах Анищенко.

Я люблю это время и место,
Шорох трав и мерцанье огня.
Моя жизнь, как чужая невеста,
Никогда не полюбит меня.

«Разливайся, земное родство»

В своей автобиографии Михаил Анищенко повторяет: «Я был неуместен везде».

И, кажется, остаётся ему в его отчаянии только любить «темноту после света и рождение снега во тьме» и прислушиваться к голосу природы-утешительницы, которая уравнивает всех:

Хорошо мне от тихого дождика.
Хорошо, что у храмов и слег
Для святого отца и безбожника
Одинаково сыплется снег.

Отчаяние рождает порою удивительные образы. Например, люди в стихах у Анищенко бегут «как мурашки по коже».

Но удивительное дело: в самых безнадёжных его строчках нет уныния, нет сетований на судьбу, что было характерно для эпигонов Надсона. Сами его поэтические образы, в которых есть и энергия, и красота, и отчаяние, парадоксальным образом рождают волю к жизни.

Может быть, спасает его от безнадёжности возникшее ещё в детстве ощущение родства со всем земным?

Разливайся, земное родство,
Распадайся, тоска листопада...

Детские ощущения, не растраченные с годами, мне кажется, дают ему силы преодолевать отчаяние и одиночество. В своей автобиографии, вспоминая детство, Анищенко пишет: «Вижу мальчишку, который во все глаза смотрит на бесконечную русскую землю

и любит её всею оставшейся жизнью…» Освежающая сила русских сказок, мифов, легенд питает творчество Михаила Анищенко.

Наверное, красивое и точное поэтическое слово — всегда праздник, всегда радость, даже если поэт пишет о трагическом или печальном. Эти стихи светятся изнутри. Сколько раз писал о смерти Пушкин, но ни одна его строчка не зовёт к отчаянию.

Михаил Анищенко — из тех поэтов, через которых продолжаются великие русские литературные традиции. Говоря о своём отчаянном одиночестве, он остаётся в русле этих традиций и через века протягивает руку великим предшественникам — Лермонтову, Льву Толстому, Чехову, который однажды сказал, что, как в могиле он будет лежать одиноко, так и на земле жил. Что не мешало ему перенести в свои рассказы и повести всё многообразие русской дореволюционной жизни и населить их огромным количеством самых разнообразных людей.

Футбол на Проране

В жизни Михаилу Анищенко нередко приходилось начинать всё сначала. Чем он только не занимался на этой земле...

В автобиографии Анищенко с юмором описывает своё посвящение в рабочие. «В рабочий класс меня посвятили мужики из группы механика. Они привели меня в раздевалку и налили полную кружку обработанного солью клея БФ. Я не смог выпить адскую смесь до дна и понял, что настоящего рабочего из меня не получится». Потом он был и дворником, и сторожем, и слесарем-сантехником. Делать карьеру он просто не мог. И не хотел.

Помню, для газетных статей Михаил придумал себе такой псевдоним, сохранявший некоторую родственность с фамилией, — А. Нищенка.

Анищенко ощущает духовное родство с великими бунтарями и изгнанниками, отверженными от мира. Помещая в свою книгу переводы юного французского бунтаря Рембо, он придумывает для них рубрику — «Диктовки Артюра Рембо».

Однако, ощущая зачастую свою неуместность в этом мире, менее всего Михаил Анищенко походит на брюзжащего старика, бесконечно твердящего: «А вот в наше время всё было по-другому…» Помню, с каким восторгом Михаил поддержал стихи одной молодой поэтессы на самарском литературном портале.

Помню ещё, как, приехав из своего добровольного шелехметского изгнания на Проран, на встречу с молодыми самарскими поэтами, Михаил со свойственной ему страстью выкрикивал — казалось, прямо в небо! — поэтическую строчку: «Какие хорошие выросли дети!»

Михаил вообще не оставлял впечатление угрюмого отшельника. По крайней мере в тот день встречи на Проране. С какой страстью, с каким азартом шестидесятилетний поэт гонял мяч с молодыми литераторами на песчаной футбольной площадке, как ребёнок, радуясь каждому забитому мячу...

«А что это вы тут делаете?»

Некое шутовство, дурачество — важная часть его человеческого и творческого мира. На одном из Интернет-порталов Михаил Анищенко недавно опубликовал замечательное эссе о дураках, в котором отталкивается от образа Ивана-дурака в русских сказках, где тот побеждает благодаря своей доверчивости, открытости и истинному, кажущемуся парадоксальным, пониманию мира.

Возможно, тут путаница в понятиях. Ведь бывают два вида ума — ум сноровистый и ум этический. О чём пишет, например, замечательный писатель Фазиль Искандер, вкладывая эти рассуждения в уста Сократа в одном из своих рассказов. Анищенко говорит именно об отсутствии ума сноровистого, с которым, по выражению Сократа, человеку в поэзии нечего делать.

Если принять во внимание эту точку зрения, то этическая глупость стала бедой нашего времени. О её признаках писал ещё Окуджава:

Дураком быть выгодно, да очень не хочется.
Умным — очень хочется, да кончится битьём...

И ещё:

Дураки обожают собираться в стаю…

Вот уж в стае (в обезличенной толпе, в группе единогласных) Михаила Анищенко представить невозможно.

Шутовство, дурачество обновляет окружающий мир, снимает с него напыщенность, излишнюю серьёзность. Однажды, на излёте советского времени, когда я работал ответсеком в «Волжском комсомольце», в секретариат зашёл редактор, Сан Саныч Соколов — человек преувеличенной серьёзности, борец с идеологическими заговорами. Миша Анищенко, который был в той же комнате, мгновенно спрятался под стол, а потом, неожиданно выскочив из-под него и обращаясь к редактору, громко повторил фразу придурошного мальчика из замечательного фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»: «А что это вы тут делаете?» Сан Саныч попытался сделать вид, что не обращает внимания на очередную выходку неуправляемого журналиста, и продолжал разговор по поводу содержания полосы. Миша же, заглядывая ему в лицо, ещё пару раз

громко спросил: «А что это вы тут делаете?» — после чего редактор, не зная, что делать, окончательно стушевался.

Вот и в своём творчестве Анищенко порою скоморошествует, переворачивая смысл прописных истин. Он любит повторять слова Михаила Булгакова о том, что житейская мудрость в глазах Бога выглядит чистейшим безумием.

Можно не соглашаться с теми или иными его запальчивыми утверждениями, но они цепляют, заставляют задумываться.

Загадка А.М.

Покинув цивилизацию с её уютом, перед самарской литературной публикой Михаил Анищенко появлялся редко. Добираться из Шелехмети до областного центра не ближний свет.

Но каждое его выступление в Самаре становилось событием. Встречался он, например, с самарскими студентами на фестивале «Созвездие мысли, слова, образа и звука». Главный наказ, который им дал поэт, был таким: «Никогда ничего не бойтесь. Дорожите теми днями, которые у вас есть. Надо торопиться. И если что-то пишется, надо писать».

На встречах Михаил Анищенко не боялся говорить о сложных и мистических вещах. Например, о судьбе легендарного изобретателя Бартини, который приехал в Советскую Россию в начале двадцатых годов и оказал большое влияние на её культуру. Бартини — одна из тех загадочных личностей, которые влекут к себе Михаила. Можно соглашаться или не соглашаться с культурно-историческими изысканиями Анищенко — суть не в этом. А в том, что они будоражат душу, будоражат воображение, предлагая по-новому взглянуть на историю культуры, окутывая её в мистические краски. И действительно, почему организованное Бартини в Москве литературное объединение называлось «Атон» — по имени древнеегипетского бога Солнца? А первые сконструированные им самолёты Бартини именует буквами «А.М.», что было олицетворением египетского бога Гора? По мнению самарского писателя, именно оттуда, из древнего Египта, Бартини и черпает мудрость. А через него древняя культура проникает в творчество больших русских писателей — Булгакова, Ильфа и Петрова, Ефремова — тех, которые входили в созданное им литературное объединение «Атон».

И таких головокружительных кульбитов немало в творчестве Анищенко.

Судьба загадочного барона Бартини — в центре романа Анищенко «Возвращение в город Солнца». С одной стороны, это дешифровка загадочных литературных произведений, с другой — опыт эзотерического или мистического краеведения.

Анищенко исследовал булгаковский роман «Мастер и Маргарита» под мистическим углом. И, как считает самарский писатель, это повлияло и на его жизнь. Не без влияния Булгакова был им создан и роман-феерия «Квадрат тумана», опубликованный в журнале «Русское эхо» (в № 1 за 2008 год).

В романе соединены сложнейшие социальные вопросы нашего времени с философскими и мифологическими исканиями.

Волны истории прокатываются по судьбе Михаила Анищенко. И сам он, и многие его герои живут, ощущая за плечами прошлое России. Вот как его запойный сосед, который через вальс «На сопках Манчжурии» чувствует родство с героями Русско-японской войны:

Он ломик сжимает, как пику,
И пот вытирает со лба:
«Ты слышишь, какую музыку
В потёмках играет судьба?»

Мы пьём, обнимаемся, плачем
Над тьмою монгольских песков
И вместе по городу скачем
К мерцанию русских штыков.

Кресло для Шекспира

Путешествуя в своём воображении по другим мирам, Анищенко ощущает себя современником то Лермонтова, то Булгакова, то ветхозаветного Моисея.

«Весной 2008 года я побывал в теле Вильяма Шекспира», — без тени самоиронии пишет Михаил в своей автобиографии.

Восьмая книга Михаила Анищенко — о Шекспире — стала полной неожиданностью для читающей публики. Прежде всего благодаря своеобразию авторского взгляда на одну из самых таинственных фигур мировой литературы — Вильяма Шекспира.

Склонный к мистификациям писатель устроил необычную презентацию этой книги («Открылась бездна звёзд полна») в областной научной библиотеке. Гостей встречали персонажи в костюмах шекспировской эпохи, будто сошедшие со страниц «Двенадцатой ночи» или какой-нибудь другой пьесы классика. Персонажи (актёры театра «Пластилиновый дождь») приветливо улыбались, жали каждому руку.

Было даже старинное кресло, предназначенное для классика и стоявшее у накрытого чёрной скатертью стола с зажжённой свечой. Посидел в этом кресле и Михаил Анищенко, строго глядя в объективы снимающих его фотокамер. И было видно, что ему приятно побывать в этом кресле, ощущая себя неким магистром.

Шекспир всегда вызывал немало споров. Даже само его авторство до сих пор ставится под сомнение. Книга самарского писателя добавила поленьев в негаснущий костёр литературной полемики.

«Истинная тайна жизни Вильяма Шекспира не известна никому. Тысячи книг, посвящённых великому поэту, напоминают безжизненную чёрную дыру…»

Трудно определить жанр этой книги. Это не биография, не литературоведческое исследование, не памфлет, не беллетристика. Хотя всё это в ней есть. Есть даже рассуждения на философские темы.

Но как случилось, что самарский поэт вдруг заинтересовался Шекспиром?

«Я считаю, что вся русская словесность озарена искрами любви к Шекспиру, — сказал Михаил Анищенко, сидя в этом кресле. — В его мире много странного и загадочного. В юности я не понимал Шекспира. Да и сегодня я не могу сказать, что это произошло. Может быть, это громкие слова, но на каком-то мистическом уровне у меня есть ощущение родства с ним. И меня взяла обида и злость, когда, прочитав книги наших литературоведов, я увидел, что многие из них жизнь и творчество Шекспира сводят к проявлениям каких-то извращений. И моя книга — ответ на эти домыслы».

Один из переводчиков замахнулся и на «Гамлета», при этом «заразив» всех его героев, включая Гамлета и Офелию, сифилисом. Как пишет автор книги, переводчиков даже не смущает та абсурдная ситуация, когда «Шекспир с маниакальным упрямством уговаривает здорового мужика родить ему сына». Анищенко яростно спорит с этими авторами, опираясь на подстрочники и биографические данные.

Со свойственной ему страстью самарский поэт бросается в бой против маститых шекспироведов и переводчиков, как будто это его, Михаила Анищенко, заподозрили в извращениях.

Исследование — это и художественно-биографическая история одного из важнейших периодов в жизни Шекспира, когда его связывала дружба-вражда с графом Саутгемтоном, который передал ему немало знаний в области астрологии и магии, был известным задирой и забиякой. И ещё — соперником поэта: оба были влюблены в Эмилию. История сложных взаимоотношений этих трёх людей и была положена, как считает Анищенко, в основу шекспировских сонетов.

В исследование вкраплены и его собственные переводы шекспировских сонетов. В них много личного. Здесь трудно различить, где говорит Михаил Анищенко, а где — тень Шекспира. Неспроста один из проникновенных и лучших своих переводов он в сокращённом виде помещает как авторское стихотворение в собственный сборник.

Вот начало этого знаменитого шекспировского сонета в переводе Анищенко:

Забудь меня немедленно, сейчас,
Когда идут обиды на подмогу,
Когда надежды тают, словно Глас,
Не долетевший к заспанному Богу…

У Шекспира в классическом переводе Самуила Маршака, разумеется, нет никакого заспанного Бога. Это собственный образ поэта, перекликающийся со строчками из его поэтической притчи «Он вошёл в мою комнату».

У Шекспира эти строчки были посвящены Эмилии Боссано — Смуглой Леди, в которую поэт был отчаянно влюблён, и которой были посвящены и другие сонеты.

Кстати, их таинственность, по мнению исследователя, во многом объясняется тем, что первый прижизненный сборник сонетов был издан графом и Эмилией, которые подвергли произведения великого поэта основательным правкам и переделкам. Многие мифы, как известно, начинаются с ошибок — случайных или осознанных.

«Машины человеческой памяти»

Михаил Анищенко с упорством Дон Кихота строит свой собственный мир. В отличие, скажем, от постмодернистов, которые, жонглируя цитатами, собирают некую конструкцию из осколков чужих миров. В этих конструкциях не чувствуется дыхания авторов.

Творение мифов — важнейшая часть культуры. И в этом смысле Анищенко тоже продолжает литературные традиции, творя собственные мифы о Шекспире, Бартини, Рембо, о своих современниках. Например, он пересказывает свой телефонный разговор с Путиным, который продолжает традиционную русскую литературную тему «писатель и власть». Как известно, есть истории о телефонных разговорах Пастернака и Булгакова со Сталиным. И в каждом пересказе они обрастают новыми подробностями. Будь во времена Пушкина и Гоголя телефоны, я думаю, сохранились бы истории о телефонных разговорах этих великих писателей с императором Николаем I.

Или разговор Анищенко со Львом Толстым и Пришвиным, который иногда принимает анекдотичные формы. «Народ страдает, живёт в тёмном царстве. Вы должны помочь народу», — говорит Миша Толстому. «А мне-то что до народу?» — отвечает Толстой. И далее разговор строится в традициях Хармса и Довлатова.

В его автобиографической прозе реальность странным образом преображается. И тогда, например, оказывается, что водитель попутной машины — Идиот, он же Князь Мышкин, который говорит о

смысле жизни, что совсем непривычно слушать из уст шофёра-дальнобойщика. Как будто поэт, размышляющий о метафизических вещах, каким-то неведомым образом стал частью и его жизни.

Мир Михаила Анищенко — некий исторический карнавал, куда приглашены Шекспир, Бартини, египетские жрецы, литературные персонажи, случайные попутчики. Из них он создаёт свои мифы.

Мифы по определению Мераба Мамардашвили — «машины человеческой памяти». Когда всё распадается, мифы снова и снова опять всё собирают.

«Память, — писал Мамардашвили, — нравственная этическая связь между мной и предками». Стихи Анищенко историчны не в том смысле, что они точно передают историческую реальность. А в том смысле, в котором говорил о свойстве памяти грузинский философ.

Это крик о том, что нельзя выкинуть из нашей исторической памяти то, чем жили наши предки — и в двадцатом веке, и ранее. Так, со всей своей поэтической страстью он защищает Павлика Морозова. Не случайно, видимо, и литературная премия, которой был удостоен Анищенко в советское время, носила имя Николая Островского — писателя, ставшего символом и мужества, и преданности коммунистическим идеалам.

Порою мифотворчество заносит Михаила Анищенко очень далеко. И тогда Олег Киттер превращается в народного богатыря. И тогда в одном из стихотворений мифологизируется Сталин, который, по странному предположению автора, замещал место свергнутого бога и при этом:

…Зло и грехи роковые
Он взял на себя одного.

Вряд ли реальный Сталин, одержимый жаждой власти, думал о том, чтобы взять на себя все грехи мира. Он и за собственные-то политические просчёты, как известно, обрекал на мучения других.

Однако в воспоминаниях священнослужителя и хирурга Войно-Ясенецкого остался такой эпизод.

«Вот вы верите в существование души, — сказал ему Сталин. — Но ведь её нельзя ощутить…» Войно-Ясенецкий ответил: «Но ведь и совесть тоже нельзя ощутить. Вы же не будете отрицать её существование?» На что Сталин промолчал. Кто знает, о чём говорило то молчание?..

«Я мог лететь над дорогой»

Для Михаила Анищенко очень важно мистическое начало. Помню, однажды он заговорил со мной о некоем третьем глазе, который есть у творческих людей. Признаюсь, я его тогда не понял. Потом, несколь-

ко лет спустя, я прочитал высказывание философа Декарта о том, что есть предмет, есть наше представление о нём и есть некий третий глаз, который сопоставляет одно и другое. Взгляд сверху.

В своей автобиографии Анищенко пишет: «В детстве я мог лететь над дорогой». Там он вспоминает о таинственной лесной тропинке, по которой он каждый день ходил в школу. Может быть, уже тогда в его сознание вошёл образ дороги, соединившийся с ожиданием чудес?

Судьба поэта — это тоже путь, извилистый, но наполненный чудесами, как карман детских штанишек — таинственными вещичками.

Гениальные творения, на которых держится мировая литература, — вариации на тему дороги, пути.

Вспомним: «Одиссея», «Мёртвые души», «Дон Кихот», «Тиль Уленшпигель», «Евгений Онегин». Сквозной мотив всех этих шедевров — реальный и духовный путь человека. Мераб Мамардашвили писал о том, что настоящее произведение не изложение в образах усвоенных им истин, а обретение их в процессе письма. Настоящий рассказ и настоящее стихотворение — это дорога, на которой человек с пытливой душой и пылким воображением может найти драгоценности.

Поэт — сам по себе путь. А не шифровальщик поэтических ребусов, не громкоговоритель с усвоенными когда-то истинами.

Тема дороги постоянно звучит в стихах и в автобиографической прозе Анищенко. И в ней, в этой теме, звучит виолончельная тоска. Дорога рифмуется у него и с тревогой, и со словом «строго», и с Богом.

Михаил Анищенко продолжает идти не по той дороге, на которой людей с головой погружают, как в некую антиутопию, в новый, потребительский миф, — он продолжает двигаться по собственному пути, хоть и не ждёт на нём призов и выгод. Странному, загадочному, неизведанному, но полному озарений. Для него это «крестный путь». По крайней мере так он его ощущает. Обращаясь в стихах к Евгению Евтушенко, он говорит об этом, о том, что поэт идёт навстречу свой судьбе.

…И спасения не ждёт.
Не хочу бежать с галеры
И выскальзывать из-под
Этих глыб и арматуры,
Этих брёвен и оков,
И великий твой окурок
Докурить я не готов.

Справедливы ли сегодня хрестоматийные строки Евгения Евтушенко: «Поэт в России — больше, чем поэт»? А если вправду — больше, то — кто?

Михаил Анищенко в этом утверждении идёт ещё дальше. В своей автобиографии он вспоминает литературного консультанта «Волжского комсомольца», который укорял его, тогда ещё молодого поэта, в пренебрежении к стихотворной технике. На что Анищенко заметил: поэт, в его понимании, — тот, кто несёт свой крест на Голгофу, и вместо него это не может сделать никто. В этом утверждении, которому Михаил Анищенко не изменяет всю свою жизнь, он был и остаётся максималистом.

Дорога — спасение поэта. Крестный путь — его судьба. И на этом пути Анищенко становится равновелик окружающему его миру. Только такой поэт мог написать о своём одиночестве: «Небу некуда пойти».

И любовь для него тоже трудный и прекрасный путь. Путь к самому себе. Истинному. Описывая своё состояние в момент прикосновения к этому чувству, поэт пишет:

И сам в себя преображался,
Как кокон с бабочкой внутри.

Порою ему кажется, что дорога его оборвалась в космическом пространстве. И тогда он, обращаясь к почтальону, пишет:

Я открою ему. Я скажу: «Уходи, ради Бога.
Эти письма не мне. Я не знаю, где ваш адресат».
Он простился со мной — там, где рухнула в небо дорога.
Он упал и пропал. Он уже не вернётся назад.

Но каждый раз, умирая, соскальзывая со своего пути, он возвращается на него, возрождаясь, как Феникс.

Казалось, я умер. Но выдался май!
Я в жизни не видел такого.
Проснулся — счастливый. Хоть имя меняй!
Хоть бога выдумывай снова.

Как будто бы разом простили грехи,
На подвиги благословили,
И мне прокричали мои петухи,
Которых вчера зарубили.

Каждое возрождение к жизни — это новое духовное усилие. Это нежелание жить и творить по привычке. Есть люди, которые, кажется, говорят только потому, что когда-то начали говорить. Есть и писатели, которые пишут только потому, что когда-то начали писать. По привычке. Михаил Анищенко — из другой породы.

Он постоянно «преображается сам в себя». Одно из важнейших преображений произошло в Шелехмети. В период жизни в этом селе Михаил Анищенко переживает творческий взлёт. Только за пять

лет из-под пера писателя, кроме книги о Шекспире, вышли два романа, несколько пьес, три новых поэтических сборника (около четырёхсот стихотворений — одно пронзительней другого).

Чувство и слово

При всей его склонности к мифологемам Михаил Анищенко ценит достоверность, подлинность литературного слова, обеспеченность его реальной жизнью. Помню, как-то прочитав одну мою публикацию, Михаил спросил меня: «А разве ты куришь?» — «Да нет, а что?» В ответ он процитировал мои строчки:

Вдруг захотелось бросить город сонный,
Сесть в поезд,
закурить
и жизнь начать сначала.

Нет, я не курил. Тогда это несоответствие мне не казалось важным. Написал, ну и что тут такого? Когда человек берёт сигарету, задумчиво прикуривает, держа её между пальцами, — это знак паузы, знак раздумья. А может, мне захотелось закурить в ту минуту? Теперь-то я понимаю, что Михаил был тогда прав. Если за строкой не ощущается прожитая судьба, она — «холостая».

Его стихи естественны, как травы в росе, как полёт птицы над рекой. Как дыхание свободного человека. За каждым словом — его судьба.

«Чувство невозможно упаковать в слово, — пишет поэт в автобиографии. — Любое чувство должно само, как гусеница в бабочку, превратиться в слово».

Поэт тонко чувствует фальшь и потому избегает пафоса, обращаясь к социальным темам. Одно из самых пронзительных его стихотворений начинается парадоксальной строчкой: «День Победы. Смертная тоска». Вот так. Не праздник со слезами на глазах, а смертная тоска. Далее Анищенко пишет, что Победу нам подменили, отдав её в школьных учебниках американским войскам. Но мне в этой первой парадоксальной строчке видится и другой смысл. Пафос всегда граничит с ложью. Слишком часто мы забалтываем всё самое святое, слишком часто позволяем политическим проходимцам использовать его в своих целях. По мне, так День Победы — это то, что должно быть в нашем сердце не раз в году, а постоянно.

Противоречия Поэта

Творчество любого большого поэта — переплетение противоположностей. Дом и дорога. Бесконечное одиночество и страстное желание пережить духовный опыт других. Смертельная тоска и радость жизни. Все эти противоположности сходятся в поэзии Ани-

щенко. Из противоречий соткан любой большой поэт. Михаил Анищенко — тоже. Он и сам пишет о двойственности своей натуры:

И я, надеждою измеря
Пространство памяти своей,
Таю в душе тревогу зверя
И нежность белых лебедей.

Вот одно из противоречий Анищенко. Порою кажется, что он, страдая от одиночества, от ощущения загнанности, ощущения врагов, стремящихся уничтожить его, сам культивирует в себе эти чувства. Что всё это ему нужно как поэту.

Тайна выдоха и вдоха.
То ли горе, то ли шок?
Хорошо мне там, где плохо.
Плохо там, где хорошо.

Один из разделов книги «Поющие половицы» так и называется — «Я есть, пока я одинок». А с другой стороны — в нём желание спастись от одиночества — тем, чтобы «научиться чувствовать других как часть самого себя» (цитата из автобиографии «Что-то было»).

В своём воображении он движется по эпохам, как по сельским ухабистым дорогам. Проникая в души не только своих современников, но и исторических персонажей. Проживая их судьбы как свои.

Другое противоречие. Тема Дороги и образ Дома с его уютом и спокойствием. Не случайно лучшая книга поэта названа по-домашнему — «Поющая половица». Тут не только ощущение уюта, но и сказки.

С какой любовью описывает Анищенко в автобиографии свой дом в Шелехмети: он для него живое, родное существо.

А тема бездомья приобретает у Анищенко не бытовое и даже не социальное, а мистическое начало. Он тоже как будто культивирует его в себе. Не случайно вместо эпиграфа в свою книгу «Поющие половицы» он помещает странную притчу «Он вошёл в мою комнату», где Он — некая божественная сущность, от которой поэт ожидает учения. Поэт пригубил с Ним на мансарде вина, имевшего «вкус солнца и вкус земли, на которой построен это город». А потом Он выгнал поэта из мансарды (из рая?), так и не открыв ему учения.

Вечная печальная тема потерянного рая и желания обрести утраченное — вот что для поэта Анищенко Дом и Бездомье.

«Я прекрасно знаю, что он меня не любит, — пишет Михаил. — Разве Он может любить меня? И всё-таки что-то у меня в душе, ничтожная частица моего «я» не перестаёт, трепеща от страха, думать о том, что он ещё полюбит меня».

И эта тревожная надежда не даёт ему и его Лире успокоиться, уйти в самолюбование.

Дом — изгнание — дорога — и снова обретение дома — и снова дорога... Вечное возрождение. Вечный, нескончаемый круговорот жизни, который никак ничем не может закончиться. Пронзительная печаль этого круговорота пронзительно передаётся в стихотворении, где рефреном идёт строчка: «Лошадь слепая по кругу идёт». От раннего ощущения детства — «Мальчик играет. Кораблик плывёт» — до смертного часа.

Поэзия как лишнее в этом мире

В последние два десятилетия в России появились люди, которые постарались приватизировать понятие «современная литература». Для них это некая литературная игра, игра смыслов, стилей, ироническое перемешивание чужих текстов. В общем, стёб. Эти люди, прекрасно вписавшись в структуры современного общества, как правило, активны: они проводят фестивали, издают книги и альманахи, раздают премии, назначают кумиров. Их строчки читаешь — словно разгадываешь интеллектуальные ребусы. Порою удивляешься: эк как закрутил! Но отложишь текст — и возникает вопрос: а зачем всё это?

Другая крайность — когда стихи становятся публицистикой. С ними соглашаешься, а потом спрашиваешь себя: ну и что, разве нельзя сказать об этом просто, без рифмы?

Когда читаешь стихи Анищенко, не замечаешь поэтического мастерства, не думаешь о том, согласен ли ты с тем, что написано или нет, не думаешь, как это сделано, не замечаешь, насколько истрёпана та или иная рифма (тот упомянутый им литературный консультант, возможно, сказал бы: «Ну, сколько можно рифмовать «любовь» и «кровь»?»), — эти строчки просто входят в тебя, бередят, царапают, будоражат душу.

«Самара, не прозевай своего поэта», — обращается Евгений Евтушенко к нам в одной из своих статей об Анищенко. Но как, в чём может выразиться сегодня его признание? С трудом могу представить Михаила Анищенко, читающего стихи стадионам, как это делали Евтушенко и его товарищи в шестидесятых.

Другое дело — Анищенко, читающий стихи коровам. Помню, как Михаил передал для журнальной публикации свои фотографии. На одной из них Миша (это было, судя по всему, задолго до Шелехмети) вдохновенно читал стихи корове, и та, казалось, внимательно внимала ему.

Сергей Есенин, один из его поэтических предшественников, тоже читал стихи и коровам, и собакам. Кабакам, правда, тоже читал. Но у нынешних кабаков иные запросы.

Наше общество сегодня напоминает евангельский храм, наполненный торговцами. Но кто выгонит сегодня торгующих из храма? Если кто-то и призывает к этому (чей голос слышен из телевидения и Интернета), то лишь затем, чтобы открыть в храме собственную торговлю.

Что значит поэт в нынешнем мире? Он лишний. Лишний в том смысле, в каком говорил Михаил Светлов: «Я могу обойтись без необходимого, но не могу без лишнего». Поэзия — и есть лишнее в этом мире. Её нельзя пощупать руками, ею нельзя насытиться, но без неё нельзя обойтись. Многие, правда, обходятся.

Как меняются ритмы жизни… Мы живём на бешеных скоростях. На таких, что и лица близких становятся неразличимы. Фестивальное искусство, фестивальная литература каким-то образом вписывается в этот сумасшедший поток, стремясь удивить своими конструкциями. Но поток несёт дальше, и конструкции смазываются в памяти. А образы, созданные настоящими поэтами, остаются в ней. Вот и Михаил Анищенко как будто был вынесен из этого потока на свидание с мирозданием, которое состоялось в Шелехмети. Куда он уехал на встречу с природой и с самим собой, в бытовую неустроенность, в безденежье и одиночество. И, находясь в одиночестве, внимательно и с любовью рассмотрел черты дорогих людей — современников и живших давным-давно. И услышал некий божественный голос, отголоски которого попали в его строчки. «В моей душе — одна любовь…»

Поэт Михаил Анищенко совпал со своим временем и трагически не совпал с ним. Он не совпал с теми, для которых история России началась в 1991 году, как когда-то для их предков — в 1917-ом.

Михаил Анищенко — передатчик традиций настоящей культуры, идущих из глубины веков. Даже если его мало кто слышит. Джордж Оруэлл в романе «1984» написал о своём герое так: «Он был одиноким умом, вещающим правду, которую никто не услышит. Но пока он говорит её, преемственность каким-то неизвестным образом сохраняется. Духовное наследие человечества передаётся не потому, что вас кто-то услышал, а потому что вы сами сохраняете рассудок».

Мне кажется, внимательный читатель, прочитавший произведения самарского поэта Михаила Анищенко лет через сто (хочется надеяться, что такой будет), получит представление о том, что мучило и что радовало талантливого и совестливого русского человека времён распада империи.

Содержание

Евгений Евтушенко. Веничка Ерофеев из Самары 5

Дорога 7
В армию 8
Первогодки 9
Ночь на заставе 10
Старая боль 11
Тётя Поля 12
«Отыскали солдата в траве…» 13
Год 46-й 14
Старшина 15
Метели 16
Письмо 17
После учений 18
Переговорный пункт 19
Звезда над заставой 20
Прощание 22
«В первый раз подошёл к Мавзолею…» 23
Утро 24
«Зима со снегопадом…» 25
В гостях 26
Перевозчик 27
«Слишком долго подгадывал срок…» 28
«Луна... Скала...» 29
Через пороги 30
Ненастье 31
Проводник 32
«Сопки над долиною курили…» 34
«Неважно, что ветер и осень…» 35
Встреча 36
«Этот сон…» 37
«В потёмках…» 38

Улыбка 39
Листопад 40
Звонок 41
Открытие охоты 42
«Сени. Сани…» 43
Памяти Валерия Грушина 44
«И застыть над рекою…» 48
Что за горами? 50
«Я жил тогда в селе, над Соком…» 51
Возвращение 52
1. Утро 52
2. День 52
3. Вечер 54
«В простой кособокой избушке…» 56
«Замечу, что мать поседела…» 57
«А ведь надо же…» 58
Распутье 59
Прощальная песня 60
Афганские письма 61
1. Перед отправкой 61
2. Начало 62
3. Тревога 62
4. Перед боем 63
5. «У белой рощи, у излуки…» 64
6. Годовщина 64
«Поседевший историк…» 66
Писарь 67
Блокнот 70
На воле 72
«Ветры проскакали…» 73
Послание другу 74
Юность 76
Воспоминание о первой книге 77
Муму 78
«За промахом следовал промах…» 79
Кукушка 80
«И тянется время, и мчится…» 81
Журавль 82
Драма в себе 84
Далеко-далеко 86
Безвозвратность 87
В поезде 88

«Войду к нему без стука…» ... 89
«Как быстро остыли мои ковыли…» ... 90
Плёс ... 91
Вовка ... 92
Развязка ... 93
Поездка за три года ... 94
Паутина ... 95
«Меж красивыми…» ... 96
«Словно собаки цепные…» ... 98
Утро в Ленинграде ... 99
«Никогда я не знал такой раны…» ... 100
«Стынут мои выси…» ... 101
«Бьёт в лицо снегопадом…» ... 102
«Неважно, что ветер и осень…» ... 103
Ключи ... 104
Первый снег ... 105
1955 год ... 106
Пришествие ... 107
«Я должен вспомнить об отце…» ... 108
«Девясил, подорожник, чабрец…» ... 109
Чары Чуровой долины ... 110
«Уйти от позднего веселья…» ... 112
«Не кричите, мои пароходы…» ... 113
Магдалина ... 114
Поморы ... 116
«Какая странная пора…» ... 118
«В доме моём ничего не осталось…» ... 119
«Россия, Русь! В тоске величья…» ... 120
«Слова забываю. И путаю числа…» ... 121
Марианна ... 122
Кольцо ... 123
«Побудь со мною после слов…» ... 124
Цветок фламбуайна ... 125
«Стихи летучие, как дым…» ... 126
«Ушёл без нас последний омик…» ... 127
Пошлое стихотворение ... 128
«С похмелья минута длиннее, чем жизнь…» ... 130
Искупление ... 131
«Концы с концами не сведу…» ... 132
Но, если… ... 133
Седьмая печать ... 134

Чёрная трава ... 135
Колыбельная ... 136
«И снег, и дождь… Растерзанный причал…» ... 137
Звезда ... 138
В поезде ... 139
Пелёнка ... 140
Запомни ... 141
Завтра ... 142
«Укрощённые стихии…» ... 143
«Вернись, вернись, Христос! Куда ты?..» ... 144
Поезд № 1 ... 145
1. «Неважно, что поздняя осень…» ... 145
2. «Бьёт и бьёт по стыкам поезд…» ... 145
3. «Мне ни чаю, ни водки не надо…» ... 146
4. «Край света — за каждым порогом…» ... 146
5. «Состав растянулся в ночи, как гармонь…» ... 147
6. «Как будто не было дорог…» ... 147
7. «…но если у неба и Бога…» ... 148
«Только слышится ночью осеннею…» ... 149
Любите всех ... 150
«Отрывается звук контрабаса…» ... 151
Пора ... 152
Дьякон ... 153
Провидение ... 154
«Мы Русь ругаем по привычке…» ... 155
«Я разговор о Боге не веду…» ... 156
«Хотя б напоследок — у гроба…» ... 157
Прощевай ... 158
Курочка Ряба ... 159
Кто я? Что я? ... 160
«Год за годом. Каждый год…» ... 161
«Снова чудный сон не сбылся…» ... 162
«Мне нравится лунная сырость…» ... 163
Хорошо ... 164
«А случится — час ночной…» ... 165
Русь отражённая ... 166
Скоморох ... 167
Спасение ... 168
Очень печальное стихотворение ... 169
Корешок ... 170
Огонь ... 171
Приговор ... 172

Гоголь 173
«Уйти от позднего веселья…» 174
Ты помнишь 175
Первый снег 176
«Изба моя… Поленица…» 177
Ожидание 178
Мандала 180
Элегия 181
Талан 182
Преображение 184
За всё, за всё… 185
Оберег 186
Богородка 188
Звезда Урусвати 189
Сон 190
Две жизни 192
Ярославна 193
Бегство 194
«И в этот год нам нет прощенья…» 195
Равновесие 196
«Обросла столица мхами…» 198
Филя 199
Половодье 200
Микола 201
Родине 202
«Боже правый! Пропадаю!..» 203
«Россия, Россия! Пусты…» 204
В тот день 205
Чухонец 206
Пускай! 207
Рубеж 208
«Песни свои забываем…» 209
Ташла 210
«В тиши деревьев, за деревней…» 211
Пропасть 212
От тебя 213
Разговор с матерью 214
Сентябрь 216
Ярославна Чуровой долины 217
Сказка 220
«Русь наполнилась звоном…» 221

«Ночью гуси закричали…» 222
Маруся 224
Зов 225
Евгению 226
Кольцов 227
«Помню тихий рассвет Святогорья…» 228
«Тихий Углич, Ростов величавый…» 230
«Я устал от тоски. Я не сплю…» 231
«Невидимые слёзы…» 232
«Старый дом. Нелепый случай…» 233
Ночной голос 234
«Милый брате Аввакуме…» 235
«До луны, до ночных петухов…» 236
Похмелье 237
«Я жить хочу. Я умирать не стану…» 238
Я буду скакать 239
«Совсем догорают мои старики…» 240
«Сельсовет с горбатым флагом…» 241
Русская гармония 242
«Поздно руки вздымать и ночами вздыхать…» 243
«Помню виноватую улыбку…» 244
«Что за жизнь? Спешим, мельчаем…» 246
«В доме холод, тишина…» 247
«Время сбилось с извечного круга…» 248
«Ну, что ты ёжишься, душа?..» 250
Тропинка 251
Мостик 252
Иосиф 253
Предтеча 254
На смерть владыки Иоанна 255
Чёрный Егорий 258
«Когда золотая, как осень, корова…» 259
Квадрат тумана 260
«Ходит над Волгою розовый слон…» 262
«Я — Артур, царь небесных сот…» 263
Принцесса 264
Сольвейг 265
«Надоели уже философские бредни…» 266
Сон в мёртвой деревне 267
«Представь — огонь, потом озноб…» 268
«Осень. Долина Чурова…» 269

«Я думал — чудится и снится…» ... 270
Рана ... 272
«Наследство делят. Всюду давка…» ... 273
«Стоять, стоять на утреннем морозе, ... 274
Почему ... 275
Зарубки Заболоцкого ... 276
1. Могила поэта ... 276
2. В тумане ... 276
3. В той стране ... 277
4. Рождество ... 277
5. Час не ровен ... 278
6. Небо ... 279
7. Скворец ... 279
8. Ожидание ... 280
9. Ого! ... 281
«Светились осколки хрустального гнева…» ... 282
Ассоль ... 284
Эвридика ... 285
Ланселот ... 286
Исида ... 287
Гринивера ... 288
Любить ... 290
Тристан и Изольда ... 292
Марья Моревна ... 293
Откуда? ... 294
«Только свет у зимы…» ... 296
«И тьма, и свет… И хата с краю…» ... 297
«Люби меня — в мороз, в жару…» ... 298
Подковки ... 299
«В час, когда светится солнышко…» ... 300
Хорошо ... 301
«Нет, не напрасно сердце билось…» ... 302
«Загорится огонь на реке…» ... 303
Сестра милосердия ... 304
Роман ... 306
Церковь. 1871 ... 308
Забывшие ... 310
Чужие стихи ... 312
Вечерняя молитва ... 313
Ощущение ... 314
Алмея ... 315
Брюссель ... 316

Добрые мысли поутру 317
Мишель и Кристина 318
«Положим, просёлок, дорога…» 320
«Мальчик играет. Кораблик плывёт…» 321
Очищение 322
Выпускная фотография восьмого «А» класса школы № 120 324
Юность 325
Баллада о вечности 326
День Победы 327
Спящий в долине 328
Навалилась усталость 329
Спасибо 330
Харбин 331
Усмешка Парижа 332
Безвозвратность 334
«Отпущу свои мысли на волю…» 335
«Там, где кончились дороги…» 336
Эх! 337
Возвращение 338
«Опять мороз идёт по коже…» 340
Моцарт и Сальери 341
Осень. 2008 342
Наваждение 344
«Туман проходит по дорогам…» 345
Рубашка 346
Не за то 347
«Проклиная смешную свободу…» 348
Опала 349
Неволя 350
Брат 351
Цап-царап 352
Лошадь 353
«Я — боль Артура и Тристана…» 354
Воробей 355
«Опять проигран бой за «это»…» 356
«Сживают поэта со света…» 357
Горькое стихотворение 358
«Открыты дороги разврату и злу…» 360
Вспоминая Володю Евсеичева 361
Седьмое ноября 362
«Москва — златоглавая плаха…» 363

Никон ... 364
Башня ... 365
Илья ... 366
Другу ... 367
Стрела летящая ... 368
1666–1999 ... 369
«Когда бы новые дороги…» ... 370
Инициация ... 371
«Во мне ты видишь пору листопада…» ... 372
«Февраль. Бессонница. Морозно…» ... 373
Бессонница ... 374
«Я нездешней болезнью ведом…» ... 375
Реминисценции ... 376
Осирис ... 378
«За тем мостом, за речкой медной…» ... 380
«История царства — грустна…» ... 381
Я вас любил ... 382
«Обрывается ночь окаянная…» ... 383
Ведьма ... 384
Сестре ... 386
Кукушка ... 387
«Ненавижу тебя, ненавижу…» ... 388
«При дворе не искал я богатства…» ... 389
Сон ... 390
«И что я поделаю с этой…» ... 391
«Когда вины не существует…» ... 392
Илатан ... 393
Шинель ... 394
«Когда наше время очнётся…» ... 396
«На реке стоит кораблик…» ... 397
Трамвай ... 398
ЭТО и ТО ... 400
«Луна над озером колдует…» ... 401
Рыцарский романс ... 402
«Среди раскрашенной лепнины…» ... 404
Переправа ... 406
Лестница ... 408
«Опять шампанское искрится…» ... 410
Полёт валькирии ... 411
Капитан ... 412
«Тайна выдоха и вдоха…» ... 413

Сталин 414
На сопках Маньчжурии 416
Овод 418
«Среди беспросветных вопросов…» 420
Осень 421
«Отбурлили годы, отзвонили…» 422
Пропажа 423
«Память — базарная площадь…» 424
«Опять я всё тебе прощаю…» 425
«Не ровен час… То вера, то остуда…» 426
«Боже, где-то, иногда…» 427
Наперекор 428
«Твои глаза — святые знаки…» 429
Пастораль 430
«Я люблю своё время и место…» 432
«Забытая богом сторонка…» 433
«Всё проходит, манит и проносится мимо…» 434
«Надо людей после смерти ругать…» 435
Памяти Анатолия Цветкова 436
Последняя строка 437
Неважно 438
«Забудь меня немедленно, сейчас…» 440
«Казалось, я умер. Но выдался май!..» 441
Калейдоскоп 442
«Я эту земную судьбу не люблю…» 443
«Не верь небесному покрову…» 444
«У горящих прощальных рябин…» 445
«Когда-то рухнут пирамиды…» 446
Надежда 447
Пастушок 448
Я воду ношу 449
На улице Гоголя 450
Облака Блока 455
Монолог Гамлета 459
Волопас — созвездие медведя 460
Псалом 462
А потом… 463
Диктовки Артюра Римбо 464
Моя симфония 468
Золотой век 472
Я всё замечу 474

«Что-то где-то отзвучало…» 475
Воспоминание 476
Праведник 478
Слеза 480
Зимний сон 481
Песня из самой высокой башни 482
Девочка совесть 484
Буфет 485
Молодожёны 486
Последняя оргия 487
Гласные 490
Искусство поэзии 492
Разлад 494
Песни Омелии 495
1. Золушка 495
2. Возвращение 496
3. Черновик 497
4. Эвридика 498
5. Ланселот 498
6. Вспоминая Блока 499
7. Душа 500
8. Ёлка 501
9. Синица 502
10. Благословение—68 503
11. Плач Ярославны 504

Дом и река. *Поэма* 506
Первая часть 506
Вторая часть 512

Разоблачённые сонеты 519
За мной, читатель! Стынет кровь! 519
1 519
2 520
3 520
4 521
5 521
6 522
7 522
8 523
9 523
10 524
11 524
12 525
13 525

14. 526
15. 526
16. 527
17. 527
18. 528
19. 528
20. 529
21. 529
22. 530
23. 530
24. 531
25. 531
26. 532
27. 532
28. 533
29. 533
30. 534
31. 534
32. 535
33. 535
34. 536
35. 536
36. 537
37. 537
38. 538
39. 538
40. 539
41. 539
42. 540
43. 540
44. 541
45. 541
46. 542
47. 542
48. 543
49. 543
50. 544
51. 544
52. 545
53. 545
54. 546
55. 546
56. 547
57. 547
58. 548
59. 548
60. 549
61. 549

62. 550
63. 550
64. 551
65. 551
66. 552
67. 552

Укоренение как будущее русской поэзии 553

Вадим Карасёв. «В моей душе — одна любовь…»
О творчестве Михаила Анищенко 605

Михаил Всеволодович Анищенко

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДВУХ ТОМАХ

Том I. Поэзия

Компьютерная вёрстка — *Александр Громов*

Корректура — *Алексей Сыромятников*

Дизайн-обложки — *Елена Новикова*

Издание подготовлено творческим объединением

«Русское эхо»

Самарской областной писательской организации

при участии ИП Горшенина

Адрес: 443001, г. Самара, ул. Самарская, 179,

телефон: (846) 333-48-01

Подписано в печать 10.08.2020. Формат издания 84x108/$_{32}$.

Объём 33,6 печ.л. Гарнитура Warnock Pro.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Тираж 700 экз.

Отпечатано в типографии ООО «Слово».

443070, г. Самара, ул. Песчаная, 1;

тел.: (846) 267-36-82.

e-mail: izdatkniga@yandex.ru